

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПОЛЕВОГО

*Жюри конкурса
на соискание премии
имени Бориса ПОЛЕВОГО
в области прозы,
поэзии,
публицистики,
критики
и художественного
оформления
рассмотрело произведения,
опубликованные в 1988 году
в нашем журнале.*

Премии присуждены:



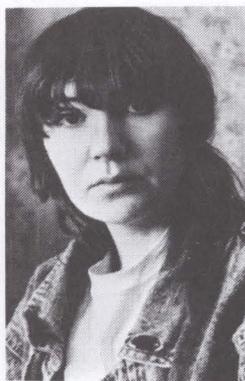
**Фазилу
ИСКАНДЕРУ**
за рассказы
в № 2



**Ивану
ТВАРДОВСКОМУ**
за документальную
повесть
«Страницы
пережитого»,
№ 3



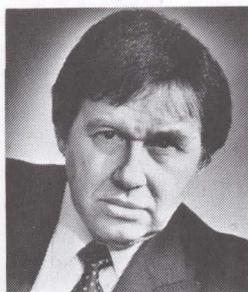
**Виктору
КОРКИЯ**
за поэму
«Свободное
время»,
№ 6



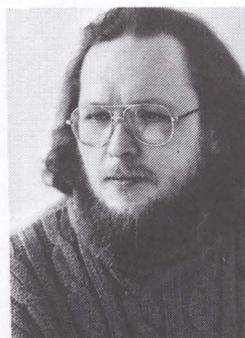
**Валерии
НАРБИКОВОЙ**
за повесть
«Равновесие
света дневных
и ночных звезд»,
№ 8.
Дебют
в «Юности»



**Наталье
ИВАНОВОЙ**
за статьи
«Смерть
и воскресение
доктора Живаго»,
№ 5,
и «Хранить вечно»,
№ 7.



**Владимиру
РЕЦЕПТЕРУ**
за цикл
стихов,
№ 10



**Андрею
САЛЬНИКОВУ**
за оформление
обложек
№№ 5, 8, 9, 10, 11.



**Наталье
ШАНТЫРЬ**
за очерк
«Оттого, что
в кузнице
не было гвоздя»,
№ 9.
Дебют
в «Юности»

*Лауреаты награждаются памятными медалями и почетными дипломами.
«Юность» сердечно поздравляет своих лауреатов и желает новых творческих успехов.*

ЮНОСТЬ

1 (404)

'89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Владимир АМЛИНСКИЙ

Борис ВАСИЛЬЕВ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Виктор ЛИПАТОВ

(заместитель главного редактора)

Игорь ОБРОСОВ

Мария ОЗЕРОВА

Виктор РОЗОВ

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Александр СЕРЕБРОВ

Евгений СИДОРОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ



Рисунок А. Енина



Татьяна
МАКСИМЕНКО

В районном центре

Вокзал в районном центре:
Сумятица колес.
Под небом спит в прицепе
Виновник женских слез.

От пыли он коричневым,
От пота он блестящим,
Ругаясь неприлично,
Он сбрасывает плащ.

Склонившись над колонкой,
Он воду жадно пьет,
И влага струйкой тонкой
По вороту течет.

Найдя пустой бутылку
С наклейкою «Дербент»,
Он вышел на развилку,
Голодный, как студент.

Под слюдяной луною
Уже кряхтел вокзал,
И воздух, полный зноя,
Над крышей повисал.

Старуха продавала
Соленый огурец
И — только из подвала! —
Холодный варенец.

Кот прыгнул в рябь забора,
Уставясь на столбе
В комету помидора
В яичной скорлупе.

Откинув край брезента,
Нюхнув пшеницы горсть,
Пошел купить газету
Шофер, заезжий гость.

Вдали дрезина выла,
Звенела мошकारа,
И в тень народ вдавила
Чугунная жара.

Знакомой киоскерше
Бросая комплимент,
Шутил шофер из Орши,
Что верных женщин нет.

Она сказала: «Стали
Остричь, как муженек...»
И слезы прикипали
К журналу «Огонек».

В очереди за апельсинами

В перчатке с голым пальцем продавщица,
Как Алла Пугачева, в центр толпы
Встав, не на айсберг — на весы божится,
Уверенная в том, что мы слепы.

Она легко приподнимает гири,
Как рыжего лисенка, апельсин
Отшвыривает, и в огромном мире
Мы, как плоды на дереве, висим.

И, друг за другом встав как истуканы,
Чтоб очередь печальна и длинна
Нам не казалась, вспоминаем страны,
Где апельсины видно из окна.

А тихие, усталые старушки
И помоложе, бабушки в соку,
Хватают апельсины, как игрушки,
Чтоб утолить по солнышку тоску.

И, слава богу, очередь за хлебом
Уже забыли многие из них,
Забыли, как под беззащитным небом
Дымился хлеб в ладонях ледяных...

Младенец

Он смотрит взглядом мудрым и бесстрашным
На яркий свет, сменяющийся тьмой,
А утром спор ведет с собой, вчерашним,
Как луч весны с дремучею зимой.

Он пробует на вкус цвета и звуки,
И, осозная запахи весны,
Во сне он видит материны руки
И ангелов неведомой страны.

Московская обл., г. Жуковский.



Александр
ИЛЬИЧЕВ

28 декабря 1925 г.

Авторучка «Паркер» с золотым пером,
Наша связь не кончится для меня добром.
Я тебя заправил кровушкой своей,
В ней тоска такая — всех чернил черней.
Кровь моя — сестрицы! Как вы далеки!
Наряжайтесь, милые, в черные платки.
Гей ты, внучка графская!
Страшен мне твой скит,
Где великий дедушка в сумраке царит...
На столе от нэпмана коробка папирос,
На коробке женщина дремлет в чаше роз.
Просыпайся, Дора, я спешу в твой дом,
Мы давно задушены на шарфе одном.
Дым высокосортный, сладкий дым «Сафо»...
Чалит к сердцу танкер с черною строфой.
Из души последний ангел улетел.
Хоть бы кто вошел ко мне в номер «Англетер».
Зина, Галя, Софья, Шагане моя!..
Всех умчали сани в снежные поля.
И скользят последней роковой строфой
Напоенный кровью «Паркер» золотой.

☆☆☆

Любовь слепа, ей нужен поводьёр,
Пусть это будет разум или опыт.
Любовь добра, она обид не помнит,
Воздольвая наших чувств пустырь.

И, отражаясь в зеркалах времен,
Она себя не видит и не знает:
Что старится, что разум исчезает,
А мудрый опыт жизнью утомлен.

Любовь незряча, — вечно рядом с ней
Чудовищ рой кружится, не замечен.
И я с любовью был бесчеловечен,
Кошунствуя во тьме ее очей.

Прости, любовь. Дай руку и пойдём...
Я поведу тебя в свои уголья,
Где все запущено, где совести лохмотья
Горят веселым, праведным огнем.

Поэзия

Я схоронил Ее в пустыне;
Когда сомкнулась зыбь песков,
Все чувства вдруг во мне остыли.
С тех пор я не писал стихов.

Но жизни воля роковая
Меня гнала к могиле той,
И, зову тайному внимая,
Я к ней склонялся, обжигая
Уста крапивой молодой.

Поэтесса

Вначале от бессонницы ночной,
Слетав к луне наивною пчелой,
Вообразив, что это куст жасмина,
Она преодолела ужас мира.
Питалась золотым нектаром слов,
И в соты приносила мед и кровь
Такого чудотворного состава,
Что, наконец, ее коснулась слава.
И возвращаясь с ярмарок стихов,
Ее душа по капле остывала
В объятиях свободы ледяной.
И вечная хула пред очи открывала
Испепеленный край поэзии благой.
Заветной кочергой она сгребала угли
Еще светящихся звезд, еще любимых лиц,
И вечер-книгоchet, задумчивый и смуглый,
Воспламенял в ней жизнь цитатами зарниц.
К бумаге льнула тень от головы мятежной,
Но вспыхнуть не могла желанною строкой...
И целовал уста ей аранчонок грешный,
И к лукоморью вел заросшую тропой.
И шла она за ним через бурьян столетия,
Чтоб отыскать во тьме до утренней росы
Неведомой строфы поющие соцветья;
Гражданкой утром встать и завести часы.
И, заварив питье из колумбийских зерен,
Домашних ужаснув кровавостью белка,
Она вдруг поняла, что подвиг иллюзорен;
И легкие над ней летели облака.

☆☆☆

Что ты медлишь, зари рисовальщик?
Торопись, наша жизнь коротка.
Открывай свой таинственный ящик
И рисуй на заре облака.

Ты рисуй этот розовый сумрак,
Эту вечность, простор и покой,
Эту скорбь окончания суток
Обессмерть искушенной рукой.

Оживи эти розы заката,
Дай им крови не тела — души...
Мы с тобою любили когда-то,
Наше прошлое в небо впиши.

Пусть там девочка бродит и мальчик,
Обживая времен небосклон...
Скоро ночь. Дорисуй, рисовальщик,
Черный, розовый, алый бутон.

г. Свердловск



Ирина
СЛЕПАЯ

☆☆☆

Был человек — и пропал человек.
На Родине, не вдали!
Тридцатые годы — смертельный снег,
Стольких с Земли смели.

По тем годам тоскующих — рать,
Заслуженных и седых.
Коль было беды нам не миновать,—
Жаль, что смели не их.

Воспоминание о Риге

Ри-га-Ри-га-
Ри-га-Ри-...
Петушком в ночи гори!

Петушком — слепым и старым,
Даугавою суровой.
Рижский воздух — свет да хмара,
Да с одышкой сосновой.

А налево — как в колодец
Провалиться,
Неба нет!
Вылетают из колоды
Тени, тени лет.

И по ним — седым, пропащим,
Ясновидящим и диким —
Сквознячок шагов летящих,
Взгляда бирюза...
Прибалтийка — Мона Рига! —
Мне глядит в глаза.

Прозрение

Я играла — и проиграла.
Проиграла, да...

Помню, все тебе было мало,
Горе луковое, балда.

Ты хотела — пустяк, игрушечку,
Чтоб летал ветерок сквозной.
Ты разматывала катушечку —
Нитка путалась за спиной.

На спине выростали крылышки,
Трепыхались, свежи и злы...
Этой светлой мороки ниточка —
Все на шее твоей узлы.

Сорок первый

Мы, видимо, скоро вернемся.
И лето уйти не успеет.
От бревен, не струганных вовсе,
Медовою стружкой веет.

Ввалилась братва деревеньки
И мнется в дверях виновато.
Тоскливо бормочут ступеньки.
В углу копошатся котята.

А мамки и ночью, и днем все
Рыдают, рассвета не видя...
Мы, видимо, скоро вернемся.
Вы яблоч без нас не рвите!

☆☆☆

Фильм тридцать шестого года.
Какая стоит погода!

Кадры робки и серы.
Пионерочки. Пионеры.

Речка легко струится.
Какие светлые лица!

В них вера, полет. Усталость.
А сколько кому осталось —

Не знает никто на свете.
Последних восходов нити.
Смотрите — вот эти дети!

Смотрите, смотрите, смотрите...

Любовь

Да, во славу иных и прочих,
Не покинет удача нас!
А она по пятам — до ночи,
И голодных не сводит глаз.

Совість нас то клянет, то хает —
Боже мой, до каких же пор...
А она тихонько вздыхает
И пристраивается под топор.

г.Калуга



Мария
БЕЛОВСКАЯ

Ода Родине

Запах проросшего злака трогает память мою.
Об этом точнее плакать. Но я о тебе пою.
— Как холодно, как лесисто,

как снежно до слепоты...

И слышен обрывок свиста
на десять верст пустоты.

Не мне ли выпала участь
вложить в невеселый всхлип

Всю прочность, вечность и сущность
сплетенья вот этих лип?

— Где сеть паучьего замка, его центревина, ядро,
— Где шестиногая самка вывертывает бедро,
— Где грубая сила связи, тисненье сосущих губ,
И крови глоток, и грязи, как поцелуя звук.

Нездешним увидеть странно, как этот темный скелет,
 Опутанный золотом тканым, святой наполняет свет,
 Через оконные рамы, в черной ночи встают:
 Белье-белые храмы, светловолосый люд.
 И, спутанный золотом тканым, свет наполняет свет.
 В покое благоуханном, покойней какого нет.
 А мне, освещенной,— горько. От сна твоего бегу.
 И помню: желтая корка лимона на русском снегу.

Приметы осени

Всем бывает осенью грустно...
 Знаете, мухи, слезы по веткам...
 Но для меня эта грусть арбузна,—
 Жалею арбузы в железных клетках.

Что-то в их полосатом обличье
 Много от тигров, уснувших в листьях,
 Очень они по-зеленому птичьи
 И серединами скрытые в мыслях.

Мысли

Мы венки у гробов принимаем за лещь.
 Ой ли — бог есть любовь? —
 Я не верю, что есть
 В мире бог.
 И Амур, прилетая весной,
 Белый камень швырнул
 Белокрылой рукой.
 Нет прозрачнее лиц, чем обломки воды...
 Посмотрите! Здесь все оставляют следы:
 Зерна падают ниц и рождают сады.
 — Мы одни порождаем убитые льды.
 Люди смотрят на вещи, как предки вещей.
 — Мир становится резче от ярких плащей...
 Но уверены: ждет нас прохладный ручей,
 И идем, содрогаясь от скользких лучей.
 Наша жизнь из отброшенных дней сложена.
 — Ваша дочь проститутка, а ваша жена
 Спит, где хочет, и хочет, где спит, но не вас.
 — Может, разум последний сегодня угас,
 И, подобны зверью, в одичалую даль
 Убежим мы.— Назад возвратимся? Едва ль.

Артист

В старинном кружеве и ткани он входит,
 мягко приседая,
 Покроем взгляда и камзола
 напоминая то искусство,
 Так свойственное ювелирам,
 кующим желтые вещицы,
 Что, полируя зад Амура,
 дают ему предназначенье:
 Блестящим быть, но не дешевым.
 Он произносит выраженья,
 похожие на взбитый гребень.
 Слова, что выделяют часто,
 здесь не обидны, не приятны,
 И впрочем, чем-то мне знакомы.
 А потому, когда напротив
 у дамы удлинится профиль,
 Определить мне все же трудно —
 от удивленья или скуки?
 Он перебрал времен десятки
 и вспоминает кринолины.
 В связи с каркасом полутени —
 отброшенных перил, ступеней.
 Его камзол, чулки из шелка однообразно светло-серы,
 А пальцы рук длинные и желты,
 и так изысканны манеры...
 Он натуральнее одежды и грима, парика и роли...
 О если б он явился прежде! А нам недостает его ли?
 Из зала смотрят взглядов сонмы,
 но плечи согнуты и сонны...

Антракт подходит шторой синей,
 чуть задержавшейся у края,
 И вновь, изысканно красивый,
 выходит, мягко приседая...
 Он обожает взгляд партера, назад откинутые лица,
 Его любимая манера: играя, вдруг остановиться...
 Вослед за поднятой рукою
 слова — рядами водной зыби,
 Стремясь, как к берегу, к покою,
 текут холодными и злыми...
 Он все стоит, перебирая члененья
 этих длинных слов,
 И взгляда долгая прямая
 скользит над грядами голов...
 Потом за сценой, в коридоре,
 молчит, о стену опершись,
 И вспоминает: Сочи. Море. И волны нарушают тишь...
 И берег нарушают волны,
 и птицы над водой безмолвны...
 А волны к берегу,
 к покою свой вольный направляют бег...
 Стена. С бессонной головою стоит и курит человек.
 Вот так: печальный и корявый,
 стоит, затягиваясь «Явой».

☆☆☆

Хорошо разговаривать с умной собакой? Да?
 Чтобы были: дом у меня, у нее еда —
 И светились дрова, заменяя нескорый рассвет...
 Очень плохо, когда всего этого нет. Нет?



Светлана
КЕКОВА

Стройка

Пейзаж в духе Брейгеля

Запах пыли кирпичной, цемента, песка и щебенки,
 экскаватор, как рак, но с оторванной правой клешней,
 Вельзевул без хвоста и сатир козлоногий в дубленке
 раздают приказанья, пока разбитные бабенки
 прычут низ живота с размещенною там малышкой.

Аксолотль, головастик, хвостатый тритон и мышонок
 разместились по-разному каждый в своем животе,
 их родня копошится внутри волосатых мошонок,
 а родятся на свет — и не нужно им шить распашонок:
 расплзутся по стройке, по теплой ее срамоте.

Что за стройка такая, где рушатся старые стены,
 пусть огромные бревна, покрытые липкой смолой?
 Слово раненый вепрь, ревет самосвал с авансцены,
 что на стройке опять подскочили на грешников цены,
 а шофер перепуганный держит секач под полой.

Я надену тулуп и сапожки, подбитые мехом,
 пусть морщины на коже сечет ледяная крупа,—
 над моей головой, коронованной грецким орехом,
 кувырывается еж, поугай заливается смехом
 и хрустит обреченно костей черепных скорлупа.

Я на стройку пойду, задыхаясь от сладкого чада.
В просмоленных котлах остывает курящийся вар,
и бегут саламандры по легкому пламени ада,
а невольничий рынок извне окружает ограда —
там тела продают, ведь душа ненадежный товар.

Если каждый из нас заключен в ненадежную сферу,
кто в орехе томится, кто прячется в шаре с крестом,
кто глотает ежа, кто в объятиях держит химеру,
то и стук молотка мы старательно примем на веру,
чтоб хотя бы на миг очутиться в пространстве пустом.

☆☆☆

Жизнь в звучании, как в позолоте...
Как минувшее ни славословь,
Двухголовым чудовищем плоти
настигает нас слово «любовь».

Будет жизни печальным итогом
о любви золотая строка,—
и пойдешь ты, оставленный Богом,
по неверной стезе языка.

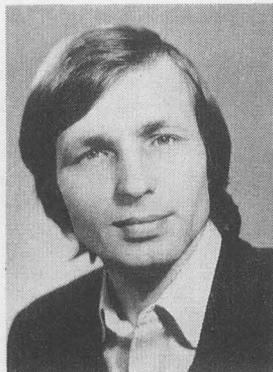
Ты пространство и время минуешь,
два глагола спрягая в груди:
он любил, я люблю, ты ревнуешь,
уходил, ухожу, уходи.

Погружается в воздух упругий
воплощенный в немногих словах
гладкокожий и четырехрукий
зверь печальный о двух головах.

И безлиственный лес, и безличный,
словно время, шумит надо мной,—
то дрожащий, то среднеязычный,
носовой или губно-губной.

Это страсти природа немая
обнажает то ветви, то ствол,
свой беззвучный язык прижимая
к золотым бугоркам альвеол.

г. Саратов.



Николай
НИКИШИН

☆☆☆

Злая печаль поселилась во мне.
Стало так больно, так пусто, постыло.

В синем сосуде с водой на окне
Дерево счастья корни пустило.

Дерево счастья...упругий росток
Долгие месяцы не просыпался.
Горе пришло — он оковы расторг,
Дух его в тесном сосуде метался...

Дерево счастья — тебя не поймешь:
Может быть, высшее счастье — в печали?
Может быть, высшая истина — ложь?
Может, и солнце приходит — ночами?

6

Дерево счастья, а как же тогда
С чистой душой относиться к поверью?
Может быть, та, что ушла навсегда,
Ждет, не осмелась стучаться, за дверью?
Переступить бы ей гордость свою
И позвонить, о былом не печалась?

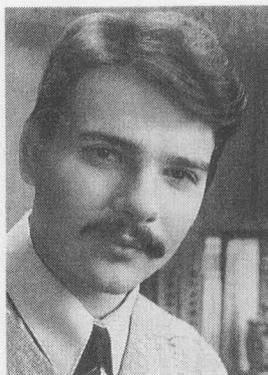
Нет! Я отвечу за совесть-судью,
То, что случилось,— со всеми случилось...

Послушай...

Послушай, сегодня вечерней порой
Ты праздничной скатертью стол свой накрой.
Морозами яркими в сопках крещенный,
Запася я семгою свежесолоной,
Оранжевой крупной камчатской икрой.

Послушай, устал я от лишних людей,
От преданных женщин, от верных друзей,
От длинных речей, от пустых разговоров,
От взглядов в упор, от робеющих взоров,
От запертых наглухо в полночь дверей.

Послушай, не пьяница я, не бандит,
От скорби людской мое сердце скорбит.
От песни пьянею, от жизни трезвею.
Тебе талисман я повешу на шею —
Пускай он тебя от меня сохранит...



Александр
БАРДОДИМ

Русичам

Ножны путали стремя,
Ржали бешено кони.
Раскаленное время
Мы черпали с ладони.

И от крови пшеница
Поднималась сырая.
Солнце билось, как птица,
На закате сгорая.

Вспыхнув золотом пыли
По накатанной глине...
Мы свободу растили
На ветрах и польни.

Где по степи носило
Нас от края до края,
Я сверкну над Россией,
Пролетая, сгорая.

Или в грохоте боя
Рухну, срезанный влет,
Если острой стрелой
Горло прошьет.

Если полночь раскрашу,
Брызнув кровью на стремя,
Подносите мне в чаше
Раскаленное время!

дан СССР, что включило бы в себя и предложения по расширению прав граждан ЭССР (в вопросах образования, религии, молодой семьи и т. д.)...

Раздел «В области молодой семьи». Предлагаем не пересдавать налог за бездетность в пользу молодой семьи, а упразднить этот налог вовсе, как оскорбляющий человеческое достоинство и фактически не влияющий на повышение рождаемости. Помощь же молодым семьям осуществлять из специальных государственных и общественных фондов.

В области права предлагаем добавить следующую мысль: для того, чтобы сформировать свои суждения о Декларации прав человека, необходимо для начала опубликовать этот документ и, если будет необходимость, организовать его всенародное обсуждение.

В заключение хочется выразить сожаление по поводу невыразительных предложений в области экономики. Недооценка экономических отношений как основных, формирующих социальную среду, очевидна. Видимо, отсюда и многие недостатки в мировоззрении тех, кто составлял «Предложения». Вопрос о владении средствами производства имеет такую же важность, как и вопрос о власти. Мы видим основные причины национальных, социальных и других конфликтов в глубоких деформациях, которыми поражена наша экономика.

(«Мастерская», № 7—8).

«А-клуб» образовался в апреле 1987 года. В инициативной группе было 22 человека. Предполагалось, что клуб будет заниматься вопросами здорового образа жизни и экологии. Однако второе направление — экология — стало явно основным.

Публикуемый ниже «Призыв к молодежи Эстонии» — одна из форм деятельности клуба.

«Мы живем в мире, который близорукие человеческие действия уже в ближайшее время грозят бросить в пропасть глобальных экологических катастроф. Локальные эко-катастрофы начались уже сейчас: невиданные климатические изменения, массовая гибель лесов, загрязнение поверхностных и грунтовых вод, повреждение почвы из-за спрессованности и пересыщения ее химикатами, все сложнее становится жить в крупных городах и т. д. Беспрепятственно уменьшается озоновый слой, растет эффект теплицы. И в Эстонии можно ожидать приближения массовой гибели лесов, загрязнено большинство наших рек, в опасности Чудское озеро, опасны для здоровья некоторые наши города, столицы республики уже сегодня угрожает нехватка питьевой воды. Возникает вопрос: почему все еще не принимаются радикальные меры?..»

Мы обращаемся к молодежи с призывом захватить экологическую инициативу на местах во имя защиты своего будущего и будущего своих детей.

Миссия молодежных инициатив и организаций — вместе определить стратегию, задачи и формы действия не только для спасения природы, но, и для обновления всего нашего образа жизни. Объединим свои усилия. Будущее в наших руках».

«А-клуб» ЦМИ, Таллин, ЭССР («Мастерская» № 1).

«Неформалы: «системный подход»

Оговорюсь сразу: я не хиппи. Я не отращивал волосы, не курил ананшу, не скитался по святым местам, добросовестно посещал военные сборы и не имел неприятностей с милицией. Хиппи иногда ночевали у меня дома, иногда я попадал в их компанию у кого-то в гостях, иногда мы просто болтали.

«Детям цветов» «старой системы» сегодня за тридцать. Соответственно есть и «молодая система». «Старая» и «молодая» меж собой стыкуются плохо. Переход из «молодой» в «старую» в их системе координат по значимости равен вступлению литератора в Союз писателей. Сама «система» в материальном выражении выглядит в виде записной книжки с адресами «системных людей» из других городов.

Что притягивает в «систему» новых рекрутов? Стандартный ответ: желание посмотреть мир и найти себя. Последнее посредством бесед, книг, паломничества к святым местам, творчества. Среди «молодых» больше музыкантов, «старых» — писателей. И если мы что-то слышали из их музыки, то к приходу их литературы мы еще не готовы. У них в огромном авторитете «Битлз» и «Доорз». У них своя философия, палитра которой достаточно широка: от древнекитайской философии до эзотерического христианства. Хиппи по большей части искренне религиозны...

Что ждет хиппи дальше? Рискну сделать прогноз: в этом вопросе все зависит от нас, «формалов». Ведь, казалось бы, свершилось невозможное: изданы лучшие «андеграундские» альбомы АКВАРИУМА, АЛИСЫ, СТРАННЫХ ИГР, опубликован В. Рекшан, доживает свое «двойная литература». От нас зависит, поверят в наши дела хиппи или нет. Предвижу возмущенный вопрос: «А кто они такие, чтобы с ними цацкаться?!» По-моему, это люди, у которых в сложное для страны время хватило сил и духа жить ПО-СВОЕМУ. А это очень немало.

Сергей Слепиковский («Мастерская» № 5—6).

Рок-клуб сообщает

«Тариф на час»

...Страшно подумать! «Лед Зеппелин» не имели тарификации! «Роллинг Стоунз» не имеют до сих пор! А Дженис Джоплин? А Джими?.. Да что там! Появился Высоцкий не 25 лет назад, а сейчас, кто бы его! — неизвестного, плохо играющего на гитаре — тарифицировал?!

...В нашем случае оценивалось ансамблевое мастерство, то есть техника, сыгранность и т. п., но никак не музыкальные и просто идеи. Читатель, наверно, понял, что действия жюри свелись в конечном итоге к элементарному можно-нельзя. «Льзя» — это категория «два цэ», а «нельзя» — это «низя и все». Но пока музыканты играли, жюри молчало, лишь изредка поторапливая выступавших и прося их со сцены уже после двух песен вместо положенных трех.

Стати, из всех групп, прошедших перед тарификационной комиссией, только «Не ждали» имеют более или менее нормальную репетиционную базу. Остальные... «Таллинский вариант», к примеру, в лучшем случае репетирует у кого-нибудь дома. А перед выступлением в «Доме игр» (процедура тарификации имела место именно в нем) репетиция прошла в туалете указанного заведения. В результате — «низя». А ведь «Таллинский вариант» — одна из самых кайфовых (в лучшем смысле этого слова) команд. Такого чисто рокового балаганного «feeling'a» нет почти ни у кого.

Категория «два цэ» дает право выступать в том месте и в той организации, к которой коллектив, получивший эту оценку, приписан. То есть там, где таковой репетирует и т. д. И если бы не важная уступка со стороны жюри, согласно которой группы, удостоенные «два цэ», по линии рок-клубов имеют право играть в любой точке СССР, формально сложилась бы странная ситуация — «Великие Луки» должны были бы выступать только в наркологическом диспансере, а «Таллинский вариант» — в собственном подъезде. Но «Великие Луки», показав очень энергичную программу, получили разрешение и теперь могут ездить куда угодно.

А вот «I. M. K. E.» были в прошлом году в Подольске, на рок-фестивале! Это как? Ведь не имели они тогда тарификацию! Да, дорогой читатель, не имели. И выступать не могли. Ногром их не убило, земля под ними не разверзлась и Подольск-город на месте стоит. Где и стоял.

Основные выводы:

Тарификационная комиссия впервые пошла навстречу пожеланиям и, изменив обычным принципам и твердым правилам, посвятила четыре (четыре!) часа рабочего времени «рокерам».

Стало абсолютно ясно, что тарификация просто не нужна. Вообще.

Одним словом — ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ИГРАТЬ!

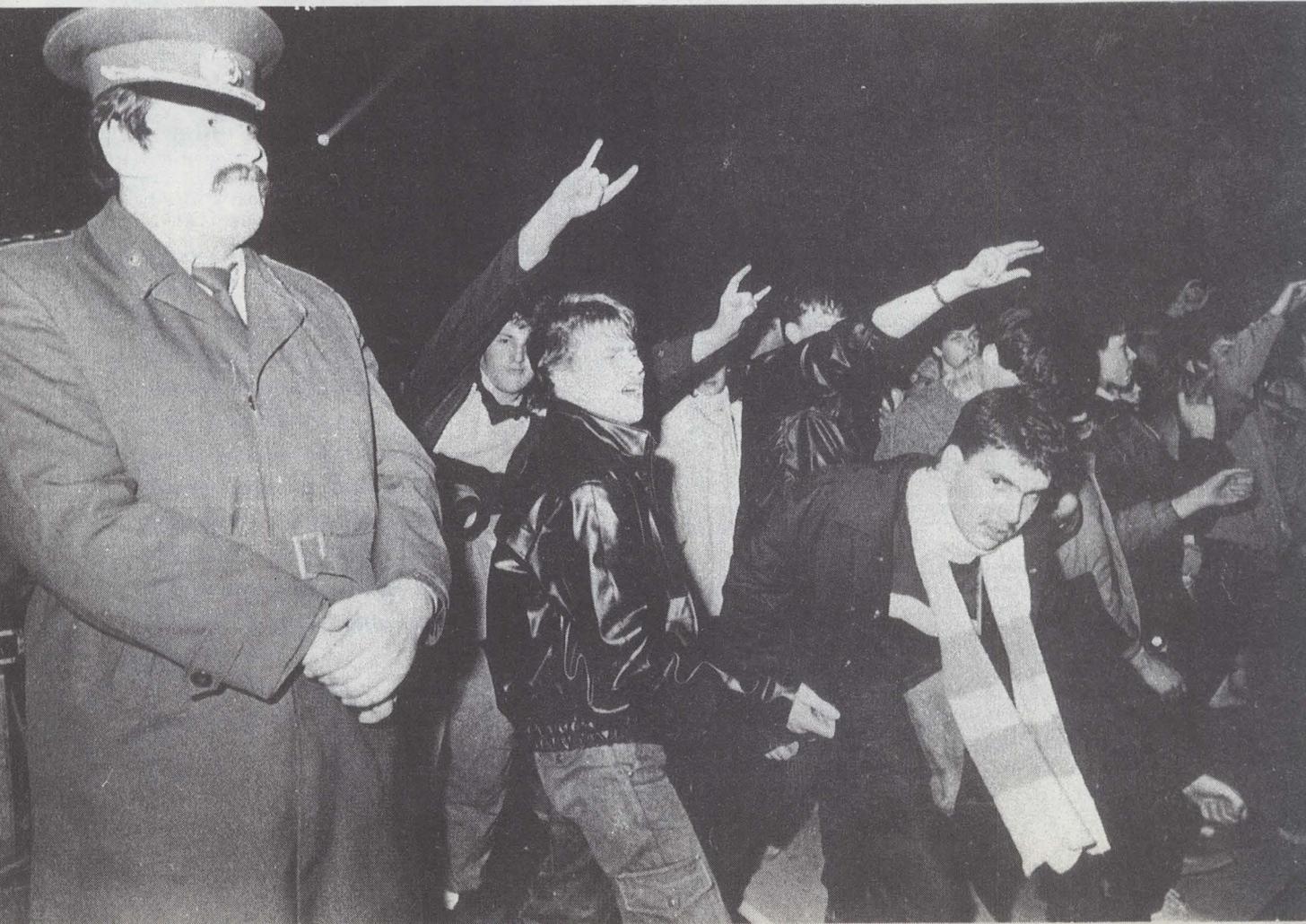
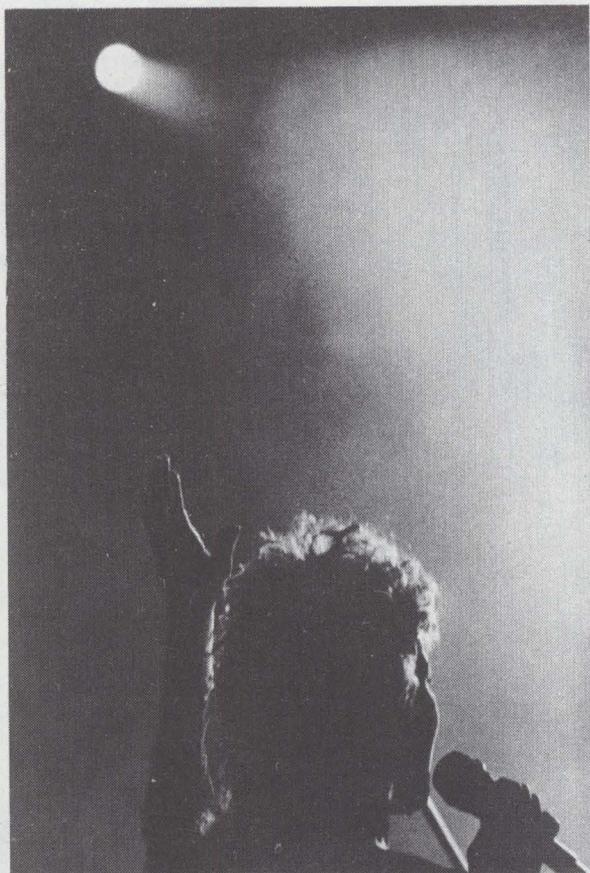
Дайте людям играть плохо. Дайте им играть хорошо. А «что такое хорошо и что такое плохо», покажет время. А время — это те же люди, когда их много.

Андрей Кузнецов
(«Мастерская» № 1).

(Таллин — Москва)

Материал подготовила
И. ВЕРОНИКША





СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Фонд реставрации



Первым человеком, который откликнулся на наш призыв о помощи старой Москве (см. «Юность» № 9), стала Екатерина Васильевна Власова. Вот что она написала в своем письме:

«Тема Москвы не может не волновать всех, а особенно коренных москвичей, к редкой ныне породе которых я себя смею относить. Москву я не покидала никогда, даже в 1941—1942 годах: жила в самом ее центре, недалеко от университета и Центрального телеграфа — хорошо помню попадания авиабомб в оба эти места.

С московскими домами, улицами и переулками связана вся жизнь. Поэтому сейчас все свободное время я стараюсь отдавать Москве — участвовала в реставрации дома Вернадского, церкви Троицы в Кожевниках, в раскопках в Богоявленском монастыре и в Историческом проезде. Продолжу эту работу, насколько хватит сил. Что касается приложения средств на реставрацию — легче перечислить благополучные памятники... Мне только хотелось бы обратить внимание на дом, всей своей историей заслуживший внимание. Это «Узкое», усадьба Трубецких, когда-то загородная, а ныне московская. Перечисление имен выдающихся деятелей науки и искусства, с которыми связано это место, заняло бы не одну страницу — назову только Вл. Соловьева, Вернадского, Луначарского, Станиславского, Шоу... Дом в «Узком» давно и настоятельно требует реставрации, так же как и окружающий его парк.»

Нам было приятно узнать, что не только люди старшего поколения волнуются за судьбу столицы. Отличную идею предложила московская рокабилли-группа «Мистер Твистер»: рокеры отчислили один из своих концертных гонораров — 460 рублей — в фонд реставрации. Вот что сказали музыканты, когда мы связались с ними, узнав об их добровольном вкладе.

Олег Усманов, контрабас:

— Мне, как и любому москвичу, не безразличен город, в котором я живу и с которым связана вся жизнь... Все мы любим Москву. У нас есть несколько песен, посвященных Москве, — наше отношение к ней как к одному из лучших городов, мы видим, поддерживают и наши слушатели. Меня, как москвича, волнует судьба Волхонки: я слышал, что ее собираются перестраивать, а это один из моих любимых уголков Москвы. Предлагаю московским рок-музыкантам последовать нашему примеру и помочь Москве кто чем может.

Валерий Лысенко, ударные:

— Я живу у того места, где небезызвестная Аннушка пролила подсолнечное масло, то есть в самом центре булгаковской Москвы. И очень хотелось бы, чтобы Пионерские пруды носили свое прежнее имя — то, которым все коренные москвичи по-прежнему пользуются. Я — за Патриаршие пруды и за то, чтобы новое не портило то, чем Москва по праву должна гордиться...

Вадим Дорохов, гитара:

— Хочу вслед за Олегом предложить провести большой благотворительный концерт, средства от которого пошли бы на реставрацию старой Москвы. Думаю, что журнал «Юность» смог бы организовать подобный концерт, надеюсь, что многие из рок-музыкантов откликнутся на это предложение...

За помощь Фонду реставрации старой Москвы спасибо учащимся Московского архитектурно-строительного техникума.

В редакцию ребята написали:

«В феврале, после защиты диплома, наша работа будет связана не только со строительными, но и с реставрационными работами: наша специальность — техник-строитель. Поэтому к Фонду реставрации мы имеем, кроме человеческого, еще профессиональное отношение. Мы собрали по 1 рублю со стипендии. И, может, наш скромный вклад пойдет на реставрацию старых зданий и памятников самого дорогого — Первомайского района, в котором находится наш техникум.

Мы любим Москву и очень хотим ей помочь».



**№ 609110 — это номер счета
твоей помощи Москве.
Любой желающий может прийти
на почту, попросить
соответствующий бланк
и, заполнив его,
отослать свой вклад на этот счет
в Московском отделении
Промстройбанка г. Москвы.
Не забудьте указать,
на что Вы хотели бы
использовать деньги фонда,
свое имя.
Новая старая Москва —
это возможно!**

Фото В. Павленко

Татьяна ЖУРАВЛЕВА



Дорога к дому превращается для меня в дорогу к чуду. Тысячу километров мчит меня поезд из портового города к старому дворику, где скамейки вросли в землю, где с утра до позднего вечера старухи погружены в проблемы вселенной, а старики не расстаются с домино, где растут под окнами тополя, мои ровесники, где бродят в невероятных количествах жирные бездомные коты, которые вместе с санитарно-эпидемиологической службой борются с периодическими нашествиями крыс, где...

Мчится поезд, радуясь своей силе, мчусь с ним я, ожидающая нечто невероятное. Разрастаются, как бурьян, воспоминания.

По натуре я застенчива, суеверна и начисто лишена чувства юмора. Самые близкие люди этого не замечают. Знакомые предпочитают считать меня самоуверенной, эксцентричной и крайне везучей. Суеверие поселилось во мне с дошкольных времен благодаря стараниям бабки. До сих пор, когда черные коты перебегают путь, я трижды сплевываю через левое плечо и трижды повторяю: «Чур меня!». Бабка без особого труда вбила в мою доверчивую голову, что мир населен добрыми и злыми духами, которые благодаря своей нематериальной природе заполнили горы, реки, леса и даже наш пересыхающий колодец, где, кроме темноты и сырости, как мне казалось, никто не смог бы выжить. Бабка была язычницей, доброй христианкой и сторонницей пророка Мухаммеда в вопросе борьбы с «зеленым змием». Бабка — мой добрый дух. Днем она превращалась в мышь и сновала между кухней и огородом. По ночам стучала веретеном, окутанная папиросным дымом и мечтательностью, и пела песни, непередаваемые на другие языки. Пережив четырех мужей, она испытывала глубокое неуважение к мужскому полу. Когда в доме появлялся очередной жених матери, бабка пребывала то в образе громовержца, то мечтала найти приют в какой-нибудь тихой обители, страшно при этом богохульствуя. Мужчины в доме надолго не задерживались, и все становилось на свои места: бабка снова превращалась в мышь.

Чувство юмора погубило во мне с моим появлением на свет. Я родилась, не подозревая, что один из моих родителей со смехом отнесется к брачным узам. С тех пор нашему семейству стало не до шуток.

Детство помню отрывочно. Впечатление — будто я подглядывала за ним в замочную скважину.

Дружила с гусем. Отрубили голову. Съели. Целый день презирала себя за предательство. Гусиная печенка стояла комом в горле.

Купила негра. Куклу. Сшила ему шаровары с лампасами. «Откуда такую страхолюдину выкопала?» — испугалась бабка. «В магазине продавали!» «А деньги откуда?» Я кивнула на комод. Негр оказался в кладовке. Я — в углу.

Урок рисования. Тема — золотая осень. Рисую расколотый на две половинки голубой арбуз, из которого торчат красные подсолнухи. Учитель спрашивает: «Где ты видела такую осень?» Не могу вспомнить. Арбузы и подсолнухи у нас не росли. «Подойди к окну». Подхожу. «Что ты видишь?» «Небо». «Что еще?» «Клены». «Нарисуй клен с желтыми листьями». Нарисовала. Красиво! Не удержалась: на верхушку подвесила арбуз. Было обидно и смешно. Почему смешно — не помню. Обидно — учитель уничтожил мой образ осени.

Ненавижу вспоминать. Даже о хорошем. Потому, что это уже бы-ло, прошло, чего не повторить и не исправить.

Мое настоящее живет двумя жизнями: морской и сухопутной. Оно двулико, как Янус, и похоже на мою душу.

Я смотрю на него то со стороны земной тверди, ощущая все несовершенство и жестокость бытия, то проходя по неуютному зыбкому пространству, радуясь каждому новому дню, в котором теряются мои беды.

Позади круглосуточно бубнящий гул двигателя, раздражающий скрип переборки, потревоженных штормом, однообразный распорядок дня, бесчисленные швартовки и таможенные досмотры, беглые пробежки в инпортах по фирменным магазинам, где можно приобрести все, что заблагорассудится, и где мы обычно не задерживаемся у кассовых аппаратов, ибо наши потребности не соответствуют нашим возможностям. Давно известная истина и морякам, и министрам, и всему свету.

Вот я подхожу к дому с чемоданом, лопающимся от «ходового» товара, предложенного нашими бывшими соотечественниками, которые, рассеявшись по Европе, незаметно процветают за наш счет, как и мы — за их. Взаимовыручка.

Вот мой подъезд. Сырой, ободранный, мрачный, с вонью канализации и кошачьих испражнений. Обыкновенный подъезд моего любимого города, обойденного вниманием нерасторопных городских властей. Я — дома!

Приоткрыв дверь, почувствовала — произошло необычайное. Черемуха! Роскошная, глазастая, сияющая! То, что она выросла посередине комнаты, озадачило меня. Подумалось: «Могла бы и у окна». Проглотив несколько блестящих, похожих на зрачок ягод, я достала из чемодана бледно-розовую раковину. Комната наполнилась песнями Карибского моря. Мало надо человеку для ощущения счастья.

Она пришла под вечер, напомнив мне, что тень имеет плоть. Принесла банку засахарившегося вишневого варенья. Молча осмотрела подарки и ушла на кухню пить чай. Дерево и я глазами друг на друга и все больше убеждались, что привыкнем к стесненным условиям земного существования. Она выскользнула из кухни и, устремив взгляд на пол, заговорила своим вторым голосом.

— Вера, ты бы дала мне денег. Поиздержалась я без тебя. Семнадцать рублей долгу.

Я протянула кошелек.

— Можно четвертной?

Она ловко свернула в трубочку деньги и засунула в бюстгальтер. Провела рукой по раковине.

— Это откуда?

— С Кубы.

— Качало?

— Не очень.

— Ну я пошла?..

— Когда появишься?

— На недельке забегу.

Она направилась к двери. Худая, морщинистая, чужая. Лопатки торчали, как два обглоданных крыла. Мой ангел зла. Каждый раз мне хочется задержать его, прикоснуться губами к старомодной шапке волос, к впавшим желтым щекам, к выцветшим, равнодушно смотрящим на мир глазам, и каждый раз я успеваю только вдохнуть воздух, чтобы попытаться произнести: «Мама...» Она захлопывает дверь, и я начинаю реветь в голос, тонко и противно. Я реву безмерное количество лет, тысяча из которых приходится на мое детство.

Мы неслись за овцами, не пожелавшими подставить свои добродушные морды под объектив фотоаппарата. Звенела земля, и ветра свистели нам вдогонку. «Ой, умру! Сил моих больше нет! Остановитесь, окайнные!» — весело кричала Она. И овцы, то ли устав от бессмысленного бега, то ли вняв человеческой мольбе, остановились, повернули к нам морды и заблеяли на разные лады. От этого дня в семейном альбоме остались два овечьих групповых портрета, а в душе — страх от чего-то, мной не пережитого. Огромная пугающая беда взрослого человека. Она протянула черемуховую ветку и сказала своему внутреннему собеседнику: «Зимой немцы сложили штабелями трупы... а мы с теткой ходили собирать уголь... ума не приложу, почему здесь был рассыпан уголь...» Во рту стало так вязко от черемухи и Ее слов, что я разучилась на время говорить.

С утра шумел радостный дождь. В доме напротив пили. Из открытых окон доносились визги, ругань, звон бьющейся посуды. Пролетела фуражка и накрыла лужу. Из окна высунулся мужчина и бессвязно закричал:

— Где? Эй! Посажу!

Входили и выходили из подъезда знакомые и незнакомые люди. Бежали по двору довольные, промокшие до нитки дети.

Она пришла. Включила с порога свой второй голос. Единственная пуговичка, точно голова рахитичного ребенка, болталась на поле распахнутого плаща.

— Дочушка, выручай. У Клавки день рождения. Маленько не хватило. Одолжи.

— Не надоело кланяться?

— Да ты не сердчай. Я ей-богу верну.

— Не дам.

— Неудобно, Вер, я обещала. Все ж знают — у тебя деньги водятся.

— И копейки не дам больше! Ты же вторую неделю не просыхаешь. Думаешь, не знаю? Мне люди тычут: «Твоя-то опять в «гадюшнике» была. Ты бы за ней присмотрела! Нехорошо, мол, дочь ты ей все-таки».

Она резко вздернула голову, поражающую правильностью черт и желтизной кожи.

— А им какое дело? Лю-у-ди! Чего ж они раньше-то заботу не проявляли? Когда нам жрать было нечего. Когда меня за опоздания уволили. И под суд грозилась отдать. А разве я виноватая была? Ты маленькая вечно болела. Жили-то первое время в подвале. Матушка моя через эти хоромы чахотку заработала. Как мне на смену — ты в рев: «Мамочка, миленькая, не уходи. Я умру без тебя». Пока успокою, сама нареву. Пару раз опоздала. Лю-у-ди! Когда уволили, пришла к директору на дом и говорю ему: «Ты Советская власть или кто? Угол у тебя просила, хоть какой-нибудь, только сухой — не дал. Садик — не дал. Теперь решил ребенка моего голодом со свету сжить, ирод!» А он брюхо вперед: «Вон! Я сейчас милицию вызову!» Ну, правильно, подвыпившая была. Да трезвой легко ли просить? Хлебнули всего вдоволь. Бабка твоя без пенсии, всю жизнь, как проклятая, вкалывала... Ты-то не помнишь, мала была. Царство небесное тетке — пристроила. Я тогда чуть руки на себя не наложила. И это называется жизнь! Пропали она пропадом! Лю-у-ди говорят! Плевать я хотела на всех! Пью на свои кровные. А что у тебя беру... не будь тебя, может, я нынче с полковником под ручку ходила!

На меня надвигалась черная дыра ненависти. Я метнулась к поролоновому утенку — последнему подарку женщины, вписавшей свое имя в мою метрику. Невесомость. Воздух съеден черемуховым запахом. Я кувыркалась в памяти, которой могли меня лишить.

«Верочка, давай нашу любимую!» Аккордеон оскалится и заговорил протяжно-грустно: «Ушло тепло с полей...» Песня плыла по дому. Сосредоточенно смотрели со стен фотографии. Два кота расположились на комод. Гипсовый, с отбитым ухом, подчитывал монеты в своем чреве. Рыжий, старый, ленивый — позевывал, смахивая лапой дрему и на зойливых мух. Прекрасное лицо, излучающее нежность, склонилось к моему плечу. Вечер пах догорающим закатом, черемухой, счастьем. Мать казалась мне богородицей, сошедшей с бабкиной иконы.

— На, подавился!

Она торопливо подобрала разлетевшиеся по комнате деньги. На полу у моих ног остался лежать смятый рубль, который, уходя, Она не решила поднять. Болело под левой лопаткой. Я выпила две таблетки снотворного. Заснуть бы скорее! Ночью захотелось погрызть арбузную корку. Я сказала себе: «Завтра — день исполнения желаний». Проснулась оттого, что солнце подарило мне улыбку. На полу лежал огромный полосатый арбуз. Я расцеловала солнечный луч, пробравшийся через занавеску и совершивший чудо. Но жизнерадостное утро прогнал пасмурный день, и арбуз исчез. Маята. Хуже горя. Горе можно выплакать. А когда не знаешь, за что схватиться, чтобы не умереть от одиночества?... Я стала жадно есть черемуху. Почему она сверлит своими блестящими зрачками мне душу?

Соседка открыла чемодан, битком набитый арбузами. Комната превратилась в бахчу. «Зачем вам столько арбузов?» — спросила я. «Я их засаливаю».

«Вы любите соленые арбузы?» «Ненавижу. Какое несчастье иметь свободные деньги! У меня никогда не было долгов. Не понимаю, как вообще можно делать долги! Знаю лишь, как делать деньги. Я научу тебя. Никогда ничего не давай в долг, даже если кто-то будет умирать. Как я устала солить арбузы! Куда можно пристроить мои свободные деньги?...» Я не сказала: «Отдайте их мне». Мне не нужны были деньги, но я очень хотела есть. Бабка лежала в больнице,

а в доме, кроме банки рыбных консервов, которые нам с рыжим ленивым котом надо было растянуть на три дня, ничего не было. Тогда больше, чем на три дня, Она не исчезала. Я смотрела на баранки, что лежали на столе, и думала: «Когда я стану большой, у меня всегда будет много-много баранок». «Ну, ладно, деточка, иди домой. Спасибо, что помогла донести». Я замыкала и пошла к двери. «Деточка, что с тобой? Какая ты странная, однако». Мы с котом были одного года рождения и не совсем понимали, что происходит со взрослыми людьми, окружающими нас.

Это случилось. В первое мгновение — наконец-то! Трезвая! Жалкая. Любимая! Сердце — сплошная боль. И вдруг — мой чужой голос, обретший материальность. Голос-монстр. Что происходит? Почему я закричала, когда Она назвала меня дочкой? Почему я не сажусь с Ней пить чай? Я так счастлива в минуты, когда от Нее не пахнет вином. Сердце разрывается: «Остановись!» Что происходит!

— Ненавижу! Я молюсь, чтобы ты сдохла однажды. Перепилась и сдохла. Чтобы меня и себя освободила. А если не сдохнешь, я убью тебя и себя к чертовой матери! Не могу больше! Ненавижу!!!

Голос разрастался. Он вытеснил из комнаты окружающие предметы, двух человеческих существ, воздух. Радужные овалы, легкие, стремительные, выныривали откуда-то с потолка и в сантиметре от меня превращались в маленькие черные дыры. Что там, в этих дырах? Ненависть? Я медленно падала в тишину. Я не успела упасть. Она схватила мою голову и прижала к своему неангелоподобному лицу. Пахло черемухой, детством, неизвестностью.

Они выпорхнули из особняка столетней давности, который обступили пышные заросли черемухи. Мордочки летучих мышей. Наголо обритые. В мрачных сатиновых одеждах. В черных неуклюжих ботинках на худощавых стельках ног. Я спряталась за Ее спину. «Ну чего испугалась? Бритые? Так это ж, чтоб не завшивели. Не бойся. Их жалеть надо. Сироты они. Родители? У кого умерли, кого бросили...» Я представила, как их бросили на дороге, которая змеящимся желто-серым языком протянулась к особняку, и они, маленькие, беспомощные, испуганные, бесконечно долго ждали, когда за ними придут. Никто за ними так и не пришел. И тогда они превратились в летучих мышей. Я заревела: «Ты меня никогда не бросишь?!» Кружилось улыбочное небо, кружились черемуха, трава, дорога, кружился особняк, состарившийся от беспощадности времен, ветров, атмосферных осадков, равнодушия. Весь мир кружился. Она опустила меня на землю. «Как же я тебя брошу... ты моя любимая черемухка!» Был день, когда Она в последний раз целовала меня.

Кто-то говорил по телефону. Умолял быстрее приехать. Я подумала: «Когда человек умирает, он никогда ничего не просит в долг. Я не умираю. Прошу тебя, останься со мной. Я верну тебе этот долг».

Прибыли люди во всем белом и стали скрупулезно изучать корни моего дерева. Я сидела в углу дивана и боялась смотреть на их изящные руки, не переносившие ветров и солнечного света.

Один из них, воспитанный как свинья, споткнулся о черемуху.

— Не лапайте мою душу, — сказала я.

— Мы должны знать твой генетический код.

— Где вы были раньше, когда мой дом был пуст?

— Дерев нет. Оно выросло только в твоих глазах.

Он хотел сказать: «В твоём больном воображении».

— Неправда! Я-то знаю, что оно есть. Вы боитесь образов.

— В роду были алкоголики, наркоманы, психически больные?

— Почему вы раньше этим не интересовались? Кто вы? Маги? Фанатики? Младенцы? Преступники.

Он повернулся к Ней. «Возьмите себя в руки», — приказывал его взгляд.

— Удар холодом.

— Что ты имеешь в виду?

— Увеличивает твердость стали. Меньше изнашиваются механизмы. У нас нет стальных органов чувств. Зачем подвергать их всю жизнь ударной обработке холодом? Мы не шарошечное долото.

«Все ясно», — прочла я на его лице.

Стало невыносимо от ученого равнодушия. Я уменьшилась до размера атома.

— Где вы были, когда я еще не разучилась произносить «мама»?

«Старая ведьма, куда деньги спрятала?!»
«Надя, голубушка, Христом Богом прошу, успокойся!»
«Мамочка, миленькая, не пей больше!»
«Не вмешивайся в дела взрослых! Марш в кровать!»
«Надюша, ложись, отыщутся деньги. Утро вечера мудренее».

От удара бабкина губа треснула и закровоточила.
«Ма-а-а!!! Это я взяла!»
«Воровка! Дрянь!»
Захлопнувшаяся дверь оборвала вопль бабки:
«Надя, опомнись! Верни ребенка! Не брала она этих проклятых денег».
Я натерла снегом обе щеки, чтобы никто не заметил отпечатка руки моей матери.

В палате нас было четверо: я, запах, шум прибора и незнакомый человек, который появлялся то в облике молодых женщин с улыбкой Джоконды, то в облике усатого старика. Старик странно смотрел и много расспрашивал.

Очень скоро я догадалась, почему люди не любят попадать в больницы. В больницах бродит страх. Я часто наталкиваюсь на него. Как-то я заговорила с ним. Он оказался не таким уж и страшным. Больше болтливым. Полдня плел всякие небылицы. Когда я устала его слушать, пришла женщина с джокондовской улыбкой и сделала что-то чрезвычайно необходимым.

В последнее время у меня обострилась память. Я даже помню, чего со мной не происходило. Например, я вспомнила, как Она плакала. Это случилось в тот день, когда в мой дом пришли люди, желающие уничтожить мое дерево. У Нее вдруг стали катастрофически быстро увеличиваться глаза. Они увеличивались и увеличивались до тех пор, пока лицо не превратилось в огромный бледно-голубой круг, из которого струился прозрачный водопад. Никогда не предполагала, что в Ней живут слезы.

Я много думаю. Это меня угнетает. Сейчас самое главное — не считать себя умалишенной, иначе я действительно сойду с ума. Я живу образами. Нельзя позволить их уничтожить. Окружающие меня люди не могут понять: если человеку одиноко, так одиноко, как богу, ему необходим рядом образ, чтобы выжить. Бог, наверно, потому и вечен, что он выдумал целый мир. О чем я?.. Какой бог?..

Меловое лицо обрамляли спутанные жирные волосы. Куринное перо, торчащее из приплюснутой подушки, впилося Ей в шею. Я вытасила перо. Она не пошевелилась. Захотелось лечь рядом с Ней, уснуть и никогда не просыпаться. Был день моего рождения. Бабка гремела посудой и беспрепятственно бубнила: «Дошлялась. Глаза б мои не глядели. Хоть бы о девке подумала, бесстыжая. Кто ее растить-то будет? Дошлялась...» Бабка умерла через год на пасху. Я бежала за подвыпившим соседом-музыкантом и заглядывала в огромную медную трубу, из которой вылетали траурные звуки, напоминающие плач. Похороны казались мне праздником, пьесой, сном. На поминках Она сказала: «Кому нужна баба с довеском...» Чтобы не расплакаться, я стала искать дорогу к детскому дому. Я не сумела превратиться в летучую мышь. Меня сдали на руки матери. Мой генетический код тогда никого не интересовал.

Меня выписали в день ее рождения. Я пришла домой, и квартира оказалась мне обкраденной. Чего-то не хватало. Я не могла понять «чего» и долго сидела посередине комнаты. Пытаясь отделаться от ощущения потери, я взяла наглогтавшего пыли поролонового утенка и выстирала его. Он снова стал желтым, как в детстве. И тогда я поняла, что мне не хватает Ее. Я включила телевизор. Говорили о вреде алкоголя. Почему-то стало смешно. Подошла к окну. Белый кот гулял по крыше сарая. Мне захотелось его погладить. Я оделась и вышла на улицу. Кружилась голова от весеннего воздуха. Я шла по городу и вглядывалась в прохожих. Какие лица! Какие безумно усталые одинокие лица! Почему их так много? Может быть, мне это только кажется? Других я не замечаю? Торговали цветами. Седая, высушенная жизнью женщина предлагала букеты черемухи. Я прошла мимо. Я удалялась и понимала, что сейчас поверну обратно, подойду к женщине и куплю черемуху. Я это понимала и почти бежала в противоположную сторону. Над городом стоял образ матери с глазами богородицы.



«А что же дальше?» — спросила я (потому что действительно не знала: что?) и получила добрые полсотни ответов. И сегодня зазвонил телефон, девушка сказала: «Я прочла ваши двадцать вопросов... Это уже давно было... Мне не с кем поговорить о них. Можно, я вам напишу?.. С одной стороны, смешно, спрашивает, можно ли. С другой — очень грустно: спрашивает... Так что же дальше? Дальше оказалась жизнь с ее заботами и несчастьями, удачами и радостью. И все наши теоретические «философские» размышления о ее смысле, о добре и зле, любви и духовности необходимо стало воплощать в реальность, переплавляя слова в дела. Кстати, письма оказались потрясающими по своей точности зеркала. Недаром излюбленным когда-то жанром литературы был эпистолярный — роман в письмах. Кто-то присылал нам добросовестно заполненную, но душевно пустую «анкету», кто-то «выпускал пар» и на том успокаивался, но все же большую часть составляли другие письма. В свою очередь, их тоже можно разделить на две стопки: те, что, условно говоря, заканчиваются восклицательным знаком, и те, что — вопросительным. Немного информации: со времени публикации первого обзора* мы получили 2300 писем, из них 815 — ответы на наши знаменитые уже двадцать вопросов.

Те письма, что я буду приводить, казалось бы, ничем не связаны друг с другом. Они о разном. И все же сквозь конкретные темы в этих письмах, как на лакусовой бумажке, проступает позиция человека по отношению к миру. Эта позиция может устраивать или нет, но она есть. С восклицательным или вопросительным знаком в конце. Итак, очередное «философствование»? А где же молодежные проблемы? — спросит кто-нибудь.

А вы уверены, что они вообще существуют?..

...Порывшись в старых словарях, мы отыскали «старинное» слово — милосердие. Оно потерялось там за лозунгами об абстрактной гуманности и абстрактном гуманизме. И, видимо, с его возвращением к нам вернулись темы, которые долгие годы заведывались этими лозунгами.

«...Я нахожусь в колонии. Пишу просто для ясности и не претендую на дешевый интерес к своей персоне. Никакой «исповеди» не будет.

Хотелось бы обратить внимание на дальнейшую судьбу таких, как я. Имею в виду жизнь на свободе. Редко кто продолжает ее честно. Причины? Основных, по-моему, две: озлобление и непонимание реальной жизни. Озлобление в целом возникает не здесь, а в первые дни на свободе. Не знаю,

* «Исповедь. А что же дальше?». «Юность» № 5, 1988 г.

может быть, сейчас по-другому, но я испытал на своей шкуре; что это такое — оформление и трудоустройство.

Первый раз я нигуда не устраивался, воровал и «продержался» два месяца. Сел за хулиганство. Надоело. Второй — хотел по-честному, встал на учет. Неделию голодал и спал на вокзале, а еще через неделю мне «повесили» грабёж и — на шесть лет. Я не жалуюсь. Уже все перегорело, и осталось полтора года. Дотяну.

О «той» жизни я знаю только из газет и никаких реальных перемен не вижу, если не считать того, что все журналы читаешь, как детективы, от корки до корки.

Таких, как я, много. Или мы для вас уже не существуем?..»

Оренбургская обл.

Александр Шевченко.

Как долго мы лицемерно обходили стороной эту проблему! Молодежь и преступность. Дикое словосочетание. Но тем не менее реальное. Собралась вся «20-я комната», мы говорили о социальной реабилитации осужденных, об отношении общества к ним, от юридических актов переходили к Достоевскому, когда вдруг прочли другое письмо. С конкретными и ясными предложениями...

«С уважением к вам — Людмила Ковпак, двадцать шесть лет, замужем, двое детей. Написать хотела давно, несколько месяцев назад, сразу, как посмотрела программу «Взгляд», где выступал московский юрист и сетовал на то, что у нас в Союзе до сих пор не отменили смертную казнь.

У меня растут дети, и мне далеко не безразлично, какими будут их детство, юность, и я не понимаю таких законов, когда один сексуально озабоченный гад насилует четырехлетнюю девочку и ему за это дают пять, десять, или пятнадцать, или... лет. И неизвестно, отсидит ли он их или нет, а то и деньги помогут под амнистию попасть.

Здесь только одно — смерть, и причем публичная, на площади, и приурочить это к празднику 7 НОЯБРЯ. Скажем, периодически, раз в год, проводить чистку нашего общества после парада. Чтобы все видели, что за убийство будет смерть, что за кражу будут бить, возможно, ногами. Или проще: объявить, что соделал тот или иной преступник, и пусть народ сам делает с ним, что хочет.

Я не жестокая, люблю природу, животных. Люблю людей — очень. И именно поэтому я хочу, чтобы люди жили, как люди, с людьми, животные — с животными, в лесу и зоопарках, а всякую нечисть нужно истреблять без жалости. Вот тогда мы построим коммунизм. Вот тогда мы будем идти по городу спокойно, несмотря на то, что уже темнеет...»

г. Ростов-на-Дону.

Я представила себе этот город. Но не увидела в нем людей. А письмо-то реальное... Нам нужны гарантии защищенности от покушений на наши свободы, ценности, на нашу жизнь, только ищем мы их не там. Как будто все преступники прилетают в наш лучший из миров из космоса, и мы ведем беспощадную войну с врагами.

В том, ЧТО совершенно, безусловно, виноват преступник. За это и наказан. В том, что СОВЕРШЕНО,— мы. А если не так, то око за око, зуб за зуб? Так чем же тогда общество нравственнее преступившего закон? И не надо кричать о гуманности. Надо быть Людьми. Надо учиться искусству жить по-человечески.

...Последнее время все больше в почте писем, где молодые люди пытаются осознать те жизненные принципы, по которым они хотят строить свою человеческую жизнь. И это тоже, конечно, показатель. Вот одно из этих писем:

«...Жить по-человечески — большое искусство. Труднейшее умение поступать одновременно целесообразно и нравственно. Для того чтобы жить нравственно, нужно знать природу добра и зла. Чтобы жить целесообразно — ставить перед собой конкретные цели, добиваться их, идти в своем развитии все дальше и выше, где путь только вперед и вверх, к новым знаниям и понятиям.

Степень ответственности, на мой взгляд,— это то, по чему можно определить, кто перед тобой, что за человек и чего он стоит. Низший уровень — это когда не отвечают даже за себя. Первый — только за себя. Второй — ответственность за родных, семью, себя. Третий — за всю страну, с него начинается интеллигентность. Высший — ответственность за все человечество.

Насчет веры в лучшее. Человеку, увы, нужно верить. Тот, у кого есть вера и надежда, не может быть сломен и не может сдаться. И еще одно: только поднявшись

самому, победив и убив в себе плохое, став Человеком, можно встать за справедливость и нести добро другим». г. Тольятти. Олег Надеждин.

Еще в первом обзоре я говорила, что есть у нас замечательные письма — от неравнодушных людей. Они могут затрагивать социальные проблемы, житейские или говорить о каких-то пластах культуры — сквозь все просвечивает неутомимая личность их авторов, которым важна практика — реальное изменение действительности и очень нужны единомышленники. По-моему, Маша Шустова из таких людей:

«Уважаемая редакция! Что же такое происходит? Что же, наша теперешняя молодежь хуже молодежи 50-х, 60-х? Мне 15 лет. Я сравниваю и пришла к выводу: да, хуже! Я расскажу вам о своих наблюдениях, а вы, может быть, вы, ответите мне, что наконец нам, музыкантам, делать?

Мои наблюдения таковы: В класс входит учитель: «Рябятка, есть билеты на «Иоланта». Кто хочет?» В классе стоит гробовая тишина. Потом дикий хохот. «Да что вы, какая «Иоланта» — это же опера, а значит, там поют. А мы что, сами петь не умеем?» Ладно, предположим, люди просто не любят оперу. Предложила я сходить на «Дон Кихота». «А где?» — последовал вопрос, после которого в моей душе проснулась надежда. После же того, как я ответила: «Во Дворце съездов», — полное разочарование: «Да что вы, Дворца съездов не видели, что ли? Вот если бы в Большом...» И, как я их ни убеждала, что артисты те же, результата никакого. Я не унываю, предположая, что люди просто не любят балет... С предложением сходить в Малый на «Горе от ума» происходит то же...

Вы спросите, почему я лезу из кожи, хочу чего-то? Я культмассовый сектор в области музыки. Меня никто не толкал на эту должность, сама изъявила желание, потому как мне самой чрезвычайно интересно. На неудачах с театрами я не успокоилась и предложила вот что.

«Вы музыку любите?» «Любим», — последовал ответ. «Давайте проведем классный час, посвященный какому-нибудь композитору?» — «Давай, только сама выбери композитора — нам все равно...» — «Давайте о Шнитке?» — «Давай».

Собираю материал, достаю записи, пластинки. Все готово. Провела классный час — реакция ноль: «Трудная, непонятная какая-то музыка». Даю Моцарта. Послушали много. Вопрос: «А сколько у Моцарта было жен?» «А еще есть вопросы?» Тишина.

Ничего не добившись в области культурного просвещения нашего класса (а класс-то восьмой!), я ухожу в музыкальное училище. Как они там будут? Театр для них (не для всех, правда, но для большинства) театр как мир, в филармонию ходят одни старики, книги читаются в гомеопатических дозах. Может быть, мне не надо было и начинать этой агитации, может, пусть все так и оставалось бы? И, значит, я так и буду играть на своем альте, а они не смогут отличить Моцарта от Шнитке?

Я не могу поверить, что они ненавидят музыку, не могу! Но я, их ровесница, не смогла их в этом убедить. Наверное, нужно более внушительного вида человека пригласить в школу, и не в 8-й класс, а в первый. Но только чтобы не с «палкой», а просто так. И не надо дома выключать радио, если там звучит «Пиковая дама» или концерт Прокофьева. Вот и все. Может быть, есть люди, которые подобно мне столкнулись с такими трудностями? Мой адрес: Москва, 117218, ул. Красикова, 17 — 55».

Мария Шустова.

Итак, снова встает наш любимый вопрос: что же дальше? Будущие обзоры я хотела бы делать тематическими. Например, поразмышлять над почтой (и телефонными звонками, которые, похоже, становятся отдельной «статьей» нашего общения с вами); пришедшей на девятнадцатое заседание «комнаты», посвященной арбатской проблеме, или подумать над письмами, в которых их авторы пытаются выяснить свое отношение к религии; особая тема — армейская... В общем, все зависит от вас, пишите, ответим. Кстати, «неформальные» ответы членов «20-й комнаты» тоже предмет, достойный обозрения.

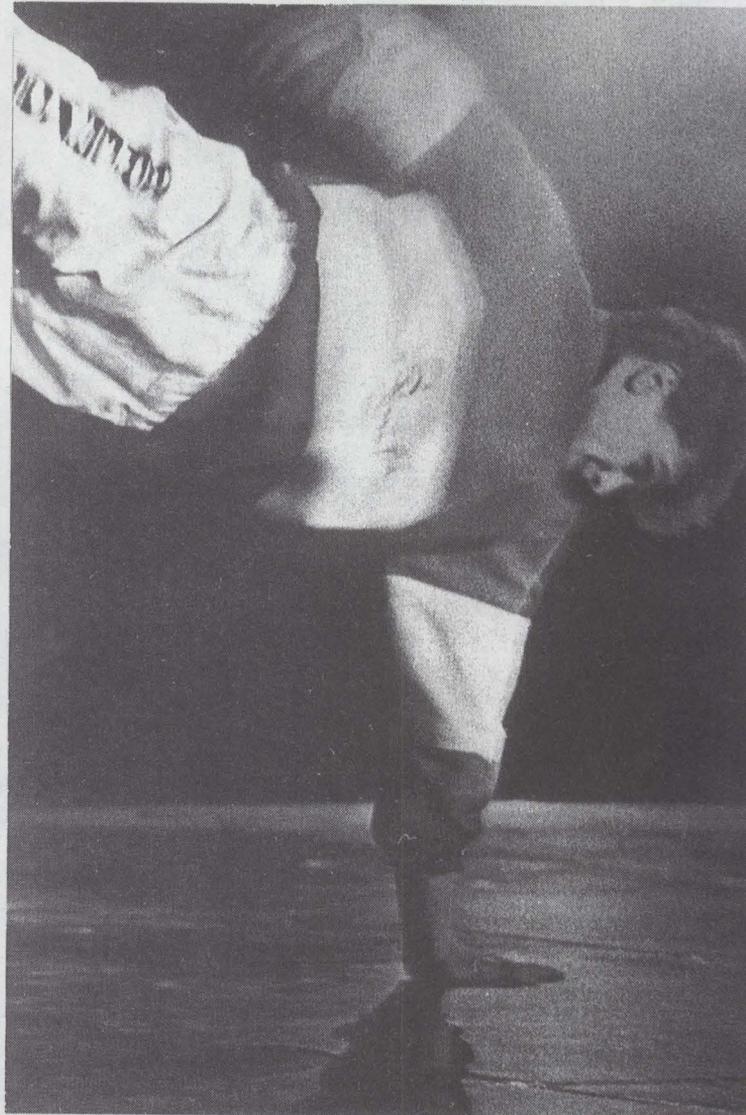
...А та девушка, что звонила, все-таки не написала, правда, в конце разговора она спросила меня, как к нам досхать. Приезжай! Тебя выслушают. Это точно.

Вероника МАРЧЕНКО.



Дискотека
фотопортрет Романа Юшкина
и Ольгетты Шандиной в г. Кеунес

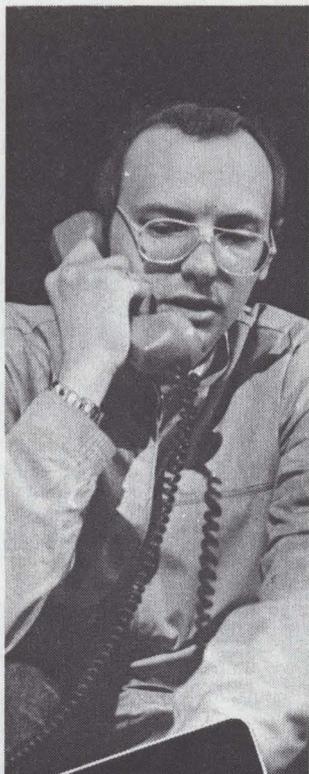




Дискотека
Фотоселюшки Рамса Юшканиса
и Вильгельма Шенкёниуса с Кутнас



КТО
ВО
«ВЗГЛЯДЕ»



Лет десять тому назад Анатолий Лысенко, признанный сценарист и один из руководителей молодежной редакции Центрального телевидения, предложил новую передачу: «У нас на кухне после одиннадцати». Дескать, жизнь так складывается, что если где и говорят откровенно и о житейских проблемах, и о глобальных, то в поздний час на кухне... Лысенко замыслил телепрогулку по лезвию бритвы, но бывшее руководство телевидения разгадало (инстинкт самосохранения сработал мгновенно!) его «коварный» замысел и дало понять: коли дорожишь своим местом, то впредь не высовывайся.

Но настали новые времена, и Лысенко вернулся к своей идее — так в октябре восемьдесят седьмого вышла в эфир программа «Взгляд».

И хотя нынче мы привыкаем вроде бы говорить то, что думаем, не только в кругу семьи и верных друзей, иные, как обнаружилось, напрочь отвыкли самостоятельно думать, по-прежнему не рискуют иметь собственный взгляд. Для таких программа «Взгляд» каждый раз как откровение. Для других — как приглашение посидеть допоздна, обмениваясь мыслями и наблюдениями, в недурной компании, где будет и музыка.

Новые времена — новые имена. Так и во «Взгляде». И хотелось бы знать, согласитесь, где эта популярная — и не только в молодежной среде! — телепрограмма находит таких людей, которым есть что сказать нам?

Первая тройка ведущих — Дмитрий Захаров, Владислав Листьев, Александр Любимов — пришла во «Взгляд» из Иновещания. Ребята имели хороший опыт — знали, что, если начнешь нагло «пудрить мозги» зарубежному слушателю, он просто выключит радио. Привычная история — на экспорт мы выдаем товар совсем иного качества, чем на внутренний рынок...

Дмитрий Захаров не зря проработал семь лет в американской редакции — и на телевидении он смотрится четким, знающим цену своему профессионализму «американцем» (оценка хвалебная, а кавычки лишь потому, что Захаров очень уж русский американец). Такой не будет уравнивать «негатив» «позитивом», не будет финтить. Острота проблемы не страшит его — лишь бы добраться до сути.

Захаров говорит так:

— Мы как бы оцениваем окружающий мир и предлагаем зрителям подумать. Выводов не навязываем — никакого авторского резюме. Каждый имеет право сам сделать вывод.

— Американцы делят телеинформацию на горячую и холодную. Реклама мыла — горячая информация. Человек пойдет и купит мыло. А поединок гладиаторов — холодная информация. Информация «Взгляда» горячая. У нас прямая связь со зрителем.

На снимках:
Дмитрий Захаров, Александр Политковский,
отец Марк (Валерий Смирнов).

Фото
Владимира Дозорцева.

— В такой динамичной программе, как наша, сюжет продолжительностью более семи минут не воспринимается зрителем. Да и семиминутных сюжетов в программе может быть не более трех. Профессионализма недостает и нашему телевидению — вчера мне предлагали опять «гениальный» 15-минутный сюжет и убеждали, что его никак нельзя сократить!..

— Когда мы втроем появились на телеэкране, то многим не понравились. Когда же нас отстранили — было такое, — телезрители всполошились... Мы не переоцениваем себя, нам еще многому предстоит научиться, но мы говорим и будем говорить только то, что думаем, и будем по-прежнему отстаивать свое право стрелять по всем целям.

Александр Политковский. Неистовый репортер. На факультете журналистики МГУ он отличался вроде бы лишь серьезным отношением к изучению испанского языка и к фотосъемке. К телевидению был равнодушен, хотя учился на отделении телевидения. Однако его дипломный фильм «Пейзаж под снегом» (о каратэ как явлении восточной культуры) попался на глаза Иванецкому, и он предложил Саше работать в спортивной редакции ЦТ. Но каратэ вскоре было прикрыто, и Политковского перебрали на туризм. Он быстро исчерпал эту тематическую нишу и, не видя настоящего дела, уже подумывал уйти с телевидения, но тут оживилась молодежная редакция, Сагалаев приметил его (угадал, на что способен этот погруженный в себя парень) и предложил делать «Мир и молодежь». И, наконец, он дождался «Взгляда»... А сегодня очередной дипломник факультета журналистики МГУ делает фильм уже об Александре Политковском.

— Поделитесь взглядом на самого себя, — предлагаю Саше.

— Я из того поколения семидесятых годов, которое называют «потерянным». Меня постоянно преследует ощущение неприкаянности. Я вроде бы домосед, но долго находиться дома не могу. Так и во всем. Постоянно ломаю свой характер — преодолеваю некоммуникабельность. И поэтому часто иду напролом. Работать в последнее время приходится в полный разнос. Остановиться, оглянуться, прочитать то, что хочу, не успеваю. «Доктора Живаго» до сих пор не прочитал. Во «Взгляд» и лично ко мне столько людей обращается со своими проблемами... У нас до сих пор нет приемной, и, когда идешь на работу, тебя уже караулят у входа. Я не могу сказать, что мне некогда, и пройти мимо. Я же выступаю в программе за справедливость, за честность, люди надеются, что я смогу им помочь, а если увидят, что в жизни я не таков, как на телеэкране... Да я и не умею раздваиваться. Могу быть только самим собой. Один из наших сюжетов на Арбате начинался с того, что я стою на голове. Но это не было выпендрежем. Да, так заранее было придумано, но дома, по утрам, я привык стоять на голове.

— Сколько раз за время работы во «Взгляде» вас забирали в милицию?

— Уже дважды. Первый раз — когда я делал материал о черном рынке пластинок. Две недели готовились к этой съемке. Съемка шла скрытой камерой из нашей «Волги», а у меня был радиомикрофон, и я, предлагая пластинки для обмена, смешался с толпой. Чувствую, что материал пошел, но вдруг появился милиционер и сказал, что не первый раз меня здесь видит. Я попытался было объяснить с ним, но лишь разгневал его, и меня захихнули в милицейскую машину. Я поинтересовался, куда меня везут. Услышал, что в 108-е отделение. Радиомикрофон работал отлично, и наша «Волга» уже стояла возле этого отделения, когда меня привезли туда. Режиссер понял, что я хочу остаться в роли спекулянта, и съемка велась уже в открытую. Милиция не поняла, в чем дело, и дежурный говорил, что я у него часто бываю, а забравший меня написал лживый рапорт о том, как я продавал пластинки. Потом меня заставили подписать акт, где указывался номер статьи, которую я нарушил, — меня заверили, что это статья, запрещающая обмен. Я доиграл роль до конца и на административной комиссии был оштрафован на пятерку — не за обмен, конечно. В редакции этот штраф приплюсовали к гонорару. В другой раз мы снимали одноминутный сюжет, как на Патриарших прудах готовились к юбилею Булгакова. А японские телевизионщики снимали, как мы работаем. И милиция «замела» и нас, и японцев — вроде бы за то, что у художников, которых мы снимали, не было разрешения на раскраску стен. Но и японцы, и мы камеры не выключали и сняли «работу» милиции, а затем обменялись пленками.

Возможен ли был такой профессиональный контакт лет пять назад? «Жареных» фактов «Взгляд» не ищет. Но где та милиция, которая сегодня меня бережет?

Священник отец Марк (в миру Валерий Смирнов) появился во «Взгляде» в начале прошедшего лета — вел одну из передач вместе с Владимиром Мукусевым. Но завершилось празднование 1000-летия крещения Руси, а отец Марк остался во «Взгляде». Он постоянно сотрудничает и в «Московских новостях». И отнюдь не претендует на то, чтобы на телеэкране или в газете представлять мнение церкви, которую, надо думать, тоже не миновал застой. Его взгляд — это частный взгляд христианина на нравственные проблемы нашего общества. Как ухитрились мы долгие годы игнорировать этот взгляд?

Чтобы выбор «Взгляда» был окончательно понятен читателям «Юности», приведу ряд оценок и суждений отца Марка:

— Мы должны создать гарантии, чтобы невинный человек никогда не оказался за решеткой, а человек, высказывающий неординарные мысли, — в психбольнице. Но правовые гарантии недостаточно — представители общественности должны контролировать то, что происходит в тюрьмах, психбольницах, да и в обычных больницах, в домах престарелых. Своевременно узнавать, например, что тот или иной недостойный человек отступает от клятвы Гиппократата...

— Мы не вправе забывать, что даже самый страшный злодей остается все-таки человеком. Песню о Кудеяре помните? Разбойник стал старцем Питиримом. Любый злодей может раскаяться. И даже вчерашнего палача мы не должны растаптывать как отвратительное насекомое, а то сами лишимся человеческого достоинства. Надо учиться быть милосерднее. За безоглядное прощение я не ратую. Но выбрасывать трупы из могилы, как это происходит в фильме «Покаяние», — акт язычества. И даже такие палачи, как Вышинский, пусть лежат там, где их погребли. Пусть подобные могилы станут памятником нашей печальной истории.

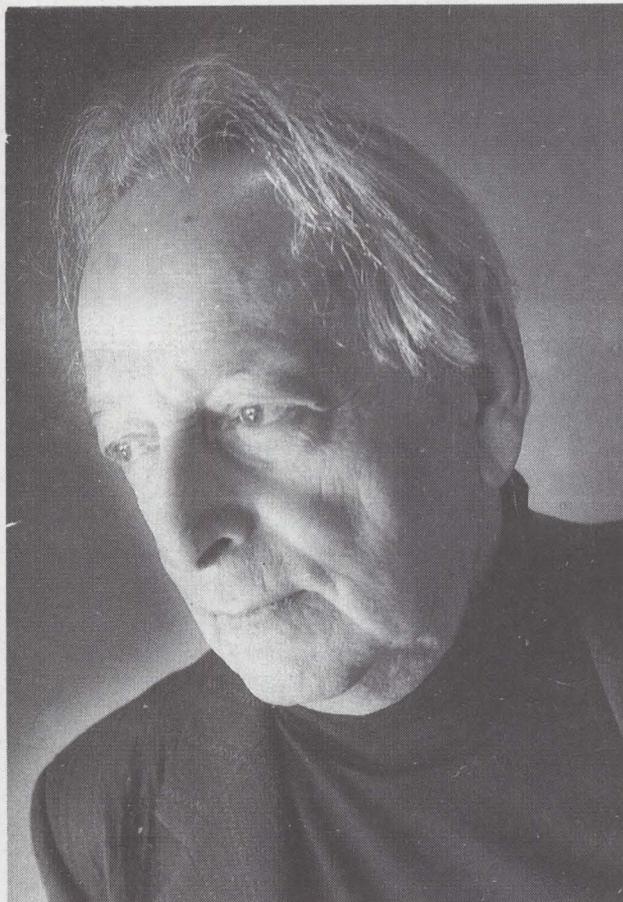
— Сталин в годы войны вроде бы восстановил церковь, но превратил ее в придаток государственной бюрократической машины. Так она оказалась встроена в политическую систему, а не отделена от нее, как гласилось в ленинском декрете. Я симпатизирую Хрущеву, хотя, наивно веря в скорое построение светлого будущего и не видя для церкви места в будущем, он закрыл много церквей. Тем не менее я отдаю дань уважения Хрущеву, который так много сделал на благо невинно пострадавших при Сталине. А разве не символично, что душеприказчиком Хрущева оказался Эрнст Неизвестный, искусство которого он так неразумно попирает, когда был у власти. Я думаю, у Хрущева было покаяние. Мне хочется верить в это.

— Выступления по телевидению для меня ответственней, чем ординарная проповедь в храме. Здесь — обратная связь. Я говорю, а мне отвечают — звонят, присылают письма. Одни со мной соглашаются, другие не одобряют меня. Недавно в «Московские новости» некий священник прислал письмо, в котором утверждает, что я или слишком наивен, так горячо веря в благотворные изменения нашей общественной жизни, или просто занимаюсь конъюнктурой. А иные ждут, чтобы я с телеэкрана призывал к покаянию в религиозном смысле этого слова, не сознавая, что наш телеэкран не предполагает религиозной пропаганды. Я думаю, что телевидение еще больше выиграет, если никогда не будет задевать чувств верующих.

— Участие в передаче, которую сопровождает музыка, меня не смущает. Я знаком даже с религиозной рок-музыкой. Другое дело, что надо воспитывать вкусы зрителей — предлагать им и классику. А в нашей рок-музыке меня подкупает искренность духовного поиска Бориса Гребенщикова. Готов расписаться в своем несправедном интересе к его творчеству. Весной я был на его концерте и познакомился с ним.

— «Взгляд» для меня — трибуна для разговора о насущных проблемах жизни, которые так долго были вне поля нашего зрения.

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ



Лев
РАЗГОН

НЕПРИДУМАННОЕ

— Тюрема — нет, есть — тюремщики!..

Антонио (в моей памяти осталось только имя, может быть, я и не знал его фамилии) сказал это с обычной своей категоричностью. И все население двадцать девятой камеры отнеслось к его словам с полным вниманием. Антонио такое внимание заслуживал. Есть знаменитый рассказ о человеке, который коллекционировал эхо. Антонио, очевидно, коллекционировал тюрьмы и порядочно преуспел в этом занятии. Он сидел чуть ли не во всех тюрьмах мира. Антонио был итальянцем и анархистом. Из Италии он бежал в 1924 году. И с тех пор странствовал по свету, занимаясь своим загадочным анархистским делом. Естественно, что везде его сажали в тюрьму.

К нам Антонио попал не совсем обычным путем. Когда в Испании началась гражданская война, он незамедлительно поехал в классическую страну анархизма, где его единомышленники были хозяевами Каталонии. Так как анархизм у Антонио был лишь дополнительной профессией к штурманскому делу, то он нанялся на испанский корабль, перевозивший оружие из СССР в Испанию. Во время одного из рейсов, когда корабль прибыл в Мурманск, Антонио пригласили для консультации в какое-то неизвестное ему учреждение. Через полчаса он уже понял, что его «коллекция» значительно обогатится... В нашей бутырской камере он был энергичен, жизнерадостен и разговорчив. Раз в месяц нам давали небольшой кусок бумаги, чтобы арестант мог отвести душу и написать куда-нибудь жалобу; Антонио аккуратно раздвигал листок на две части и писал письма. Одно он адресовал «Его превосходительству Генеральному прокурору СССР господину Вышинскому». Второе — «Послу Испанской республики в Москве товарищу Марселю Паскуа». После этого он успокаивался и снова начинал свои бесконечные рассказы.

Так как Антонио был от природы полиглотом и по нашим тюрьмам таскался уже больше года, то его странно звучащую русскую речь можно было понимать. Итак, он испробовал тюрьмы и Старого, и Нового Света. Самые худшие тюрьмы, как утверждал Антонио, в Китае. Там он сидел в обычной яме, накрытой решеткой. Время от времени в яму бросали что-то съестное и опускали ведро с водой. Самые лучшие тюрьмы — в Бразилии. Они размещаются в бывших монастырях. Арестанты живут в неплохих кельях, которые открыты днем и ночью. Каждый волен делать, что он хочет: рисовать, читать, спорить, разводить цветы в обширном монастырском дворе или же заниматься любовью с добрыми сеньоритами, которые совершали богоугодное дело, ежедневно принося в тюрьму богатую снедь для бедных арестантов. Тюремщиков это совершенно не интересовало. Их делом было следить, чтобы никто из заключенных не вышел за пределы монастырских стен. Ибо наказание лишением свободы и состояло в том, что свобода была ограничена периметром монастырского двора.

Так вот, Антонио, этот крупнейший специалист по тюрьмам, говорил, что для арестанта больше значит не тюрьма, а тюремщик. Лучше очень плохая тюрьма с хорошим тюремщиком, чем очень хорошая тюрьма с плохим тюремщиком. Опыт у нас был ничтожным, мы слушали Антонио с интересом, хотя довольно рассеянно. Но к словам итальянского анархиста я часто мысленно возвращался во время моих тюремных скитаний. Думаю, что Антонио был прав. И в частно-

стях, и в главном. Ипполит Тэн в своей «Истории Франции» писал, что Наполеон превратил Францию в огромную казарму, которая полностью отражала характер ее создателя. Но ничто в государстве так не отражает характер его создателя, как тюрьма. Она наиболее совершенное выражение духа и плоти того, кто стоит во главе авторитарного государства. Ибо он и есть главный тюремщик.

Тюремщик — это не только тот реальный человек, который со связкой ключей ходит по тюремному коридору, открывает камеры, два раза в день считает арестантов, водит их на оправку и прогулку, сажает в карцер, выпускает временно — на допросы — или навсегда: на волю, на этап, на расстрел. Кроме этих, лица которых становятся знакомыми, которых мы, не зная фамилий, награждаем кличками, кроме них, есть еще уйма других тюремщиков. Они и не бывают никогда в тюрьме. Они сидят в нормальных кабинетах с клеенчатыми диванами, дорожками на полу и портретами на стенах. Они занимаются только тем, что читают и пишут бумаги, разговаривают по телефону, ходят к начальникам и дают им подписывать свои сочинения. В течение рабочего дня они несколько раз звонят по телефону своим женам, любовницам, родителям, детям и спрашиваются у них о здоровье, настроении, домашних разностях. Потом, если нет собраний, они едут домой и в кругу близких предаются приятностям или неприятностям семейной жизни. Как все.

Но именно эти люди и сочиняют правила жизни тюремной. Они определяют время и порядок прогулки, количество и качество пищи; они обсуждают и решают, какими должны быть кровати в камерах — с матрацем или нет, сколько писем может получать арестант, разрешить ли делать ему передачу и какую... Словом, это они сочиняют весь комплекс того, что называется тюрьмой. Каждый карцер, прежде чем стать темным и вонючим ящиком или же светлым адом, существует в описаниях, чертежах. Под чертежами есть подписи авторов, а в углу и по сторонам под словами «согласовано», «утверждаю» стоят подписи их начальников. И если нужно повесить человека, то эти люди делают чертеж виселицы, как положено, в разных проекциях; и если нужно расстрелять, то они же объяснят, куда стрелять, как и чем смывать кровь; и они же составляют детальное техническое описание тюремных и лагерных кладбищ; они указывают, чем надо вырывать у покойника золотые зубы, чтобы добро не пропадало; какого срока белье должно быть на покойнике; чем писать номер на деревянной бирке, привязываемой к ноге покойника, и к какой ноге; чем разбивать череп покойника перед захоронением, дабы быть убежденным, что никто не попытается использовать смерть и похороны для бегства...

Все это решают неизвестные нам люди. Именно потому, что они нам неизвестны, они страшны своей загадочностью. Мне всегда хотелось знать: какие они, как выглядят? Они ведь самые разные. Кроме неудавшихся архитекторов, которые, соблазнившись пайками и высокой зарплатой, согласились делать чертежи тюрем, есть и другие: прокуроры, судьи, еще кто-то там... Как, например, выглядит тот прокурор, который ответил тете Паше?

Тетя Паша, пожилая добрая женщина, мыла полы в лагерьной конторе. Она отнеслась ко всем конторским с жалостью из-за их беспомощности: обшивала, ставила заплатки на штаны и телогрейки «придурков», не достигших пока тех высот, когда носят одежду только первого срока. История жизни тети Паши была несложной. Сама она из Златоуста, муж погиб

во время аварии на домне, осталось двое сыновей-подростков. Жили соответственно. Какие-то люди научили тетю Пашу поехать в Челябинск, купить там чулки и продать их — естественно, с надлежащей наценкой — в Златоусте, где этих чулок не было. Дальше все рассказывалось в обвинительном заключении и приговоре суда. Она «с целью спекуляции приобрела в Челябинске 72 пары нитяных чулок, какие-то пыталась перепродать на рынке г. Златоуста по спекулятивным ценам». Тетя Паша была избалована, арестована, судима и приговорена за спекуляцию к семи годам заключения с конфискацией принадлежащего ей имущества. Детей разобрали знакомые, да они уже могли скоро поступить на все готовое в ремесленное училище. Прошло пять лет, началась война, дети тети Паши достигли возраста, когда можно защищать свою Родину, и ушли воевать.

Сначала тетя Паша получила похоронную на младшего; ночью, оставаясь в конторе мыть полы, она выла и билась головой о столы. Потом она пришла ко мне в контору с окаменевшим лицом и протянула толстый пакет, который ей дали в УРЧ — учетно-распределительной части. В пакете было несколько медицинских справок, постановлений комиссий, история болезни. И ко всему этому приложено письмо тете Паше от начальника госпиталя. Речь шла о ее старшем сыне. Он лежал в госпитале после тяжелого ранения, врачи сделали все, что в их силах, он был — как формулировалось в заключении — «практически здоров», не считая отсутствия ноги и обеих рук. Выписать его могли лишь при условии, что есть у него близкие, которые будут за ним ухаживать. Очевидно, сын сказал, где находится мать. Потому что начальник госпиталя советовал матери раненого солдата написать заявление в Прокуратуру СССР, приложить посланные ей документы, после чего ее освободят и она сможет приехать за сыном.

— Мануилыч, напиши, родной... — сказала, плача, тетя Паша.

Я написал. Убедительно написал. Подшил к письму все присланные документы и передал в УРЧ. Прошло два или три месяца, и каждый день я успокаивал тетю Пашу, уверяя, что таких заявлений много и требуется время, чтобы оформить ее освобождение, я расписывал по дням всю длинную процедуру хождения ее дела по инстанциям. Тетя Паша плакала, верила и ежедневно писала сыну письма.

Однажды я зашел в УРЧ. На столе лежала груда бумаг, отсортированных для вручения или объявления арестантам. Мне бросилась в глаза фамилия тети Паши. Я взял и прочитал небольшой документ с грифом Прокуратуры СССР. Прокурор какого-то ранга или класса извещал тетю Пашу, что заявление ее рассмотрено и в просьбе о досрочном освобождении отказано «за отсутствием основания». Я осторожно положил листок на стол и вышел на крыльцо, умирая от страха, что могу сейчас увидеть тетю Пашу... Везде — в бараке, в конторе, — везде были люди, которых я не хотел видеть. Я побежал в сортир и там задрожал, схватившись за вонючие стены. Так со мной было всего два раза за тюремную жизнь. Почему я плакал? Потом я понял, почему: от стыда, от дикого, невыносимого стыда перед тетей Пашей.

За 72 пары нитяных чулок тетя Паша уже отбыла пять лет лагеря, она отдала своему государству двух сыновей, и вот — «нет оснований»...

А во Франции во время первой мировой войны освобождался от любого срока заключения — даже от пожизненного — арестант, у которого сын погиб на фронте...

Я дал себе слово, что если мне суждено будет освободиться, то я приеду в Москву и разыщу этого прокурора, чтобы посмотреть ему в глаза. Многого

я не сделал в своей жизни и этого тоже. Я даже забыл его фамилию. Не то Дмитрошук, не то Дмитриев, не то Дмитриевский...

Но как бы ни была значительна для нас роль этих далеких тюремщиков, мы общались прежде всего с тюремщиками реальными. Так было в Бутырках, в Котласской пересылке. Мы уже различали более мерзких и менее, просто служак и энтузиастов своего тюремного ремесла. От них зависела степень удобств нашей неприглядной жизни. Но никому из нас не приходило в голову, что от них зависит и сама наша жизнь. Это я понял только во время своего первого пешего этапа.

Из Котласа нас в барже привезли в Вогвоздино, пересыльный пункт на Вычегде. Это памятное для меня место. Там я познакомился и подружился с Александром Сергеевичем Лизаревичем. Там, в Вогвоздине, умерла Оксана — моя жена.

Из Вогвоздина мы шли пешим этапом по недавно построенному тракту Устьвым — Чибья. Прорубленный в тайге, он был проложен по болотам, уже разбит колесами грузовиков, песок и щебенка колыхались под нашими ногами, мы шли по непросыхающим лужам. В день мы делали двадцать пять километров, к вечеру приходили в этапный станок — отгороженное забором с вышками место для ночлега арестантов. Погода в этом августе была теплая, даже жаркая, идти по зыбучему песку было трудно. И еще — нам попался жестокий конвой. Каждое утро мы выстраивались, и начальник конвоя, невысокий рябой парень, строго оглядывая этапную колонну, медленно, раздельно читал нам конвойную молитву: «По пути движения соблюдать установленный порядок: не разговаривать, выполнять все требования конвоя. Шаг вправо, влево, нарушение правил считается попыткой к побегу, оружие применяется без предупреждения. Понятно?!» Строю арестантов надлежало хором отвечать: «Понятно!» Если начальнику конвоя казалось, что мы отвечаем недостаточно громко и дружно, он снова грозно спрашивал: «Понятно?!» И так до тех пор, пока не получал желаемого результата.

И весь конвой был под стать своему начальнику: малорослый, рябой и ретивый к службе. На второй или третий день пути я заговорился с шедшим рядом Александром Сергеевичем, рассказывая ему историю словаря, редактором которого я однажды был, заговорится настолько, что забыл об осторожности. Вдруг мы услышали крик:

— Колонна, стой!

Мы остановились, не понимая, в чем дело. Напротив меня, у обочины дороги, стоял конвой и, держа винтовку на весу, кричал:

— Ложись! Ложись, троцкист, ... твою мать!

Не сразу я понял, что крик обращен ко мне. Я оглянулся и увидел, что стою в глубокой грязной луже. И туда мне предлагал лечь этот молодой рябой идиот, эта скотина, эта вооруженная гадина!.. А я не лягу! И стреляй, сволочь, ... с тобой!!!

— Ложись! Конвою сопротивляешься ...!

Конвой щелкнул затвором и послал патрон в ствол. Глаза его горели яростно, весело и торжествующе, он весь был какой-то праздничный.

— Ложись! Ложись же, ложись!.. — несся ко мне шепот моих товарищей.

И я понял, что он сейчас меня застрелит, все окончится, я так и не узнаю ничего о своих, не доскажу историю Александру Сергеевичу...

Медленно сгибая колени, я опустился в лужу, приложил щеку к какому-то бугорку в ней и закрыл глаза. Господи! Вот бы лежать и дальше и не вставать...

— Вставай!

Я поднялся и посмотрел на конвоира. Лицо его было вдохновенно. Вероятно, ему было приятно, что он может убить, что стоит нажать курок — и сразу же исчезнет целый человек со всем миром мыслей и связей, от этого конвоира не зависящих.

И я тогда понял, что в одном они, тюремщики, сильны: они могут нас убить. Александр Сергеевич (Асы — я так его всегда звал) мне приволил слова Сенеки: «Избежать этого нельзя. Но можно все это презирать». Асы научил меня чувству свободы от унижения, он научил меня это все презирать. Во власти тюремщиков осталось одно: они могли убить, ну, и еще увеличить или уменьшить меру моих физических страданий.

Поскольку тюремщики все же происходят из людей, каждый из них обладает уникальностью и своеобразием, свойственным всякому человеку. Тюремщики, о которых я буду дальше говорить, вовсе не похожи друг на друга. Я просто хочу здесь рассказать о некоторых тюремщиках разного уровня, с которыми мне пришлось иметь дело. Это были люди самых различных званий, рангов и возможностей. Среди них были умные и глупые, добрые и злые, чиновники и энтузиасты. Миллионы людей от них зависели. Я расскажу о своих тюремщиках. Пусть другие расскажут о своих. Я думаю, что это надо знать всем тем, кто не испытал того, что испытали мы, и не знают того, что знаем мы.

Иван Ефимович Залива

Прошла неделя нашего этапа. Позади остался тракт до Княжпогоста, недостроенная железная дорога от Княжпогоста до Весляны, большие деревянные ворота над лежневой дорогой — что-то вроде триумфальной арки с красивой надписью «УСТЬ-ВЫМЛАГ НКВД СССР». Остался пересыльный пункт нашего лагеря и Одиннадцатый лагпункт, и командировка «Зимка», и Мехбаза. Мы теперь шли по широкой песчаной дороге, перебираясь с горы на гору. По сторонам стоял сосновый бор необыкновенной красоты. Бронзовые стволы уходили в небо. Земля между деревьями была покрыта серебристым ковром — ровным, бархатистым. Это был ягель. За неделю этапа мы устали, устал конвой, конвоиры не давали нам положенных десяти минут отдыха через каждые два часа пути, больше обычного матерились, подгоняя отстающих: они торопились скорее сдать нас другим хозяевам.

Наконец за крутым поворотом блеснула река. Быстрая на перекатах, спокойная в заводях. Весляна — какое красивое название! Древнеславянское, что ли? На другой стороне реки стоял уже привычный нашим глазам архитектурный комплекс: высокая, из бревен, вкопанных стоймя, «зона» — забор; за ним приземистые бараки; несколько поодаль — невзрачные дома начальников и вольнонаемных; длинное здание конюшни, дымящаяся труба пекарни...

Наша колонна медленно проползла через наплавной мост и подошла к вахте. У ворот зоны стоял разный народ: востренькие молодые люди в телогрейках первого срока, с отчищенными фанерками и карандашами в руках — нарядчики; другие личности арестантского вида в белых халатах — очевидно, врачи; надзиратели и воровцы, одетые отнюдь не для парада. И впереди всех высокий человек в хорошо сшитой шинели, синей энкавэдэвской фуражке, начищенных до невероятно-го блеска сапогах. Он весь переплетен ремнями портупей, рука твердо лежит на деревянной кобуре маузера, глаза смотрят снисходительно, но со строго-

стью. Это был начальник 1-го Отдельного Лагерного пункта Устьвымлага НКВД СССР старший лейтенант госбезопасности Иван Ефимович Залива.

О нем я хочу рассказать не только потому, что это был мой первый лагерный тюремщик, но и еще потому, что он был любопытным явлением. Такого я впервые встретил и мог наблюдать за ним несколько лет. Самая личность Заливы способствовала многим и очень для нас важным переменам, происходившим в лагере. Залива был человеком дикого невежества и редкой глупости. В этом смысле он резко выделялся даже на фоне всего лагерного начальства, не страдавшего излишними знаниями и умом. Он не был вором — как большинство других начальников; не был самодуром — строго придерживался инструкций; не был садистом — с грустным сожалением провожал глазами сани, на которых в сорокаградусный мороз увозили связанных, совершенно голых отказчиков на штрафную командировку. Скорее в нем присутствовало некое украинское добродушие — улыбочка, умеряемая необходимой для его должности строгостью.

Залива всегда стремился делать то, что от него хотело его начальство. Оно хотело, чтобы он принимал как можно больше «з/к з/к» — и он принимал этап за этапом, не отговариваясь, как некоторые, отсутствием барakov, палаток, одежды, инструмента, продовольствия... Во всей своей деятельности он руководствовался прежде всего интересами государства. В списке продуктов, выписываемых с продбазы, рис, манку и пшено заменял ячневой сечкой, солонину — треской; справлялся о стоимости медикаментов и требовал, чтобы лекарства были дешевые. Охотно брал с базы бушлаты и валенки второго, а то и третьего сроков, вместо дорогих новых. Очень берег самый ценный инвентарь лагеря — лошадей. Ранним утром приходил на конюшню и следил, как отвешивают дефицитный овес. Пока Залива торчал на конюшне, арестантам не удавалось отнимать у лошадей причитающуюся пайку, животные хрупали овес на виду у строгого и неподкупного начальника. В месячных сводках по лагерю наименьший отход лошадей был на Первом лагпункте. Заливу всегда за это хвалили.

За «контингент з/к з/к» с него сначала никто не спрашивал. Первый год нашей лагерной жизни — 1938/39, когда этапы шли один за другим, Заливу ставили в пример: он всегда находил место для новых «контингентов». Места эти у Заливы быстро освобождались. Наш московский этап, прибывший на Первый в конце августа 1938 года, насчитывал 517 человек. Весною 1939 года из москвичей осталось 27. Ну, человек 20—30, наверное, были этапированы на другие лагпункты для работы по специальности. Остальные все умерли. В первую же зиму. Кроме московского этапа, вымирали смоленские, ставропольские, мгилевские.

В ноябре 1938 года к нам пригнали 270 китайцев с Дальнего Востока. Это были жители Маньчжурии — в огромных волчьих шапках, длинных шубах, каких-то особых ватных сапогах. Оказывается, они, испокон веков живя на границе, которая не имела видимого обозначения, летом переходили в Россию и работали до зимы на огородах. В 1937 и 1938 годах их всех посадили, дали по восемь лет за «незаконный переход границы» и послали в лагерь. Залива на них не мог нарадоваться. Он поставил их на ручную трелевку. Трелевать — это значит доставлять бревна к дорогам вывозки. Треляют обычно на лошадях. Но лошадей мало, они дороги, для лошадей необходимо на лесосеке делать трелевочные волокна. Гораздо проще было трелевать людьми. Человек 6—8—10, в зависимости от кубатуры бревна, берут его на плечо и несут. Я был на ручной трелевке и знаю, что это такое.

Глаза вылезают из орбит, все мысли вылетают из головы, идешь, думая только об одном: скорее, как можно скорее свалить это страшное, давящее, убивающее... Больше недели такой нагрузки никто из нас не выдерживал. А китайцы день за днем ровно, тихо и спокойно работали. Каждый из них в правой руке держал палку, которой прощупывал дорогу, десять человек осторожно, размеренно несли бревно, в котором было почти две тонны, очень хорошо несли.

Они были добрыми, честными и работающими людьми — эти китайцы. И даже в лагере соблюдали относительную чистоту. Месяц или полтора Асы и я жили в китайском бараке, что оказалось большим счастьем: в этом бараке не воровали, не грабили, всегда было подметено. Китайцы приходили с работы в полной темноте, съедали баланду, а потом чинили свою разорванную меховую одежду (Залива и на этом сэкономил, можно было им не выдавать лагерной.) Они сидели на корточках на нарах, во рту держали горящую лучину (тогда другого освещения не было) и ловко, быстро зашивали свои тулупы. 269 китайцев умерли к февралю 1939 года. Остался только один, который работал поваром на кухне.

Каждое утро Залива вызывал нарядчика и плановика, тщательно и строго расспрашивал о результатах развода. Сколько прошло по «группе А» — работающей; сколько по «группе Б» — обслуги и сколько по «группе В» — освобожденных по болезни. Он внимательно следил, чтобы все эти группы укладывались в присланные Управлением лагеря контрольные цифры. И уж потом интересовался «литером В» за ночь. «Литер В» — это умершие. На них Управление контрольных цифр не спускало, а следовательно, и отчета не требовало. В мою первую зиму каждые сутки по «литеру В» на нашем лагпункте проходило 25—30 человек. Никаких особых болезней и не было. Просто Залива строго соблюдал все правила. Прибывал этап; первые три дня люди, согласно инструкции, работали на гарантийном питании — пока не втянутся в работу. Затем их переводили на питание по выработке. Нормы эти были с трудом выполнимы даже для привычных квалифицированных лесорубов, имеющих хороший инструмент. И совершенно невыполнимы для людей, непривычных к тяжелому труду, ослабленным тюрьмой и этапом, раздетых и разутых. Через три дня все прибывшие заключенные перевелись на штрафной паек — четыреста граммов сырого черного хлеба, две миски затирухи в день. Через неделю-две люди начинали странно пухнуть, неудержимый понос за два-три дня доводил их до конца.

Простоватый и добродушный Залива на моих глазах только за одну зиму убил около полутора тысяч человек. А может, и больше. И удивительно: к нему заключенные относились как-то незлобно, с усмешкой. Дело в том, что для нас качество тюремщика в большой мере измерялось еще и возможностью его обмануть, провести. А глупость, невежество и трусость Заливы давали арестантам немалые возможности. Залива ходил на конюшню и мешал воровать овес лишь до тех пор, пока ветврач уважительно и скорбно ему не сказал:

— Смотри я на вас — храбрый вы человек, гражданин начальник!

— Это конечно, — снисходительно согласился Залива. — А почему? — вдруг спросил он, побледнев от страха.

— Так ведь лошади-то у нас чем больны? Инфекционной анемией. Ин-фек-ци-онной...

— Троцкист проклятый! — взревел Залива. — Ты чего ж не сказал сразу, что здесь зараза?!

Больше ноги его никогда на конюшне не было.

Выполняя старую, никем не отмененную инструкцию о содержании заключенных в лагере, Залива не

допускал, чтобы 58-я статья использовалась в службе. Потому на должности нарядчиков и комедантов, каптеров, завстоловой, пекарей, санитаров, дневальных назначались «социально близкие» — как именовались в инструкции воры, бандиты, насильники и прочие уголовники. Естественно, что даже сокращенный в интересах государства паек и вполноу не доходил до работяг. Дикое воровство и произвол были нормой внутриарестантской жизни на лагункте.

Но при Заливе начал происходить необратимый процесс завоевания лагеря 58-й статьей. Залива процветал лишь первую зиму, пока от него никто не требовал выполнения плана в кубометрах древесины. Но через год, когда прошел угар избыточного количества зеков, из Москвы строго сказали, что лагеря не только должны содержать в положенной строгости арестантов, но и давать «отдачу» — так странно и малопривычно в официальных документах назывался экономический результат работы миллионов заключенных.

И тогда у Заливы стала размываться прежде такая четкая, такая ясная и хорошая граница между тем, что «можно» и чего «нельзя». Для сохранения благосклонности начальства ему понадобились умные плановики и бухгалтеры, опытные инженеры, способные организаторы, честные кладовщики... Он их мог брать только в пятьдесят восьмой. И выяснилось, что инстинкт самосохранения у Заливы настолько развит и силен, что он способен заменить ум, образование, опыт. Залива решительно посылал на общие работы столь милых ему «социально близких», он ставил на все командные посты тех, на кого ему указывали начальники плановой части, главный бухгалтер, врач. Прораб, плановик пользовались тупостью Заливы без всякого снисхождения. Из выработки, и без того скромной, они зачисляли чуть ли не половину, и после дневной сводки бледный от страха Залива уже не вызывал плановика, а сам прибежал в плановую часть и, заикаясь, почти униженно, просил «подкинуть» ему несколько десятков или сотню кубометров... К вечеру грозный и уверенный в себе начальник делался жалким и потливым от дикого страха: каждую ночь сейчас шла селекторная переключка.

В кабинете Заливы собирались главные начальники лагункта. Заливу, сидевшего за роскошным письменным столом, изготовленным личным краснодеревщиком, окружали разных званий вертухаи: начальник охраны, «опер», начальник санчасти, начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). А поодаль сидели начальники из зеков: плановик, бухгалтер, нормировщик, контрольный десятник, прорабы. И на них-то, на них с выражением страха, скорби и надежды смотрел Иван Залива. Как же он проклинал, наверное, эту технику, этого арестанта-радиста, который так ловко и быстро все устроил и скромно сидел тут же, чтобы, если понадобится, устранить повреждение в трансляционной сети.

Все разговаривают вполголоса, как будто их могут услышать еще более, чем они, могущественные чины, которые сейчас так же сидят там, в Вожаеле, в кабинете грозного начальника Управления лагеря. Залива не сводит скорбно-собачьих глаз с небольшого квадратного ящика, стоящего на столе. Наконец ящик начинает трещать, хрипеть, откашливаться. Из него вылезает спокойный, уверенно-наглый голос начальника Управления. Бедный Залива командует на Первом лагункте, поэтому с него начинают, ему достается основная часть начальственного гнева и усердия.

— Залива! Давайте сводку выработки.

Дрожащий голос Заливы прерывается рыком:

— Сколько-сколько? Вы чего там, бездельники и дармоеды, делаете? Где государственный план?

Я вам послал контингент, я вам подкинул лошадей, где отдача? Я вас, дурака, заставляю эти кубы на своем ... принести!

Когда Залива пробует в этот поток ругани вставить робкое слово оправдания или обещания, его останавливают так, что даже привычные вертухаи начинают упорно смотреть в пол. Наконец эта попытка временно приходит к концу.

— Если завтра не повысите выработку на сто пятьдесят кубов, вы у меня все с голыми задницами в лес побежите кубы давать! Что с вами еще делать, раз не можете зеков заставить работать!

Потом идет разговор с другими лагунктами — более счастливыми, а часто и менее... Время от времени начальник вспоминает про Заливу.

— Залива, вы здесь? Слышите, как работают на Четырнадцатом? У них и людей и лошадей меньше! Зато там умеют заставить работать! Там знают, что такое государственный план! А на Первом, наверное, санаторий устроили, пользуются тем, что начальник дурак!

Залива считал, что уж заставлять работать он умеет! Но вот кубы, где брать эти проклятые кубы?! Их можно было взять, только обращаясь к «троцкистам». И Залива вымалывал у плановика сотенку кубов «на собственные нужды»; он соглашался на то, чтобы в кабинке прораба жила любовница; он вообще был согласен на все ради сохранения своей нелегкой, а все-таки начальственной жизни. Кроме страшных ночей переключки, существовал ведь и день. Когда можно было сидеть в кабинете, карать, а если надо, то и миловать; когда можно было на превосходных легких саночках, в которые впрягали чистокровного рысака из «анемийных», объезжать «объекты»; когда можно было, прожив день, подсчитать, сколько он ему, Заливе, лично дал прибыли и убытка. Дело в том, что Залива отличался еще и феноменальной скупостью. Воровать он боялся, потому что его трусость была почти равна скупости. И все-таки на себя и жену старался тратить поменьше. Обед — как пробу — ему приносили из арестантской кухни. Для него обед этот всегда готовился сытный и вкусный, и недоенное Залива брал с собой, жене. Даже хлеб ему приносили из пекарни «для пробы». Когда приходилось выкупать паек — не пропадать же ему! — жена записывала количество и цену каждого продукта. Залива с этой бумажкой приходил в бухгалтерию и проверял, не обчитала ли она его. Иногда он и сам перевешивал продукты. Все в его доме было заперто, ключи Залива носил с собой. Утром он выдавал жене харчи, необходимые для прокормления...

По мере того, как люди в лагере становились относительно дороже, а требования «отдачи» все больше увеличивались, Залива все время понижался в должности. Он стал заместителем начальника, потом был переведен на маленький лагункт, где делали лыжи, потом еще куда-то. К концу войны я застал его начальником небольшой командировки. После войны он уволился, распродал все свои вещи. Заключенным он продал некоторые сношенные шинели и даже своего большого рыжего кота. Долго и страстно торговался с ними, перечисляя все превосходные качества животного.

Он уехал на Украину, увозя замученную жену, огромные сундуки, неизвестно чем набитые, и добрый шматок денег, заработанных годами служебного усердия и привязанности к родному государству. Друзей он на Первом не оставил, но зла к людям не держал и через несколько месяцев прислал начальнику охраны довольно, горделивое письмо: его все же оценили — на родной теплой Полтавщине назначили начальником райотдела КГБ.

Корабельников

В Котласе на пересылке я его ни разу не видел. Не видел я его, и когда нас вели на пристань. Я на него обратил внимание лишь к концу первого дня жизни в барже. Буксирный пароходик не спеша тащил по Северной Двине, а потом по Вычегде две баржи с арестантами. В трюме нас было набито человек четыреста или пятьсот. Негде присесть, спать ложились по очереди. Нар в трюме не было, мы просто сидели и лежали на грязном и сыром полу. Дождь бил в потолок и борта, речная волна плескалась где-то выше головы. Кормили нас почему-то только селедкой. Правда, какой! Настоящей дальневосточной «иваси», небольшой, жирной и вкусной до изнеможения. Мы ее ели с кожей, чешуей, потрохами, головой, хвостом, костями. Вот только пить после нее хотелось, а сырую, забортную воду давали лишь два раза в день по одной кружке.

К люку, ведшему на палубу, днем и ночью стояла длинная очередь. Переминаясь с ноги на ногу, кроя конвой в гроб и душу, люди нетерпеливо стучали в люк. Многие не выдерживали, мочились и испражнялись тут же в углу. Наверху, на мокрой палубе, в усмерть пьяные конвоиры плясали и истошно кричали песни. Время от времени они открывали люк и провожали пинками очередной десяток арестантов, спешивших пробраться к маленькому дощатому сортиру на корме. Наиболее строптивых конвоиры раздвигали догола и усаживали на деревянную чалку. Сидя под дождем, наказанный зек становился свидетелем всех причуд конвойного веселья.

И вот там, в барже, я увидел Корабельникова. Плотно сбитый, без всяких признаков тюремной бледности, он выделялся своей уверенностью и спокойствием. Был хорошо одет, прямые пшеничные волосы он ежеминутно встряхивал, резко вскидывая голову. И были у него странные какие-то глаза: светлые, почти такого же цвета, что и волосы. От этого его круглое лицо приобретало необычный вид, будто глаза закрыты бельмами.

На барже большинство сбивалось в кучки, свои жались к своим. Впервые нас соединили с уголовниками в Котласе, но и там пятьдесят восьмая жила в отдельных бараках. В трюме баржи мы были вместе, но не смешивались, как вода и масло. И внутри каждой категории люди распадались еще и на сокамерников, на мелкие подгруппы, основанные на каких-то неясных, но общих интересах.

Корабельников не примыкал ни к одной группе, он ни с кем не смешивался. Он не был похож ни на блатного, ни на политика. И селедку он получал на себя одного, и сам ее ел, не входя ни в одно из арестантских сообществ, организованных по великому принципу «кушаем вместе». И его нисколько не смущала эта отчужденность от других. Он уверенно переступал через лежащих на полу людей, он дышал воздухом трюма, состоящим главным образом из запахов мочи, селедки, кишечных газов, махорочного дыма, так свободно и легко, как будто это был воздух леса или покрытого цветами луга.

Познакомились мы неожиданно. Я отошел от своих к борту. Там из щелей бил свежий, холодный воздух, и можно было к такой щели припасть и подышать властью. Я присел на пол, оглянулся. Рядом сидел заприимеченный мною уже раньше человек с желтыми глазами. Неподалеку, разлегшись на своих скудных сидорах, блатные пели известную соловецкую песню:

Трюм наш тесный и глубокий,
Нас везут на «Глебе Бокий»,
Как баранов...

— Да,— вскинул голову желтоглазый,— Глеб Иванович Бокий! Авторитетный был человек!

Я повернулся к нему:

— А вы что, знали Глеба Ивановича Бокия?

— Ого! А как же! И не его одного. Кого только не знал, кого только не видел! И Артузова, и Молчанова, и Бермана... Ну, само собой Паукера... А ты откуда Бокия-то знаешь?

— Это мой тесть.

— А?! Ну, ясно-понятно, значит...

Желтоглазый оживился, с лица его исчезло то странное выражение, которого я раньше не понимал. А теперь понял. Это выражение превосходства над всеми я видел на его лице почти всегда. Кроме тех редких случаев, когда мне приходилось быть свидетелем разговора Корабельникова (такая обычная фамилия была у желтоглазого) с начальством. С любым начальством. Тогда желтые глаза Корабельникова загорались собачьим умом: вниманием, почтением и пониманием. А потом снова потухали, и он опять смотрел на ненадлежащий мир спокойно и равнодушно. Даже без зла. Это было удивительно, потому что из множества злодеев, которых мне пришлось в этом странном мире встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление. Уже после лагеря, после второй тюрьмы, второго лагеря Корабельников — его прямые пшеничные волосы, его желтые и равнодушные глаза — мне снился по ночам, и я стоял и просыпался, покрытый липким потом...

Даже такого нечеловека, каким был Корабельников, очевидно, тяготили одиночество и невозможность разговаривать о том единственном, что он считал ценным и интересным в жизни. Меня он сразу принял за «своего». Я ведь знал по фамилии его богов — начальников, я был зятем одного из них, то есть лицом, безусловно, с его точки зрения, посвященным во все тайны, в которых он жил. Мне было нетрудно поддерживать эту уверенность. Много тайн я знал, а о тех, что не знал, говорил как о чем-то давно и хорошо знакомом. Корабельников мне был непонятно отвратителен с первого взгляда. Но неистребимое любопытство не давало покоя, и я — осторожно, чтобы не вспугнуть, — потрошил то липкое, страшное и омерзительное, чем он был наполнен.

В служебной энкавэдэвской иерархии Корабельникову отводилось весьма ничтожное место рядового оперодчика Оперативного отдела НКВД, начальником которого был Паукер. Этот отдел занимался слежкой, охраной высоких чинов, арестами, выполнением приговоров. Но, судя по рассказам Корабельникова, он при малом своем звании — не то младший лейтенант, не то просто лейтенант — считался человеком доверенным и много знал. Теперь я жалею, что не сумел в себе преодолеть ужас и брезгливость и уже через два дня стал скрываться в трюмном аду от его рассказов.

Корабельникова я навсегда запомнил. И сейчас я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо, прямые волосы, которые он, дергая головой, вскидывал вверх. И слышу ровный и спокойный голос.

«...Работать, конечно, можно везде. Но у нас надобно иметь сноровку и, знаешь, такое понимание. Я на наружном работал немного, работа малоинтересная, перешел на операции. Ну, вот там надо понимать всю тонкость. Я, когда прихожу на операцию, моментально срисую себе, что это за народ. На того, кого взял, и не смотрю: его без меня будут колоть. А вот я сразу же берусь за всю кофлу в его квартире. И тут же соображаю, кто ему, арестованному, кто есть. За кого он — за мать, или за жену, или за сына,

дочь; за кого он больше боится, кого больше обожает, что ли... За того и берусь... Ох, берусь так, что голубчика на Лубянку привозят уже готовенького — только оформляй... Делаю обыск и по глазам все узнаю, где что искать или что им всего дороже. И не нужна, конечно, нам всякая там ерунда — кукла какая от помершей девочки или что... Но сразу же понимаю, как что брать, чтобы их всех перевернуло! Знаешь, в ногах валялись, на все готовы были... И бабы такие из себя красивые да гордые готовы тебе сапоги лизать, могу любую из них тут же... Конечно, ни-ни... Невозможно. Но могу!.. Паукер на этот счет был строг, я же себе не враг. Некоторые из наших так, незаметно от других ребят, дадут свой телефончик и потом пользуются. Самого-то уже отвезли в Лефортово и в расход списали, а его баба или дочка, скажем, ездят, куда им скажут, дают со всем усердием, верят, что поможет, выпустят ихнего... Но это дело рискованное, я на это никогда не шел, начальство всегда во мне было уверено: ни на шаг ничего не нарушу, все сделаю как надо! Мне их трахать и не надобно, мне достаточно знать, что захочу я — все с ними могу делать!..

Сам Волович меня заметил, иногда вызывал и давал распоряжения такие, которые не мог доверить какому-нибудь пентюху. И было, было всякое, занятое было, да...

— Государственное?

— И государственные дела были, ответственные. И другие. Ну, ты же знаешь, все эти начальники — люди-человеки, всех тянет на такое сладенькое, что не позволено. Это меня они в ключья измочалят, если я при обыске что-нибудь там сопру или отведу девочку в другую комнату для личного обыска... А у самих есть такие, понимаешь, дела, ух, только держись! И в делах государственных, и в своих нужны верные люди. Я всегда был верным.

...В тридцать четвертом, первого декабря, нас вызвали, со всех концов Москвы собрали. Паукер и Волович лично отбирали людей. Меня первого вызвали. Ночью — в специальный поезд и в Ленинград. Приехали. Перрон оцеплен. Встречают нас Медведь, всякие ихние начальники. Нас сразу же на машины — и на Литейный. И там меня вызывают и дают поручение, какое не каждому дадут. Мне и еще одному парню. И почти месяц я сидел в тюрьме, во внутренней...

— Это за что же?

— Ну, не арестантом же сидел! Я сидел в камере с Николаевым. Что Кирова шлепнул. И не подсадкой сидел. Николаев знал, кто я. Мы с моим напарником сменялись каждые шесть часов. Его ни на минуту одного не оставляли. Только раз, когда к нему в камеру пришел сам Иосиф Виссарионович, мы его с ним оставили. Вот так они в камере беседовали целый час, а мы стояли за дверью. А с нами знаешь кто? Ух! Вот где было начальников!!!

— А потом?

— А потом Сталин вышел, а я зашел.

— А какой он был, Николаев?

— Так, чудик. Как будто его мешком по голове хлопнули. Завалился на койку и лежит, голову кутает... Ну, это я ему запретил. Не полагалось, голова и руки должны быть все время на виду, чтобы не сделал, дурак, над собой что-нибудь... Или же обгадет по камере, сам с собой чего-то разговаривает. А то начинает меня расспрашивать.

— Про что?

— Про волю, про то, какая погода. Его на прогулку не водили. А то вдруг спросит про то, что в театре идет... Один раз спросил, как расстреливают, — вот чудик-то! Смехота! Я ему говорю: узнаешь сам, чего спрашиваешь... Вот так я с ним был все время, устал.

Это же надо понимать — сижу в тюрьме, света белого не вижу. Из камеры выхожу, тут же, во внутренке, ложусь спать, потому что должен быть выспавшись и бодрым: на службе нахожусь. Как пришли его брать на расстрел, так, понимаешь, вздохнул с облегчением. Проводил его, поехали мы с напарником в наше общежитие, приоделись во все вольное, завалились в «Асторию» и как кутнули, ух! И девочек раздобыли, хорошо, культурно провели время. По-человечески хоть отдохнули после такой работы.

— А с ним, значит, не пошли?

— Это с кем? С Николаевым, что ли? Чего я не видел, подумаешь! Видел я, как их коцают. Вот если бы взяли исполнителем — другое дело! Да это и не по моему характеру. Конечно, Маг у нас был первым человеком. Самое высокое начальство с ним всегда за ручку, чего только скажет — сразу же, пожалуйста. Всегда пьян, всегда бабы, специальную конспиративку держали и охрану при ней, он туда баб водил. Вот как он шлепнул Зиновьева, Каменева там, Бухарина, ну и всяких других, захотел иметь орден Боевого Красного Знамени и чтобы Указ об этом во всех газетах был. И — пожалуйста! Наградили, и Указ в газетах. А подумаешь — дел-то куча, пухнуть в затылок... Ну, а в помощниках у него ходить была охота! Видел раз, когда Каменева шлокнули, как они работают, его помощники. Крови из него, будто из свиньи какой... Тащи его в машину, вези, обмывай пол, да что я ему — уборщик какой, что ли? Нет, мне такая работа, в помощниках, она без интереса. Мне что интересно: самому быть начальником, мне самостоятельность нужна! Пока я по-глупому не подгорел, у меня работенка была, будь спок! Самая чистая, разлюбезная, красивая была работа! Ух, как вспомню, что потерял по собственной своей глупости, так сердце заходит!

— Что же это была за работа?

— А это, понимаешь, в прошлом году было. Работа такая. Вот мы с моим напарником — тоже был грамотный, образованный, знаешь, парень — приезжаем вечером в «Метрополь». Одегты мы по самой моде, в самые дорогие габардины и коверкоты, шили нам шмотки в мастерской, где само начальство шьется. В кармане полно монет. У подъезда остается оперативная машина с человеком. Мы, как иностранцы какие, садимся на самом лучшем месте. Столик нам уже оставлен недалеко от фонтана, оттуда всех видно. Ну, метр да шестерка знают, что мы за люди... Конечно, за все платим, чего не платить — деньги казенные. Но счет-то один, а натура другая! Выпьем две бутылки самого дорогого испанского коньяка, а в счете показана одна поллитра русской горькой. Едим мы лососину да котлеты де воляй, а в счете гуляш да кета. Служат с поклонами, в глаза заглядывают, ну, понимаю, кто они и кто мы — что они против нас и что мы с ними сделать можем.

Вот так целый вечер не спеша, по-благородному, по-иностранному, едим, и закусываем, и наблюдаем. сидят там иностранцы, из посольств — мы уже знаем, из каких, кто они. Смотрим, не подходит ли кто к ним из советских. Не перемигиваются ли с кем? Потому что из не своих к ним кто же подойдет по своей охотке, все знают, чем такое окончится... А вот мигнуть — это могут. Так, чтобы незаметно. Ну, от нас ничего не скроется!

Хорошо быть самостоятельным! Знать, что ты хозяин! Бывало, сидим так, уже вторую бутылку кончаем и смотрим. Вокруг фонтана танцует всякая эта шушера — считают себя черт-те кем! Подумаешь, он там университеты кончал, зарплата ему хорошая идет, с ним клевая девочка, невеста там или кто ему. Вот он вьется вокруг нее, глазки у них горят, счастливые, дескать, до последнего. Про нас они ничего

не знают, да знали бы — и внимания не обратили. А хозяева-то ихние мы... Вот так они меня с моим напарником выведут из терпения, я ему говорю: давай оформим, что ли? Давай, говорит!

Ну, тут мы тихо встаем, напарник мой идет в гардероб, там для нас специальная комнатка была. А я вежливо, интеллигентно подхожу к ним, извиняюсь перед его бабой, как положено, чин чинарем, и прошу его на пару слов... Она так кивает головкой, я его спокойненько пропускаю вперед в гардероб, а когда он спрашивает, в чем, мол, дело, — ему книжечку из кармана. И — в комнатку. Тут мы его сразу за карманы, отбираем что есть, напарник берет его номерок, приносит пальто — одевайся, парень, кончилося твое счастье. И в машину. Привезем, сдадим. А иногда еще возвращаемся обратно. Сидит его баба ни жива ни мертва, небось и монет у нее нет расплатиться. Вот умора-то! Пропал ее парень, нету его, кранты ему! А время такое, что понимает, — конец! Если бы хотел, тут же мог бы к ней подойти и везти ее к себе — на все бы согласилась лярва! Но я знаю: тут сидят и другие наши. И от Паукера, и от Особоуполномоченного. Это зачем же мне засыпаться?!

— Постой! Ну вот вы привезли этого человека, сдали его... А за что? В чем его вина? Что вы про него говорите?

— Ох, и непонятлив ты! Там сидят ребята не дураки, оформят его как надо. Взят по подозрению, перемигивался с иностранцами, дескать... Наше дело подозреваемого взять, ваше дело разобраться, оформить. У опытного и ловкого парня он себе на всю катушку напишет... А если следователь поленится, так даст ему лет восемь по подозрению в шпионаже, и будь здоров! И не кашляй!

— А вдруг здесь, в барже, ты встретишь вот таких своих крестников? Или в лагере?

— Конечно, может быть неприятность. Ну, да конвой знает. Ты не думай, наша служба еще не кончилась. Если вместе попадем, увидишь еще, что за человек Корабельников! Держись за меня, жив тогда останешься.

— А за что же тебя взяли?

— За глупость мою. По службе я всегда был справен, на самом хорошем счету. И вот по пьяному делу трепанулса самому своему большому корешу — дружил с ним душа в душу! — трепанулса я ему про одно бабское дело у начальника. Ну, дурак же был, откуда это на меня нашло?! А кореш, конечно, стукнул. Меня за задницу! Повинился — вот здесь я, делайте со мной, что хотите, виноват, исправлюсь! И, понимаешь, ерундистика какая получилась: я во внутренней еще сижу, а уже того начальника, про которого я трепанулса, взяли, да дают ему такие бабки — ой-ой-ой!.. Так мне-то все равно: раз трепанулса, вышел из доверия, должен быть наказан! Сунули мне пятак СОЭ и в общий этап. Ну, этап-то общий, да я не общий. Я свое выслужу. Я не пропаду!..»

Собственно, на этом разговоре и кончилось мое общение с Корабельниковым. Вероятно, если бы я нашел в себе силы, я мог бы у него узнать еще немало интересного для историка и исследователя своего времени (каким я, да и, наверное, множество других людей, себя считал). Но сил преодолеть отвращение к его лицу, глазам, рассказам у меня не было. Я скрывался от него среди своих. Когда он пробирался по трюму, очевидно, разыскивая меня, я прятался.

В Вогвоздине, где нас выгрузили из барж, он куда-то скрылся, я его ни разу там не видел. И в этапе с нами его не было. А все же Корабельников объявился — как нарочно! — именно на нашем Первом

лагпункте. Мы уже работали месяц на разрубке трассы лежневой дороги. Погода испортилась, шли холодные осенние дожди, мы приходили насквозь мокрые, в остатках своей гражданской одежды, неспособной удержать немного наше тепло. Жили мы в огромной палатке, безнадежно сырой и грязной. Спали вповалку, прижавшись друг к другу, на сплошных нарах, изготовленных из кругляка. Грязь и копоть от костров ввелись в наши лица настолько прочно, что мы и не пытались их отмыть. Система старшего лейтенанта Заливы за один месяц превратила нас в ходячие скелеты, изуродовала обросшие грязной шерстью лица.

Когда я увидел Корабельникова у крыльца конторы, я не испугался, что он меня узнает: это было невозможно. Корабельников был одет в новую лагерную униформу. Что он уже в немалых лагерных чинах, можно было догадаться по дополнителю и тщательно простеганной, с двумя боковыми карманами телогрейке, в которую Корабельников засунул большие бледные руки.

— Кто это? — спросил я у одного всезнающего одноэтапника.

— Начальник новой подкомандировки. Прибыл к нам по спецнаряду.

Подкомандировка, которую приехал создавать на наш лагпункт Корабельников, оказалась штрафной. В лагере всегда есть специальный штрафной лагпункт. В нашем Устьвымлаге штрафным был Девятый. Но, кроме этого общелагерного лагпункта, куда посылали заключенных по указанию Управления, большим лагпунктам разрешалось создавать собственные штрафные командировки, так сказать, местного значения. Залива добился того, чтобы ему разрешили такую командировку сделать, — он тогда был у начальства в фаворе. Корабельникова прислали как специалиста. Он оказался прав, верная его служба не пропала даром.

Штрафная командировка была построена в десяти километрах от лагпункта. Бесконвойные, а затем и конвойные, которые ее строили, шепотом рассказывали про нее страсти. В зоне два построенных из мелкотоварника низких барака. Стены не законопачены, нары общие, на окнах решетки, двери всегда на запоре, в бараках параша. Кормят тут же, в бараке, как в тюремной камере. Кормежка штрафная: триста хлеба, две миски баланды в день. Но больше всего поразил строителей командировки карцер. Он был совсем другим, нежели наши обычные карцеры. Это был сруб, сделанный как колодец. Человека туда укладывали связанным, прижав голову к коленным. Двери в карцере не было, чтобы уложить человека, просто приподнималась круглая крыша, запиравшаяся затем деревянными клиньями. Помещался в этом карцере лишь один человек. Но так как в этом страшном сооружении не было никакого отопления, то зимой карцер освобождался очень быстро: через час-другой наказанный превращался в заледенелый, неразгибаемый труп. Его и хоронили так — согнутым. И могилы для них рыли особые — круглые. В первую зиму самой большой угрозой у начальников было: «Ты у меня ляжешь в круглую яму!»

Второй, маленький, барак на штрафняке был для женщин. Только от них в лагере стали потом известны все подробности деятельности Корабельникова. Только они иногда возвращались со штрафной. Мужчины погибали почти все без исключения. Отправление на командировку к Корабельникову означало верную смерть. Каждая отправка на штрафняк превращалась в дикое, немислимое зрелище. Пытаясь хоть как-то отсрочить этап, некоторые блатные прибегали к старому приему: раздевались догола, думая, что в таком виде их зимой на этап не пошлют. Но на Корабельни-

кова, который сам — как ангел смерти — приходил за сырьем для своего карцера, это не действовало. Голово человека связывали, несли из барака через всю зону, проносили через вахту и бросали на сани. Потом его неторопливо везли на штрафняк. Вой замерзающего человека стихал в отдалении. Залива, грустно и укоризненно качая головой, провожал еще одного плохого и неразумного зека.

Корабельников меня ни разу не увидел — страх, что он может увидеть, был одним из сильнейших страхов моей лагерной жизни. Я прятался от него, благо это было и нетрудно. А в конце декабря 38-го года меня отправили на третью командировку, откуда привезли весной, когда командировка наша почти уже вымерла. И головной лагпункт был тихий и малолюдный. Зимой новых этапов не было, а большинство старого лагнаселения оказалось на кладбище. И штрафняк был закрыт, а сам Корабельников по спецнаряду отправлен в Управление для выполнения новых заданий.

Летом 1940 года я получил пропуск и уехал бесконвойным на сплав. Когда я вернулся, то, пользуясь пропуском, пошел на бывший штрафняк. Зона была покосившаяся, в некоторых местах заваленная. Проволока запретки вбита в землю. Страшная, неживая сырость была в осевших бараках. Сколько людей прошло через них? За зоной стоял хорошо срубленный дом, где жила охрана и один заключенный — Корабельников. Лагерные шалашовки, побывавшие на штрафняке, рассказывали, что начальник штрафной жил с охраной душа в душу, хорошо и весело. Лагерных женщин приводили туда мыть полы и развлекать конвоиров — Корабельников знал, что нужно начальникам. Недалеко от зоны я увидел странное сооружение, похожее на сруб колодца. Нелепая круглая крыша валялась на земле, почти невидная среди густо поднявшегося иван-чая. Земля вокруг страшного сооружения была неровной, вздыбленной в нескольких местах. Не сразу я догадался, что это кладбище. Круглые могилы...

А Корабельникова я больше никогда не встречал и ничего о нем не знаю. Хотя, став вольнонаемным, расспрашивал о нем наших ребят в Управлении и на других лагпунктах. Я думаю, что его расстреляли, когда по всем местам заключения искали и забирали людей, имевших какое-либо отношение к убийству Кирова и его расследованию. Наверное, дотошные и верные служаки, такие же, как Корабельников, добрались до него. И тут уж ему ничего не помогло, никакая верная служба. Ну, должен был сам понимать: работа есть работа.

От того, что Корабельникову выстрелили в затылок, я не получил никакого удовлетворения. Мне он кажется по-прежнему живым: когда я думаю о нем — хотя я стараюсь это делать как можно реже, — меня начинает бить дрожь от неутоленной злобы. В моем воображении этот маленький и ничтожный человек дослужился до большого чина: он стоит неподалеку от главного его бога — от Сталина.

Полковник Тарасюк

«В лагере только первые десять лет страшно. Потом привыкаешь». В этой лагерной присказке, кроме «веселия висельника», присутствует и немалая доля здравого смысла. В условиях сколько-нибудь обычной лагерной жизни зек, проживший два-три года, имеет шанс отбыть весь свой срок. К лету сорок первого мы уже были спокойными и обычными лагерниками. Кто не выдержал, того «списали по литеру В», а целевшие приспособились, пристроились к работе полегче, наладили связь с родными, регулярно получали письма и посылки. Уже создавались прочные связи —

у кого дружеские, у кого почти семейные; мы получили много книг из Москвы, некоторые из нас стали бесконвойными. Заливу успели понизить, новые начальники оказались разумнее. Стараясь получить от заключенных большую «отдачу», они понимали, что для этого надобно их кормить получше. Чтобы дойти до этой истины, не требовалось ни особого ума, ни гуманистических вывертов: начальники были в основном из крестьян и знали, как надо обращаться со скотиной.

Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Тот шок, который испытали все без исключения, у начальников сказался в идиотски-бессмысленном взрыве предупредительно-пресекательных мероприятий. В первый же день войны в зоне сняли все репродукторы, были полностью запрещены переписка и газеты, отменены посылки. Рабочий день был установлен в десять, а у некоторых энтузиастов и в двенадцать часов. Все выходные дни тоже отменили. И конечно, немедленно навели жесточайшую экономию в питании зека.

К осени людей начала косить пеллагра. Мы тогда впервые услышали это страшное слово и с ужасом стали у себя обнаруживать начальные, а затем прогрессирующие следы этой «болезни отчаяния», как она именуется даже в медицинских учебниках. Становится сухой, шершавой и шелушащейся кожа на локтях; на косточках пальцев рук появляются темные, быстро чернеющие пятна; на горле проступает все явственнее темный ошейник из сливающихся пятен. Потом начинается быстрое похудение и неустойчивый понос. Собственно, это уже почти конец. Понос уносит слизистую кишечника. А она не восстанавливается. Человека, утратившего слизистую кишечника, уже ничто не может вернуть к жизни.

В течение двух-трех месяцев зоны лагеря оказались набиты живыми скелетами. Только на фотографиях, предъявленных обвинением на Нюрнбергском процессе, я увидел такую же степень истощенности. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. Везы, а затем сани по утрам отвозили почти невесомые трупы на кладбище. К весне сорок второго года лагерь перестал работать. С трудом находили людей, способных заготовить дрова и хоронить мертвых.

И тут-то выяснилось, что военный энтузиазм лагерного начальства был совершенно неуместным. Оказалось, что без леса нельзя воевать. Лес необходим для строительства самолетов, изготовления лыж, для добывания угля. А самое главное — для пороха. Основой всех современных порохов является целлюлоза, которая, как известно, делается из древесины. Как ни нужны были люди на фронте, но работники лесной промышленности были почти все на броне. И все наши начальники были на броне. Вот только требуемый от них лес они не могли дать: некому было его рубить... И тогда только самое верховное начальство стало делать минимально разумное: заключенных лесорубов кормили по нормам вольных рабочих; была восстановлена переписка, повешены репродукторы, начали приходить газеты, заключенные стали единственными людьми в стране, которым разрешалось получать продуктовые посылки. И немедленно полетели со своих мест начальники и прилетели другие.

Вот тогда-то мы услышали фамилию нового начальника Устьвымлага — полковника Тарасюка. К этому времени в наш лагерь влили остатки эвакуированного Березлага. Березлаговцы многозначительно качали головой, рассказывая нам о своем начальнике, ставшем теперь начальником нашего лагеря. По их словам, полковник Тарасюк был пидером из пидеров. Слово «пидер» — педераст — в лагере имеет совсем другое значение, нежели в словаре. Это зна-

чит — человеконенавистник. И хотя безразговорцы щелкали языком, говоря о потрясающих административных талантах Тарасюка, но они не могли умолчать и об этом наиболее ярко выраженном качестве полковника.

Действительно, Тарасюк был лагерным начальником, представлявшим законченный тип рабовладельца. Про него говорили, что до лагеря он был наркомом внутренних дел Дагестана и с этой почетной работы снят за «перегибы». Если Тарасюк действительно был в 1937 году в Дагестане, то мне понятно, каким образом появился при нас в Котласе этап столетних стариков. Да-да. Пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от 80 лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканых одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались от этой неподвижности только для того, чтобы совершать намаз. Трущиеся около УРЧ зеки объяснили нам, что все они были «изъяты» для ликвидации в Дагестане феодальных пережитков. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам, судившим по адату, по обычаям и традициям. Чтобы обратить жителей Дагестана к более прогрессивным формам судопроизводства, всех стариков забрали, дали им по десятке и отправили умирать на Север. В этом был, безусловно, «почерк» полковника Тарасюка.

Но теперь Тарасюк работал в лагере, и мы вскоре почувствовали его железную и целенаправленную волю. Он проехал по лагпунктам, выгнал бластных со всех работ, связанных с питанием, и поставил на эти должности только пятьдесят восьмью. Счетоводы продстола, каптеры и повара бледнели от страха, когда Тарасюк появлялся в зоне. Тех, кто способен был идти в лес, кормили лучше, нежели конвой, лучше, чем вольнонаемных. Появились лекарства, приехали вольные врачи, установили специальные противопеллагрозные пайки. Тарасюк восстанавливал работоспособность лагеря с энергией талантливого и волевого администратора. Но как!..

Впервые я вблизи увидел Тарасюка, когда он приехал к нам весной сорок второго года. В сопровождении огромной свиты из разномастных начальников он обошел все места в лагере, не исключая сортиры. Если он встречал в лагерной службе человека, который ему казался достаточно здоровым, чтобы пилить лес, а не кантоваться в зоне, он, как Вий, протягивал к нему палец, и фамилия несчастливого зека немедленно заносилась на фанерную дощечку. Вечером Тарасюк созвал начальников частей. Я тогда заменял старшего нормировщика и поэтому вместе с другими начальниками из заключенных — плановиком, главным бухгалтером, старшим контрольным десятником, прорабами, ветврачами и просто врачами — оказался вблизи Тарасюка.

У него было лицо римского патриция: холодно-спокойное, равнодушное. В том, как он уселся в кресле начальника лагпункта, снял телефонную трубку, приказал телефонистке соединить его с Управлением, в том, как он разговаривал, — во всем ощущалась многолетняя привычка повелевать, быть хозяином жизни и смерти всех окружающих. Слова «хозяином жизни и смерти» надо понимать совершенно буквально. И это относилось к вольнонаемным в такой же степени, как и к заключенным. Все вольнонаемные были на броне. Достаточно было Тарасюку приказать «разбронировать» — и любой отправлялся на фронт. Они были младшими лейтенантами, просто лейтенантами и даже капитанами. Но госбезопасности. И было

известно, что больше командира взвода им не давали. Похорошки на них приходили удивительно быстро. Об этом знали все. Тарасюк — лучше других.

Он приказал начальнику лагпункта доложить состояние «контингента». Запыхавшийся от волнения начальник перечислял, сколько у нас зеков «всякого» труда, сколько «среднего», «легкого», сколько в «слабкоманде», в лазарете... И сколько из них работают в лесу, сколько — в конторе, в службе...

Спокойно и свободно слушал Тарасюк отчет. Вдруг он перебил начальника:

— Сколько премблюд выдается в зоне?

«Премимальное блюдо» было у нас куском жидкой каши, вылитой на деревянный противень и застывшей в желеобразном состоянии. Его получали, кроме лесорубов, административно-технические работники и лагерная обслуга, работавшая на сдельщине: прачки, довозы. Услышав ответ, Тарасюк спокойно сказал:

— Снять. Увеличить за этот счет премблюдю работающим в лесу.

Начальник ЧОСа — части общего снабжения — хотел что-то сказать, но Тарасюк почти незаметно вскинул на него глаза, тот подавился словом и замолчал.

— А это, это кто такие? — вдруг заинтересовался Тарасюк.

Речь шла о «команде выздоравливающих». Их у нас было 246 человек. Начальник лагпункта посмотрел на исполняющего обязанности начальника санчасти доктора Когана, молодого еще врача, которого после ранения на фронте прислали работать в лагерь. Коган встал и не без гордости сказал, что эти люди «вырваны из рук пеллагры» и можно надеяться теперь, что среди них летальных случаев больше не будет... Дальше произошел следующий диалог:

Тарасюк: Что они получают?

Коган: Они все получают противопеллагрозный паек, установленный Санотделом Гулага.

Тарасюк: Когда и сколько из них пойдет в лес?

Коган: Ну, конечно, в лес они уже никогда не пойдут. Но они будут жить, и когда-нибудь их можно будет использовать в зоне на легких работах.

Тарасюк: Снять с них все противопеллагрозные пайки. Запишите: пайки передать работающим в лесу. А этих — на инвалидный.

Коган: Товарищ полковник! Очевидно, я плохо объяснил вам. Эти люди могут жить только при условии получения специального пайка. Инвалиды получают четыреста граммов хлеба. На таком пайке они умрут в первую же декаду. Этого нельзя делать!

Тарасюк даже с каким-то интересом посмотрел на взволнованного врача.

— Это что, по вашей медицинской этике нельзя делать?

— Да, нельзя...

— Ну, я плевал на вашу этику! — спокойно и без всяких признаков гнева сказал Тарасюк. — Записали? Идем дальше...

Все эти двести сорок шесть человек умерли не позже чем через месяц.

У нас в лагере были начальники умные и глупые, добрые и злые. Тарасюк был совсем другим. Он был рабовладельцем. Таким, какими были, наверное, рабовладельцы в античном обществе. Вопрос о человеческой сущности рабов его никогда не занимал и не беспокоил. Я сказал, что лицом он напоминал римского патриция. Он и жил, как римлянин, назначенный губернатором какой-нибудь варварской провинции, завоеванной Римом. В специальных теплицах и оранжереях для него выращивались овощи и фрукты, экзотические для Севера цветы. Были найдены лучшие краснодеревщики, делавшие ему мебель. Са-

мые известные в прошлом портные обшивали его капризную и своенравную жену. И лечили его не какие-то вольнонаемные врачихи, со студенческой скамьи запродавшие Гулагу, а крупнейшие профессора, руководители крупных столичных клиник, отбывавшие свои большие сроки в медпунктах далеких лесных лагерей.

Как известно, римские матроны раздевались догола перед мужчинами-рабами не потому, что они были бесстыжими, а потому, что не считали рабов за людей. По тем же причинам Тарасюк, как и эти персонажи классической древности, совершенно не стеснялся. И не только зекон, но и тех «вольняшек», которые по своему происхождению и положению мало чем от зекон отличались. Он как-то собрал в Управлении совещание нормировщиков и экономистов для очередной «накачки». Это было в середине войны, когда даже «вольный» паек с трудом обеспечивал полуголодную жизнь. В это время к Тарасюку, сидевшему, как это положено, впереди за отдельным столом, подошли хорошо одетые молоденькие официантки в кружевных передниках, с шелковыми наколочками в волосах.

Профессионально быстро и бесшумно они покрыли стол ломкой от тугого крахмала белоснежной скатертью, поставили перед полковником судки разных калибров. Тарасюк, не прерывая заседания, заправил за тугий воротник полковничьего кителя белоснежную салфетку и открыл судок. По кабинету разнесся обморочно вкусный аромат какой-то лесной дичи, приготовленной его личным поваром, который в своей прошлой жизни был шефом известного петербургского ресторана. Тарасюк равнодушно глодал дичину, прерывая это занятие лишь для того, чтобы на кого-нибудь рыкнуть, властно оборвать или же ограничиться суровым взглядом ясных и холодных глаз. Он настолько не считал сидящих напротив него людей хоть в чем-то равными себе, что не только есть — он мог и испражняться перед ними, если бы ему было удобно. И при этом трудно было назвать его особо злым...

Он поощрял хорошо работающих заключенных; особенно отличившимся рекордистам разрешал приводить к себе в барак женщин, не опасаясь надзирателя. Врачам и портным, приходившим к нему в особняк, горничная выносила вслед кусок белого хлеба, намазанный маслом... И в лагере поддерживался неукоснительный порядок, при котором хорошо было тем, кто умел пилить лес, и плохо тем, кто — не имело значения, по каким причинам — этот лес пилить не умел. Был порядок. Была даже справедливость, если можно употребить это столь странно звучащее здесь слово. Ведь при Тарасюке начальники лагпунктов не позволяли себе самоуправничать, заключенных не обворовывали, им давали все, что положено: а выяснилось, что им положено иметь наматрасники и даже простыни, они появились, и арестанты спали на простынях, ей-ей... Правда, правда, он был справедливый начальник!

Никого из начальников мы так не ненавидели, как ненавидели Тарасюка. К счастью, он у нас был недолго. Наладил лагерь, привел в порядок, его после этого перевели восстанавливать другой лагерь.

Когда мы с женой очутились на воле, мы жили в Ставрополе, очень голодали и рассчитывали каждую копейку. Однажды Рика мне дала последнюю трешку, и я пошел на проспект Сталина в магазин за чесночной колбасой и хлебом. Рядом в киоске продавались прибывшие вечерним поездом газеты. Обычно я удовлетворялся «Правдой», вывешенной в витрине возле филармонии. Но тут я увидел «Известия», и меня толкнула в сердце знакомая фамилия в черной рамке в конце последней полосы. Я купил газету.

ГУЛЛП¹ НКВД СССР с глубокой скорбью извещало, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался крупный организатор производства, орденонсец, полковник Тарасюк...

Я зашел в магазин и вместо того, чтобы купить колбасу, на два рубля семьдесят копеек купил четвертинку водки, а на оставшиеся тридцать копеек — хлеба. Дома на недоуменный вопросительный взгляд жены я протянул ей газету, водку и хлеб. Господи! Это было счастье — увидеть на ее усталом и измученном лице такую радость, такое несдерживаемое торжество! Мы уселись за стол, разрезали хлеб и разлили водку. Непьющая Рика даже не пыталась увеличить мою порцию. Задышавшись от счастья, что Тарасюк сдох от рака — наверное, даже обязательно в страшных муках!!! — мы выпили эту водку... Он сдох в муках, а мы, мы пьем водку... На ВОЛЕ! Значит, есть все же справедливость? Или Бог? Ну, не знаю, как это называется. Да и значения не имеет. Есть это!

Капитан Намятов

Намятову было далеко до Тарасюка. И не потому, что один был полковником, а другой только капитаном, один — начальником огромного лагеря, другой — начальником лагерного отделения. Время у них было разное. Тарасюк пользовался практически неограниченной властью над многими десятками тысяч людей, Намятова я застал начальником Чепецкого отделения Усольлага летом пятьдесят четвертого года. Уже прошел и улегся угар послесталинского шквала: амнистия, новый уголовный кодекс, новые непривычные либеральные порядки. Отказчик или нарушитель лагережима теперь долго ждал, пока составлялся акт о содеянном им нарушении. Потом этот акт подписывался, затем «лепила» — врач или фельдшер — давал письменное заключение, что содержание в карцере не угрожает ценному здоровью заключенного. Потом акт относили Намятову, который внимательно с ним знакомился, вызывал к себе в кабинет виновного для того, чтобы самому составить представление о личности нарушителя, степени его вины, способности к раскаянию. И лишь после этого определял меру наказания — столько-то суток. Так теперь полагалось по новым инструкциям, которые в подразделении капитана Намятова выполнялись неукоснительно.

И только после этого надзиратели вели грешного зека в карцер. В карцер, кондей, холодную, как он раньше назывался. А теперь он и назывался по-другому: «отдельно отстоящее помещение». Как я идиотски обрадовался, когда, читая о пореформенном времени в России, наткнулся на это название! Оказывается, после того как крепостные стали свободными людьми, а сажать их и даже пороть все же приходилось, прежняя холодная, ну, словом, место, где держат, порют, стало называться именно так: «отдельно отстоящее помещение».

...Я хочу прервать свое повествование для некоторых филологических — дилетантских, конечно — размышлений. Почему так устойчива тюремная лексика, тюремная терминология? И не в том дело, что у Достоевского, Дорошевича и Солженицына слова «камера», «глазок», «параша» и множество других имеют одинаковый смысл. В конце концов их назначение несколько не изменилось, естественно, что параша так и остается парашей, а о происхождении этого слова еще не рассказано ни в одном этимологическом словаре.

¹ Главное управление лагерей лесной промышленности.

Но почему в тюрьме в камеру «заводят», а не «вводят»? В карцер «бросают», а не «сажают»? Почему на этап и допрос «берут», а не «ведут»? Почему в тюрьме говорят не «мы пошли на прогулку», а «нам дали прогулку»? «Свиданка», «передача», «смертная» — ничего почти не изменилось в этом языке, который проявил такую же дьявольскую устойчивость, как и то, что его породило!

Впрочем, может быть, это и к лучшему? Потому что новое слово, возникшее в нашей жизни и принадлежащее только нашему времени, — одно из самых мне ненавистных! Я говорю о слове «специальный», ставшем приставкой «спец». Казалось бы, самое обыкновенное, ну, не очень красиво звучащее, полуканцелярское слово. Но, ставшее приставкой, слово «спец» почти всегда имеет у нас самый страшный смысл. «Спецакция» — это расстрел, «спецкоридор» — режимные одиночки, «спецколлегия» — суд для рассмотрения политических дел. «Спецотдел» — не требует объяснений. И даже безобидный «спецбуфет» имеет отвратительный характер потому, что это буфет для привилегированных, и в «спецстрое» подозревается что-то малосимпатичное: строительство тюрьмы или особняка для сановного вельможи...

Так вот, в «отдельно отстоящее помещение» вели зека, а за ним надзиратель нес тощенький матрац, ибо в случае простого, а не злостного нарушения (что определялось Намятовым же по особой, новой, послесталинской инструкции) наказанному полагалось иметь в карцере «спальные принадлежности» — как назывался по инструкции этот прогнивший тюфячок.

Я в рассказе о капитане Намятове очень часто употребляю слово «инструкция». Отношение к инструкции больше всего отделяло Намятова от Тарасюка. Тарасюк был сатрапом, он проводил политику, а не придерживался инструкции. На инструкции он плевать хотел, он их сам издавал и отменял. Намятов же придерживался точного смысла и буквы инструкции.

Нет, злым он не был, он никогда не причинял никому зла, если это не предписывалось инструкцией. И малое количество добра, предусмотренного инструкцией, он выдавал, не утаивая ни одного его грамма. Но он отказывал в свидании с сыном-заключенным матери, которая недели к нам ехала на поезде, на машине, плыла лодкой, шла пешком через тайгу и болото: она не знала, что разрешение следует получать в Соликамске, а не в том месте, где находится ее сын. И переубедить его никто не мог.

Трудно передать мне всю степень злобы, которую заключенные питали к Намятову. Впрочем, не одни заключенные. Я как-то был свидетелем довольно занятной сценки. Намятов встретил недалеко от зоны крестьянку-спиртоноску. Ближайшую деревню от лагеря отделяло 42 километра заболоченной тайги. Но много женщин из этой деревни подрабатывали на продаже заключенным водки или спирта. Деньги у заключенных были: их работу начали оплачивать почти по вольным расценкам, удерживая, конечно, все налоги, а также стоимость содержания конвоя, надзирателей и самого капитана Намятова. Все равно на руки и после этого выдавали довольно много денег. Большинство этих денег отбиралось бригадирами, «паханами», «законниками» и многими другими из разряда «пасущих»... И на них покупалась водка. Через бесконвойных или конвоиров. Для последних — солдат, получающих три рубля в месяц — это была единственная возможность выпить.

Намятов задержал у зоны подозрительную «вольняшку», которая несла в мешке две четверти спирта. К месту интересного происшествия сбежались все,

кто имел такую возможность. Капитан поступал строго по инструкции: он объяснил колхознице, что она совершила преступление, предусмотренное двумя параграфами Уголовного кодекса, что он сейчас ее отведет в штаб отделения и составит протокол, затем он взял за горлышко полную, запечатанную красным сургучом четверть и ударил ее о сосну. Позади меня что-то упало на землю. Я обернулся. Молоденький солдат свалился в обморок...

Намятов был очень верующим. Конечно, не в Бога, а во все то, что он изучал в школе, где готовили начальников для лагеря; в политкружках, где истоиво занимался; во все то, что он читал в рекомендованных инструкцией периодических изданиях и книгах. Этим он также отличался от Тарасюка, который, конечно, не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий гай. А Намятов верил истоиво, не позволяя ни в чем, хоть в самом малом, усомниться. В частности, он был убежден в законченном социалистическом характере учреждения, где служил и которому искренне отдавал все силы. И в предусмотренной инструкциями воспитательной работе с вольнонаемным составом и «контингентом» Намятов часто и охотно об этом распространялся.

Однажды, когда я принес ему на подпись пронормированные рабочие сведения, он мне начал что-то выговаривать. Кажется, он был недоволен тем, что в его социалистическом предприятии выработка на одного лесоруба чрезвычайно мала. Мне это надоело, и я ему сказал:

— Ну, чего вы огорчаетесь, гражданин капитан, что в леспромхозе выработка выше? У нас же не социалистическое предприятие.

Намятов откинулся в кресле и посмотрел на меня как-то странно, испуганно.

— То есть как это не социалистическое?... А что же мы?

— Пережиток капитализма.

— Что?! Выходит, я служу в пережитке?

— Конечно, в пережитке. Как писал Ленин в «Государстве и революции», определенные пережитки капиталистического государства в виде тюрем и прочего сохраняются и в нашем обществе. Об этом же совершенно точно сказано у Маркса. Вы везде читали, что наши фабрики и заводы, совхозы являются последовательно-социалистическими предприятиями?

— Да...

— А где-нибудь и когда-нибудь вы видели слова: «социалистическая тюрьма», «последовательно-социалистический исправительно-трудовой лагерь»? Никогда!

Наша теоретическая дискуссия окончилась в общем-то банально. Намятов вызвал надзирателя, приказал надеть на меня наручники и отвести в «отдельно отстоящее помещение». Дело обошлось без справок от врача. Тюфяка мне тоже не дали.

На другой день надзиратель меня вывел из кондея и повел к начальнику. Намятов был хмур, бледен и как-то измят. Он строго мне сказал:

— Идите на работу. И запомните: Маркс и Ленин писали не для заключенных, которых не касается то, про что учит марксизм-ленинизм...

Очевидно, он потратил целый день, чтобы связаться с политотделом Управления лагеря и выяснить меру преступности моего заявления. И укрепить свою собственную веру в социалистическую непорочность.

Я не мог не восхититься железной логикой инструктора или кого там еще, с кем разговаривал Намятов. Конечно, наш мир существовал отдельно от того, в котором живут другие люди и в котором мы жили раньше сами. Хотя мы оставались неотъемлемой частью этого мира. Искусственное разделение

этих миров входило в систему иллюзий, на которых все строилось.

В рассказ о Намятове я хочу вклинить другую историю, другое наблюдение, подтверждающее слова Антонио, что в тюрьме дело не в инструкциях тюремщику, а в самом тюремщике.

«По новой» Рику и меня посадили в разное время. Ее — почти на год раньше меня, в марте сорок девятого. Полгода она сидела в Ставропольской внутренней, потом немного в городской, а затем ее отправили в краевую пересыльную тюрьму, откуда она должна была быть доставлена этапом в Красноярский край в пожизненную ссылку, на вечное поселение. Все это я выяснил в Ставрополе, где занимался делом уже мне знакомым по тридцать седьмому году: записывался в очередь к прокурору, каждую неделю ходил в «Бюро справок» местного НКГБ, доставал деньги на передачу, с нетерпением ждал дня передачи и проводил весь этот необыкновенно важный для меня день в очереди у стены внутренней тюрьмы. Времени для этого у меня было достаточно. После ареста жены меня немедленно уволили с работы. По ночам я занимался «негритянской» работой: писал лекции по вопросам марксистско-ленинской философии, истории партии и состояния советской литературы для лекторов крайкома партии. Среди лекторов у меня нашелся щедрый и обильный работодатель, который мне давал писать лекции для себя и нескольких своих товарищей. На гонорар я кормился сам и кормил передачами Рику.

Я уже узнал, что никакого нового дела у жены нет, что ее арестовали по старому делу и что она просто напросто ждет в тюрьме постановления Особого совещания, приговаривающего ее к пожизненной ссылке. Мне — это через несколько месяцев хождений в приемную НКГБ — объяснил прокурор по спецделам — спокойный, седой полковник. Когда я узнал, что ее по старому делу отправляют в ссылку, я не удержался и спросил полковника:

— Как же это может быть? Ведь она же отбыла наказание за то, за что была арестована в тридцать седьмом. А по закону разве можно наказывать два раза за одно и то же преступление?

Полковник удивленно на меня посмотрел:

— По закону, конечно, нельзя. Но при чем тут закон?

Он же в другой раз, когда я у него поинтересовался, поедет ли жена в этап в теплушке или же в «стольпинском» вагоне, с достоинством ответил:

— У нас нет «стольпинских» вагонов. У нас советские вагоны. В нем и поедет ваша жена в ссылку...

Через полгода у меня не приняли очередную передачу, и я узнал, что Рику отправили в Георгиевск, в краевую пересыльную тюрьму. Как всегда в таких случаях, у людей развивается совершенно им несвойственная энергия, инициатива и сообразительность. Я каким-то образом достал от одного знакомого письмо к начальнику Георгиевской пересылки, одолжил деньги и выехал в Георгиевск с такой поспешностью, что прибыл в город чуть ли не раньше, чем этап, которым ехала жена.

У меня был домашний адрес начальника пересылки, которому я собирался вручить письмо с просьбой оказать мне возможное содействие. Я разыскал тихую улицу на окраине Георгиевска, нашел дом, открыл калитку и вошел во двор. Во дворе стояли козлы, лежало бревно, высокий старик в военной форме один пилил бревно двуручной пилой. Я невольно пожалел старика; трудно пилить одному двуручной пилой. Я спросил, здесь ли живет начальник тюрьмы.

— Я начальник пересыльной тюрьмы, — сказал старик. — Что бы вы хотели? Садитесь. Вот скамейка, она чистая...

Это было довольно неожиданно для меня. Я знал, что такое начальник тюрьмы вообще, а начальник пересылки в особенности. Пересылки, где необходимости нет даже для видимости отчитываться за «использование рабочей силы». И вот пилит себе дрова двуручной пилой!

Начальник тюрьмы внимательно прочитал письмо, потом вернул его мне и сказал:

— Иван Иванович просит меня оказать возможное содействие вашей жене. Но, может быть, вы не знаете, что дальнейшая ее судьба от меня не зависит. Она поступает сюда с готовым определением места назначения. Время формирования и отправки этапа также не зависит от меня. Единственно, в чем я могу вас успокоить: здесь ее здоровью ничто не угрожает. Чтобы передать ей письмо, посылку, отправить деньги, получить свидание — от меня ничего не требуется. В приемный час приходите в тюрьму, и вам все сделают.

Я ушел от необычного начальника, раздосадованный неудачей. Но в этот же день, постояв часа два три в очереди, очень быстро подвигавшейся, я сделал все, о чем мечтал. У меня приняли передачу и письмо, объяснили, что я могу каждый день посылать жене прямо с городской почты письма и деньги. Письма она будет получать на следующий же день, деньги будут начисляться на ее тюремный счет и выдаваться по ее просьбе. Свидание я могу получить сегодня же, во второй половине дня. Все мне разъяснили быстро, толково и, как мне показалось, с той интонацией обязательности, которую я не встречал даже в таких нейтральных учреждениях, как сберегательная касса.

Потом, долгое время спустя, когда Рика рассказывала мне о своих тюремных делах, она захлебывалась от удивления, вспоминая Георгиевскую пересылку. В пересылках Рика понимала. Она их прошла в огромном количестве в начале 38-го года в этапе от Москвы до Мариинских лагерей в Сибири и из Мариинска до Устьыма... А осенью и зимой 49-го года она ехала в ссылку тем вагоном, который прокурор с гордостью назвал «советским». А это значило, что она переходила из пересылки в пересылку по всему длинному пути от Северного Кавказа до Красноярского края. Нет, что такое пересылка, мы хорошо знали! Это липкая грязь, оставшаяся от прошедших этапов; вши и клопы; часовые очереди в бане, где дают шайку воды, которой можно только размазать грязь на теле; жарка, в которой какими-то чудесными способами на одежде сгорал мех и плавилась пуговицы, но выживали насекомые. И неутолимый голод, потому что в пересылке почти легально можно не кормить арестантов; грабег обслуги, звериная ярость охраны... В пересылке всегда «чужие». Сегодня пришли, завтра уйдут и никогда больше здесь не появятся. Это порождает к этапникам чувство абсолютной безответственности. С ними можно делать все. И с ними делали все.

И вот — Георгиевская пересылка. Где камеры не только подметены, но и вымыты. Полы, нары. Где кормят настолько сытно, что исчезает постоянный этапный голод. Где в бане можно мыться по-настоящему. Где даже есть — Рику это поразило больше всего! — специальная комната со всеми приспособлениями, где женщины могут совершать свой туалет... В этой тюрьме письма передаются быстро, а телеграммы — в любое время. И каждый день в камеры приносят свежие газеты. И никогда не лишают прогулок. И ежедневно лавочка. Довольно большой выбор продуктов. Продуктов этапных: сушек, плавящихся сырков, сахара, махорки, спичек...

А самое главное, самое непривычное, непонятное — какая-то атмосфера сочувствия. Может быть,

нам казалось, что выполнение инструкций и есть сочувствие? Нет, пожалуй, нет. Перед этапом Рикку вызвал начальник КВЧ и сказал, чтобы в этапе у нее — имелись в виду и все другие — было бы на руках только девять рублев. Рика была достаточно опытной арестанткой, чтобы понять. Все, что оказывалось выше этой суммы, отбиралось конвоём и практически исчезало навсегда. Значит, лишние деньги надо прятать так, чтобы их не нашли при шмоне. Ну, эта задача не особо трудная. Даже при самом тщательном этапном обыске арестант может унести с собой все что угодно, включая разобранный танк среднего размера.

Впрочем, несмотря на полное доверие, которое я питал к рассказам жены, я получил возможность проверить лично. Через год я сам попал в Георгиевскую тюрьму и те месяцы, что я там провел, не переставал удивляться. Не задаете, сытному питанию, а присутствию человечности в том максимуме, какой только может быть в тюрьме.

Тюремщик обязан выполнять все многочисленные инструкции. Каждая направлена на то, чтобы как можно больше стеснить арестанта, сделать его жизнь еще мучительнее. Это касается всего. Если он тебя ведет на допрос или на opravку, то заставляет держать назад руки, поворачиваться лицом к стене и замирать, как только надзиратель стукнет ключом по пряжке своего пояса. Если он выдает передачу, то все разрежет, перекрошит, перепробует, сделает все, чтобы лишить передачу самого в ней главного — домашности... И, отведя на opravку, не считается с тем, как работает твой кишечник, а гонит назад, не дает сполоснуть лицо и руки... А самое главное — тюремщик не должен вступать ни в какие хоть сколько-нибудь человеческие отношения с арестантами. Не имеет права разговаривать, задавать вопросы, выслушивать ответы, сам отвечать на вопросы. Он не должен сочувствовать, улыбаться, смеяться, плакать — словом, проявлять свои человеческие свойства.

И все же находятся тюремщики, которые старательно выполняют все инструкции — они не могут их не выполнять! — кроме одной неписаной, но самой главной: не проявлять никакой человечности. И я, и Рика, и множество моих товарищей иногда встречали таких. Рика мне рассказывала про одну надзирательницу ставропольской внутренней тюрьмы. Было известно, что ее зовут Клава. Она делала все, как надо. Но ей почему-то нравилась Рика. Она ее не торопила в уборной, никогда не повышала голос, всегда назначала Рикку выносить мусор. А это практически вторая прогулка. Мусор надобно относить на какой-то дальний, третий тюремный двор. Для этого нужно идти через огромные дворы. По дороге Рика с ней разговаривала. Собственно, говорила одна Рика — Клава ей не отвечала, да и грамотная Рика не задавала никаких вопросов. Просто Рике было приятно говорить, что вот хорошая погода, и как здорово выйти на двор раздетой, и что в углу двора расцвели какие-то цветы... Клава слушала. И улыбалась...

Конечно, улыбка надзирателя — первый шаг к отступлению от инструкций. Потом Клаву перевели в передаточную. Ну, которая принимает передачи для заключенных. Вот тогда и я с ней познакомился.

Передача — вещь невероятно важная в наших тюрьмах. Это единственная возможность дать о себе знать и что-то узнать о сидящем в тюрьме. Передачи принимали раз в неделю, а потом раз в десять дней. Я начинал к ней готовиться задолго. Доставал деньги, обдумывал, что купить, готовил тару. Тара — это очень важно! Увидеть на несколько минут масленку из дома, знакомую тарелку, чашку, которую видела у приятелей, — это ведь целый язык, настоящий разговор... Вот такие-то посылают тебе домашний творог — узнаешь эту чашку? Я в порядке, живу у Жени — ты же помнишь эту тарелку с отбитым краем?..

И описать того, что передаешь. Конечно, разрешается только перечисление продуктов. Но как это важно — увидеть родной почерк! Клава не торопила Рикку ставить быстро фамилию под список передачи. Она терпеливо ждала, пока Рика тщательно — чтобы было как можно больше слов! — выписывала день, и месяц, и то, что все-все она полностью получила, и свое имя, свою фамилию — это же письмо! И можно было через Клаву передать просьбу: принести то-то и то-то... Однажды Клава мне вернула папиросы и улыбаясь — да-да, улыбаясь! — сказала:

— Ваша жена возвращает папиросы, потому что начиная с этого дня она бросает курить. Она просила передать, что с этого дня...

То был наш день, то был подарок мне, и Клава это понимала и радовалась своему соучастию моей радости... А однажды, в день рождения Рики, я, поддавшись нелепому авантюризму, влил в банку компота, который передал Рике, немного вина. Клава быстро принесла банку назад и сказала:

— Ваша жена не хочет компота. — И тише: — Никогда больше так не делайте, ее могут навсегда лишить передач...

Да, у Клавы установились запрещенные законом человеческие отношения со мной и Рикой. Как-то она вернула мне передачу и с тревогой в голосе сказала:

— Выбыла из тюрьмы. — И потом быстро: — Идите в городскую, там сегодня передача, вы успеете...

Не знаю, запомнила ли она мою фамилию — сколько таких было! — но меня она запомнила. Когда через семь месяцев я сидел во внутренней тюрьме и Женя, квартирная хозяйка, сделала мне передачу, Клава с надзирателем вошла в одиночку, где я находился, положила передачу на стол, обернулась и, несмотря на то, что я был уже серый, остриженный, поросший седой щетиной, мгновенно узнала. Она побелела — это было заметно даже в тюремной камере, — и глаза ее стали такими испуганными и печальными, что мне с трудом удалось соблести свою невозмутимость. И я был рад, что эта передача оказалась единственной и что я больше Клаву в тюрьме не встречал.

(Окончание следует).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ЮНОСТИ»!

Мы хотим поделиться с вами приятным известием — нашего и вашего полку прибавило. В новом году у нас прибавилось 266 833 подписчика. Пусть вас не удивляет такая точность — нам симпатичен каждый читатель, решивший обзавестись годовым комплектом журнала.

Правда, тираж «Юности» останется на уровне прошлого года (ведь не только у нас прибавилось подписчиков). Поэтому количество поступающих в розничную продажу журналов сократится на те самые двести семьдесят тысяч. Об этом мы и спешим уведомить тех, кто не успел или не смог подписаться на «Юность».

Это можно сделать с любого месяца без всяких ограничений.



Марина
КУДИМОВА

☆☆☆

Ахматова проснулась знаменитой
И научила женщин говорить.
А я проснулась вялой и разбитой
И думала:— О чем тут говорить!

Какие непосильные загадки
Приходится разгадывать порой...
И жизни расправляемые складки
Вновь морщатся под нервной рукой.

И дождь то барабанным боем лупит,
То затихает, скучно моросит,
И свой не видит, а чужой не любит,
И есть чернила, да бумага вся.

☆☆☆

Ты солдат или не солдат?
В УЧПЕДГИЗ пиши, в ГОСИЗДАТ!

Ты буй-тур или не буй-тур?
Мало, что ль, аббревиатур?

Излечась от каверн и скверн,
В МОПР пиши или в КОМИНТЕРН!
В КОММУНХОЗ, ОРУД и ОСВОД...
Не дойдет, кричишь, не дойдет!—
Как Исайя, кричал, пророк...
Превзойден болевой порог,
Испохабилось ремесло...

Не дошло, кричишь, не дошло!

А на полюсе или за
Ванька Жуков протер глаза,
Послунил, заклеил конверт:
Комитасу, Степанакерт.

☆☆☆

Весна — окончание срока,
Отсиженного без вины.
А истина и подоплека —
Кому они нынче страшны?

И вот, оснащенная справкой,
Что все начинается с нуля,
Скрывает щекотною травкой
В правах пораженья земля.

И кажется, прерван навеки
Ее цепенящий простор.
Лишь вязы, как старые зеки,
Пугают сухой чернотой.

☆☆☆

Революцию делать! И это при нашей зиме?
Моментально замерзнет вода в батареях.

Прав Булгаков:
пространства потонут во тьме...
Нет, увольте,—
широты иные, чем в гиперборейях.

На дорогах сейчас же начнется разбой,—
Сохрани и спаси, непорочная дева Мария!
И, пока разберутся верхи

с фракционной борьбой,
Верх возьмет антисанитария.

Как великий почин поедался тифозною вшой!
Как герои у Зощенко вечно желали помыться!
Как не книжный народ, тяготясь шелудивой душой,
Наравне христарадничал хлеба и мыльца!

А иначе откуда в недалеком былом
Воцарился бы слог

травматический и абортивный?
То великая чистка, то этакий же перелом,
То застойный период, совсем уже богопротивный.

И каких безобразий
Тарковский не взял в свой пейзаж?
Мозга в дранках костей?

Или тряпки в свидетельствах регул?
Что рысцей обегал современник, конечно, не наш,
То уж наш современник, конечно, трусцою обегал.

☆☆☆

И стихия шельмует в неравной борьбе,
И дитя предается разбою,
Но, по замыслу, время идет не себе,
И звезда занята не собою.

И века на Земле наступают подряд
Для титанов и сплюснутых камбал.
Потому-то и люди с тобой говорят
Как со знающею — без преамбул.

И когда достучишься в небесный ОВИР,
Что положено, с треском отмаяв,
— Отойди, мое «эго», не засти мне мир,—
Пошути, как шутник Чаадаев.

☆☆☆

Спите, мои дорогие товарищи!
Мы не бездарны, но обездаровши.
Речь задавило иго учености.
Мы — запрещенные невоплощенности.

Мутной водой заполняются соты,
Чтобы не слишком зияли пустоты.

Для невинных лютей наказанья:
Невыполнимы иносказанья.

Вьлетит наша слюна, как влетела,
Вон у народа из черного тела.

Голод его не насытит акридам,
Не обучившимся текстам открытым.

Владимир
ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Роман-анекдот
в пяти частях



Рисунки Г. Новожилова

Продавщица Раиса сидела у себя в магазине, размышляя над непонятным. Вчера она получила в райпотребсоюзе партию товара и, решив использовать лошадь, поехала сразу не домой, а совсем в другую сторону, к золовке, жившей за двенадцать километров от Долгова. У золовки она выпила красного вина, послушала патефон, сама попела, легла поздно и поздно встала. Потом, пока позавтракала (опять с красным вином), пока запрягла, часу в двенадцатом только выехала. В пути пробыла долго, никого не встретив. И наконец прибыла в деревню, ничего не ведая относительно происходящих в мире событий. Правда, при въезде в деревню она видела большую толпу возле конторы, но не придала увиденному значения, подумав: «Может, просто так».

Подъехав к магазину, Раиса разгрузила товар и стала раскладывать по полкам. Вот тут-то и появилась перед ней баба Дуня. И попросила продать ей пятьдесят кусков мыла.

— Сколько? — оторопела Раиса.

— Пятьдесят.

— Да куды ж тебе столько? — недоумевала Раиса.

— Да ведь, Раюшка, когда такие дела творятся, — заискивающе сказала бабка, — надо же и запастись.

— Да какие ж такие дела?

— Да ведь... — Баба Дуня хотела сослаться на вероломное нападение, но вовремя сообразив, что Раиса не имеет об этом понятия, стала бормотать что-то насчет прибывающих к ней гостей. Раисе такое объяснение не показалось удовлетворительным.

— На что ж гостям столько мыла? — не могла она дойти своим умом до сути. — Ну два куска, ну три, ну десять. Но полсотни на что ж?

— Мало ли, — уклончиво покачала головой баба Дуня, но отступить вовсе не собиралась.

— Коли уж тебе так надо, бери, — сдалась Раиса. Она вытащила из угла распечатанный ящик с мылом, в нем оказалось всего тридцать восемь кусков, из них два Раиса взяла себе.

— А мешочка не дашь? — спросила баба Дуня, провожая отложенные два куска сожалением взглядом.

— А возвернешь? — спросила Раиса.

— Как же не возвернуть! — Баба Дуня даже обиделась. — Мне, Раюшка, чужого не надо, чай не ворюжка.

Раиса помогла уложить купленное в грязный мешок и выбросила на прилавок.

— Еще чего?

— Сольцы бы, — помявшись, вздохнула бабка.

— Сколько?

— Да пудика полтора.

— Ты что, бабка, одурела, что ль? Что ты с ей будешь делать-то, с солью?

— Капустки засолить надо, огурцов, помидоров.

— Какие ж сейчас огурцы да помидоры? Может, ботву засолишь?

— Можно и ботву, — согласилась баба Дуня. — А потом оно ж, знаешь, как бывает. Нынче соль есть, а завтра нету, либо соль есть — денег нет. Так что ты уж не сердчай, а отпусти мне сольцы-то.

— Ну ладно, — сдалась Раиса. — Пуд дам, больше и не проси.

— Ну давай хоть пуд, — уступила и старуха, предвидя, что время ее на исходе.

Сыпать соль было некуда. Пришлось выложить мыло, насыпать соли, потом переложить газетами и сверху набросать мыло.

Продолжение. Начало см. в № 12 за 1988 год.

— Все, что ли? — с надеждой спросила Раиса. Старуха помялась и нерешительно спросила: — Спичек бы мне еще.

— Сколько? — тоскливо спросила Раиса. — Тыщу коробков?

— Да ты что, тыщу, — благородно вознегодовала старуха. — Коробков сто, боле не надо.

— Десять дам, — сказала Раиса.

Сошлись на двадцати. Бабка больше спорить не стала, покидала спички в мешок. Раиса, прикинув на счетах, назвала сумму. Баба Дуня запустила руку под трикотажные рейтузы, долго шарила, затем вытащила узелок из грязной цветастой тряпицы, набитой сложенными один к одному рублями. Старуха была не шибко грамотна, но деньги считать умела. Несмотря на это, она выкладывала свои рубли по одному, каждый раз останавливаясь и глядя на Раису в мистической надежде, что та скажет «хватит». Раиса была терпелива и дождалась, покуда бабка выложит все, что нужно. На оставшиеся деньги старуха купила два килограмма сухих дрожжей, шесть пачек грузинского чая, две пачки зубного порошка «Утро» и для племянницы маленькую куклу в картонной коробке, на которой было написано: «Кукла Таня № 5 в шляпе».

После этого старуха не стала терять время даром и взвалила мешок на плечо.

— Гляди, бабка, как бы пупок не развязался! — крикнула ей вдогонку Раиса.

— Не бойсь, — ответила бабка и скрылась за дверью.

Не успела Раиса обдумать странное поведение бабы Дуни, как дверь распахнулась, в магазин вбежала Нинка Курзова. Косынка сбилась набок, волосы распатланы, лицо красное. Не поздоровавшись, стала шарить воспаленными глазами по полкам.

— Тебе чего, Нинок? — доброжелательно спросила Раиса.

— Чего? — Нинка стала лихорадочно соображать, что именно ей нужно, но то, что помнилось по дороге, теперь вдруг вылетело из головы.

— Ну, а все ж таки?

— Мыло есть? — вспомнила Нинка, чего хотела.

— А много тебе? — осторожно спросила Раиса, покосившись на те два куска, которые оставила для себя.

— Сто кусков, — лягнула Нинка.

— Да вы посбесились, что ли? — не выдержала Раиса.

— Ну, девяносто, — сбавила Нинка.

— А сто девяносто не хошь?

— Давай сколько есть, только быстрее, — согласилась Нинка.

— Да где ж я тебе возьму, когда баба Дуня только что все забрала.

— А, баба Дуня!

Нинка кинулась к дверям, но Раиса поспела раньше и загородила собой выход.

— Пусти! — ткнулась в нее Нинка.

— Погоди, Нинок, скажи мне, что это вы все за мылом бегае? Чего случилось-то?

На какой-то миг Нинка оторопела и удивленно уставилась на Раису.

— А ты не знаешь, что случилось?

— Не.

— Ну и дура! — сказала Нинка и, оттолкнув Раису, выскочила наружу.

8

Баба Дуня тащила свою добычу. Ноша была нелегкая. Одной соли пуд, да мыла тридцать шесть кусков по четыреста граммов каждый. Плюс к тому два килограмма дрожжей, зубной порошок, кукла Таня

№ 5 (да еще в шляпе) и на мешок килограмм надо накинуть. Что ни говори, тяжесть получилась порядочная. Чем дальше, тем чаще старуха отдыхала, прикладываясь мешком к близлежащим заборам. Однако ж, говорят, своя ноша не тянет. И сознание удачного приобретения прибавляло сил. И вот, когда, отдохнув последний раз, баба Дуня была уже рядом со своей избой, когда оставалось ей шагов, может быть, десять, от силы пятнадцать, кто-то сзади резко дернул мешок.

Баба Дуня обернулась и увидела Нинку Курзову.

— Бабка, скидывай мешок, будем делиться, — быстро сказала Нинка.

— Ась? — В момент личных катаклизмов баба Дуня сразу глохла на оба уха.

— Давай делиться, — повторила Нинка.

— А кто ж у меня будет, Нинушка, тельиться? — посетовала старуха. — Я корову свою еще запрошлый год продала. Мне ее не прокормить. А коза зимой окотилась, а весной околела. — Бабка сокрушенно качнула головой и улыбнулась.

— Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, — сказала Нинка.

— Нет, — отказалась бабка, — полы не мыла. Не успела.

— Бабка, — устало сощурилась Курзова. — Давай делиться по-хорошему. Не то все отберу. Поняла?

— Не подняла, — вздохнула старуха. — Нешто с моими силами...

— Бабка! — Начиная выходить из себя, Нинка опустила мешок, ухватила старуху за грудки и закричала ей в самое ухо: — Ты, бабка, болтай что хошь, а мыло давай. Что ж тебе все одной? У меня тоже семья и дети... скоро будут. Скидывай мешок, не тни.

— А, ты насчет мыла! — против желания догадалась старуха. — А ты поди к Раисе, у ней есть.

— Врешь! — крикнула Нинка.

— Ты не кричи, — обиделась бабка, — я, чать, не глухая. Надо тебе, попроси — дам. А как же. Все ж таки суседи. Ежли мы друг дружке помогать не будем, то кто ж?

Бабка опустила мешок на землю и, испытывая Нинкино терпение, долго его развязывала непослушными пальцами. Потом запустила внутрь руку и стала шарить, общипывая куски. Ей хотелось выбрать кусок поменьше, но каждый следующий казался ей больше предыдущего. Наконец, она вздохнула, вытащила один кусок и положила перед собой на траву. И посмотрела печальным взглядом. Конечно, это был слишком большой кусок, и старуха мысленно резала его пополам, но воображение Нинки рисовало совсем иную картину. Баба Дуня еще раз вздохнула и стала завязывать мешок.

— Погоди, бабка! — Нинка опять ухватила за мешок. — Ты это брось, давай дели по-честному. — Сколько там есть, половину тебе, половину мне. Не то все отберу.

— Нинок, ты что? — всерьез забеспокоилась бабка. — Обижаете старуху. Я ведь тебя еще маленькую в колыске качала. Ты уж лучше пусти, не то закричу.

— Кричи, кричи! — сказала Нинка и толкнула старуху в грудь.

— Батюшки! — всхлинула баба Дуня, валясь на спину.

Не обращая на нее никакого внимания, Нинка схватила мешок и кинулась прочь. Пробежав несколько шагов, остановилась, вернулась, подцепила с земли тот кусок мыла, который выкладывала баба Дуня, и побежала обратно. Но тут кто-то схватил сзади мешок.

— Ух ты, вражина! — замахнулась Нинка, думая, что это баба Дуня. Но, обернувшись, увидела перед

собой Мишку Горшкова, за которым стояла Тайка.
— Не спеши,— улыбнулся Мишка.— Давай поровну.

— Шас поровняю,— сказала Нинка, дергая мешок к себе.— Спешу аж падаю.

— И-и! — завизжала Тайка и вцепилась в Нинкины волосы.

— Грабют! — вскрикнула Нинка и двинула Тайке ногой в живот. А из-за огорода Степана Фролова уже надвигалась огромная толпа, во главе ее стремился Плечевой и размахивал над головой колом, выдернутым из чьего-то забора.

9

Когда председатель Голубев, парторг Килин, а за ними и Чонкин прибыли к месту происшествия, глазам их предстало неповторимое зрелище. Участники митинга, сбившись в один клубок, представляли собой многоголовую, многорукую и многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми своими головами и конечностями, как бы пытаясь вырвать что-то из собственного нутра. Отдельные люди были заметны частично и лишь в перепутанном виде. У председателя кольхнулись на голове редкие волосы, когда он увидел у вылезавшего из кучи Степана Фролова женские груди, которые при дальнейшем рассмотрении оказались принадлежащими Тайке Горшковой. Две разведенные в стороны ноги в парусиновых сапогах стремились втянуться обратно, а третья, с задранной штаниной, босая, торчала вертикально в виде антенны, и на ней от щиколотки до колена синела размытая временем татуировка: «правая нога».

Грустная эта картина дополнялась собаками, которые, сбежавшись со всей деревни, носились вокруг общей неразберихи и отчаянно лаяли. Среди них Чонкин, к удивлению своему, заметил и кабана Борьку, который бегал, хрюкал и визжал больше всех, словно пытался показать себя самой главной собакой.

Друга своего и соседа Гладышева Чонкин нашел неподалеку стоящим над схваткой. Заложив руки за спину, с болью за своих односельчан наблюдал Кузьма Матвеевич вскипевшие страсти.

— Вот, Ваня, тебе наглядное доказательство, от кого произошло это животное, которое горделиво называет себя человеком.

Гладышев посмотрел на Чонкина и грустно покачал головой. Тут гидра выплюнула к ногам селекционера полураздавленный кусок мыла.

— Вот из-за чего люди теряют свой облик,— указал Гладышев на предмет всех несчастий и брезгливо подел его носком сапога. И пошел прочь, подталкивая объект своего презрения ногами, как бы в научной рассеянности. Но не прошел он и пяти шагов, как сбоку вывернулся какой-то мальчишка, подхватил на бегу этот жалкий кусок и, уклонившись от жесткой руки селекционера, кинулся наутек.

— Вот она, наша молодежь,— сообщил Гладышев, вернувшись к Чонкину,— наша смена и наша надежда. За что боролись, на то напоролись. На страну нападет коварный враг, люди гибнут за Родину, а этот шкет последний кусок мыла рвет у старого человека.

Гладышев тяжело вздохнул и надвинул шляпу на лоб, напрасно ожидая от судьбы очередного подарка.

10

После минутной растерянности Килин и Голубев вступили в неравный бой с несознательной толпой. Посоветовав парторгу зайти с другой стороны, председатель очертя голову ринулся в свалку и через некоторое время выволоч наружу Николая Курзова

36

в изорванной рубаше с прилипшим к плечу ошметком мыла и головой, убитой зубным порошком.

— Стой здесь! — приказал ему Иван Тимофеевич и нырнул опять в кучу, но, добравшись до самого дна, нашел там все того же Курзова уже не только в изорванной рубаше, но с расквашенным носом и четким отпечатком чьего-то сапога на правой щеке.

Несмотря на обычную мягкость характера, Голубев рассвирепел. Вынырнув с Курзовым на поверхность, он подвел его к Чонкину и попросил:

— Ваня, будь друг, посторожи. Если что, сразу стреляй, я отвечаю.

Председатель в третий раз кинулся к гидре, и она его поглотила.

Курзов, поставленный под охрану, сразу же успокоился, никуда больше не рвался, стоял, тяжело дыша и трогая пальцем распухший нос.

А Чонкин искал глазами Ньюру, которая была где-то там, в этой свалке, и нервничал, боясь, что ее задавят. И когда перед ним мелькнуло знакомое платье, Чонкин не выдержал.

— На, поддержи.— Он сунул винтовку Курзову и подбежал к свалке, надеясь, что ему удастся схватить и вытащить Ньюру. Тут кто-то сильно толкнул его в бок. Чонкин пошатнулся и оторвал от земли одну ногу, пытаясь восстановить равновесие, но его дернули за другую ногу, и он повалился в общую кучу. Его закрутило, как щепку в водовороте. То он оказывался в самом низу, то выплывал вверх, то опять попадал в середину между телами, пахнущими потом и керосином. И кто-то хватал его за горло, кто-то кусал и царапал, и он тоже кусал и царапал кого-то.

Когда он очутился на самом дне и его проволокли затылком по земле и рот засыпали пылью, а глаза зубным порошком и он, кашляя, чихая, отплевываясь, рванул обратно, в этот самый момент лицо его утонуло в чем-то мягком, теплом, родном.

— Никак Ньюрка! — всхлипнул он сдавленно.

— Ваня! — обрадовалась Ньюра, отпихиваясь от кого-то ногами.

Говорить оба были не в состоянии и лежали, уткнувшись друг в друга на дне бушевавшей стихии, пока кто-то не заехал Чонкину каблуком в подбородок. Он понял, что пора выбираться, и попятился назад, подтаскивая Ньюру за ноги.

11

— Ну вот,— сказал парторг Килин, держа в руках мешок с остатками ширпотреба.— Теперича дело другое. Теперича вы обратно сберетесь, и митинг мы все же закончим. А кто думает не так, тот из этого мешка ничего не получит. Пойдем, Иван Тимофеевич.

Килин перекинул сильно полегчавший мешок через плечо и двинулся первым.

На месте бывшего побоища, сидя в пыли, плакала баба Дуня. Она плакала, обхватив голову черными, кривыми от подагры ладонями. Чуть в стороне лежала растерзанная картонная коробка и отдельно от нее кукла Таня № 5 без шляпы и с надорванной головой.

Плечевой взял старуху под локотки, помог подняться.

— Пойдем, бабка,— сказал он.— Нечего плакать, пойдем похлопаем.

12

Не успели сбиться на прежнем месте, за околицей возник столб пыли и стал быстро передвигаться к конторе. Народ шархнул. Столб покружился возле конторы и опал. Из пыли возникла «эмка». Народ удивился, начальство забеспокоилось. Раз

«эмка», то не иначе как кто-то из области. В районе даже первый секретарь товарищ Ревкин передвигается исключительно на «козле».

Из «эмки» высыпали какие-то люди с блокнотами и фотоаппаратами. Один подбежал к задней дверце, распахнул ее. Из дверцы выдвинулся сначала огромный зад, обтянутый синим, а затем показалась и вся обладательница зада, крупная женщина в бостоновом костюме, белой блузке и с орденом на левой груди.

— Люшка, Люшка,— сухим листом зашелестело в толпе.

— Здорово, землячки! — громко сказала приезжая и сквозь почтительно расступившуюся публику направилась к крыльцу. По дороге отдельно кивнула Плечевому, который смотрел на нее иронически: — Здравствуй, брат!

— Здорово, коли не шутишь,— ответил Плечевой.

Тут женщина заметила хилого мужичонку Егора Мякишева, жавшегося в толпе.

— Егор! — Она метнулась в толпу и вытащила Егора на середину.— Что ж ты супругу свою любимую не встречаешь? Аль не рад?

— Да ну,— смутившись, пробормотал Мякишев и потупился.

— А ты не нукай,— сказала Люшка.— Целуй жену, давно не виделась. Только губы сперва оботри, а то опять, я вижу, яйца сырые лопал.— Она наклонилась к Мякишеву и подставила ему сперва одну щеку, потом другую. Мякишев обтер губы грязным рукавом и приложился куда было указано. Люшка поморщилась.

— Табачищем несет, не дай бог. Ну ничего, табачный дух мужеский заменяет. А уж я-то по тебе как скучала, передать не могу. Как-то там, думаю, супруг мой законный поживает. Не скучно ли ему одному в холодной постеле? А может, кого уже приволок, а? Мякишев, оробев, смотрел на жену, не мигая.

— Да на кой ему кого-то волочь,— громко сказал Плечевой.— Когда он с лошадем живет на конюшне.

В толпе кто-то хмыкнул, остальные притихли. Приехавшие с блокнотами переглянулись между собой. Люшка установилась и уставила на Плечевого тяжелый взгляд.

— Все озоруеть, брат? — спросила она со скрытой угрозой.

— Озоруяю,— охотно согласился Плечевой.

— Ну-ну,— сказала Люшка.— Гляди, доозоруеться.

И, медленно поднявшись по ступеням крыльца, скрылась за распахнутой Килиным дверью.

В кабинете от приехавших гостей стало тесно. Люшка сразу уселась за председательский стол, Килин примостился сбоку, корреспонденты расселись вдоль стен, Голубев встал у сейфа, прижав плечом дверцу.

— Ну что, начальники? — бодрым голосом спросила Люшка.— Как живете?

— Да как живем,— развел руками парторг.— По-простому живем, по-деревенски. С народом вот понемножку воюем.

— А в чем дело? — поинтересовалась Люшка.

— Да так,— уклонился Килин.— Ты про себя расскажи. Все ведь в столице время проводишь. Небось со Сталиным каждый день чай распиваешь?

— Ну каждый не каждый, а бывает, встречаемся.

— Ну и какой он из себя? — живо спросил Голубев.

— Как тебе сказать,— задумалась Люшка.— Очень простой человек,— сказала она, покосившись на корреспондентов,— и очень скромный. Как прием в Кремле, так обязательно к себе позовет, поздоровается за ручку. «Здравствуйте, Люша. Как живете? Как здоровье?» Очень отзывчивый человек.

— Отзывчивый? — живо переспросил председатель.— Ну, а как он вообще выглядит?

— Хорошо выглядит,— сказала Люшка и вдруг заплакала.— Трудно ему сейчас. Один за всех нас думает.

13

Люшка родилась и выросла в бедной крестьянской семье. Летом батрачила, зиму проводила безвылазно на печи, не имея ни валенок, ни штанов. До коллективизации она не могла стать знаменитой дояркой, поскольку полудохлая коровенка, бывшая в хозяйстве, рекордных надоев не давала. Когда же коровенка в результате скудного питания стала и вовсе дохлой, от нее прекратилась всякая польза. К тому же печальному результату могла подойти и Люшкина жизнь, но тут подоспели благостные перемены. В колхоз Люшка записалась одной из первых. Потом дали ей бывших кулацких коров. Правда, тех надоев, что раньше, коровы уже не давали, но по инерции продолжали доиться обильно. Постепенно Люшка становилась на ноги. Приобулась, приделась, вышла замуж за Егора, вступила в партию. Вскоре повсюду стали выдвигать передовиков и ударников, и Люшка по всем данным вполне подошла под эту категорию. В местной и центральной печати появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно — по два в каждую руку. Тут-то все и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка завершила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда. А на реплику товарища Сталина «Кадры! Кадры!» обязалась обучить своему методу всех доярок своего колхоза. «А получится ли у всех?» — лукаво спросил товарищ Сталин. «Да ведь у каждой доярки, товарищ Сталин, по две руки», — бойко сказала Люшка и выставила вперед собственные ладони. «Правильно», — улыбнулся товарищ Сталин и кивнул головой. С тех пор уже и вовсе не видели Люшку в родном колхозе. То она заседает в Верховном Совете, то присутствует на совещании, то принимает английских докеров, то беседует с писателем Лионом Фейхтвангером, то получает орден в Кремле. Пришла к Люшке большая слава. Газеты пишут про Люшку. Радио говорит про Люшку. Кинохроникеры снимают фильмы про Люшку. Журнал «Огонек» на обложке печатает Люшкин портрет. Красноармейцы пишут, хотят жениться.

Совсем заматалась Люшка. Прискачет на день-другой в родную деревню, подергает корову за соски перед фотоаппаратом и дальше. Сессия в сельхозакадемии, встреча с писателями, выступление перед ветеранами революции... И от журналистов никакого спасенья. Куда Люшка, туда и они. Для них сама Люшка стала уже не хуже дойной коровы. Строчат про нее статьи, очерки, песни слагают. Да и сама она, совсем ошалев, поверила уже, что эти все журналисты только для того и созданы, чтобы готовить ей доклады, описывать ее жизнь и фотографировать.

Возникло и ширилось так называемое мякишевское движение. Мякишевки (появилось такое название) брали обязательства, заполнили верховные органы, делились опытом через газеты и красовались на киноэкранах. Коров доить совсем стало некому.

14

— Ну что с вами делать! — с досадой обратился к народу парторг.— Вот вы собрались и стоите. И ду-

37

маете, что организованно стоите. А я отселя, сверху, что-то никакой организованности не замечаю. Я замечаю только, что каждый норовит стать взад, чтобы потом первым бечь к магазину. И вам никому не стыдно. Хоть бы землячку свою постеснялись. Ведь она у нас легендарная. Лично с товарищем Сталиным неоднократно встречалась. А с ней корреспонденты. Они ведь могут про все написать. Я вас, товарищ корреспондент,— обратился он к одному из приехавших,— лично прошу, пропишите и пропечатайте на весь Советский Союз. Пропишите, что в нашем колхозе народ несознательный. Везде сознательный, а здесь нет. Пускай станет им стыдно. Разбrelись, растянулись, как стадо, честное слово. А ну-ка давайте все в кучу да потеснее. И ежели вы не умеете сами по себе стоять, как положено, то я вам скажу так: мужики все возьмитесь за руки, а бабы в середку. Вот и стойте. Хотя так тоже плохо. А хлопать кто будет? Под руки беритесь. Теперь дело другое.

Наведя таким образом порядок, Килин предоставил слово Люшке. Люшка вышла вперед, помолчала немного и начала тихо и по-домашнему.

— Бабы и мужики! — сказала она.— Тяжелое горе обрушилось на нас с вами. Коварный враг напал на нашу страну без объявления войны. А ведь еще недавно притворялись друзьями. Будучи в Москве два года назад, мне довелось видеть ихнего Риббентропа. Правду скажу, не произвел он на меня впечатления. Мужичонка невидный, ну навроде нашего, допустим...— она поискала глазами, с кем бы сравнить, хотя сравнение заготовила загодя...— да навроде Степки Фролова, ну, конечно, побашковитей. Улыбается, все на своем шпрехен зи дейч тосты провозглашает, однако и тогда еще мне Климент Ефремович Ворошилов сказал на ухо: «Ты, Люша, не смотри, что он такой приветливый, на самом деле камень за пазухой ох какой держит». И теперь часто вспоминаю я слова Климента Ефремовича и думаю, да, действительно, камень, бульжник держали эти господа за пазухой. Бабы и мужики! Теперь, когда случилось такое несчастье, нам больше и делать ничего не остается, как сплотиться вокруг нашей родной партии, вокруг лично товарища Сталина. Вот буду в Москве, увижу его, родного, разрешите сказать от вашего имени, что все труженики нашего хозяйства все свои силы отдадут... да не лезь ты в глаза со своим аппаратом,— неожиданно, и ко всеобщему удовольствию, повернулась она к корреспонденту, снимавшему ее, виса на перилах,— сбоку съмай. Все силы отдадут делу повышения урожайности. Все для фронта, все для победы! — Она помолчала, помедлила, собираясь с мыслями. И тихо продолжила:— К вам, бабы, обращение особое. Не сегодня завтра мужики наши, наши отцы, наши мужья, наши братья уйдут защищать свободу. Война есть война, может, и не каждому удастся вернуться. Но пока они будут там, мы здесь одни останемся. Трудно придется. И робята малые, и в избе надо прибрать, и стоготвить, и постирать, и за своим огородом приглядеть, и о колхозном деле не забывать. Хотим мы того или нет, а теперича каждой за двоих, за троих придется работать. И за себя, и за мужиков. И мы это должны выдюжить и выдюжим. Мужики! Идите на фронт, выполняйте свой мужеский долг, защищайте нашу Родину от супостатов до последнего. А насчет нас не беспокойтесь. Мы вас заменим...

Люшка говорила просто, доходчиво, и стоявшие внизу то плакали, то улыбались сквозь слезы. Да и сама Люшка несколько раз приложила платочек к глазам. А потом вместе со всеми своими корреспондентами села в «эмку» и, подняв пыль столбом, укатила в свои высокие сферы.

После митинга, как было обещано, поделили соль,

спички и мыло. Своя доля досталась и Нюре: полкуска мыла, кулек соли да спичек два коробка. Домой она вернулась — уже вечерело. Чонкин сидел у окна и при помощи шила и суровой нитки (дратвы не было) пытался привести в порядок ботинки.

— Вот.— Нюра выложила на стол свою добычу.— Дали.

Чонкин глянул без интереса.

— Может, завтра все же приедут,— сказал он со вздохом.

— Кто? — спросила Нюра.

— Кто, кто,— рассердился Чонкин.— Война идет, а я тут...

Нюра ничего не сказала. Достала из печки гороховый суп, донесла до стола и расплакалась.

— Ты чего? — удивился Чонкин.

— Что ж это ты так на войну-то рвешься? — сквозь слезы сказала Нюра.— Да неужто ж тебе там будет лучше, чем у меня?

15

Гладышеву не спалось. Он тарашил во тьму глаза, вздыхал, охал и ловил на себе клопов. Но не клопы ему спать мешали, а мысли. Они вертелись вокруг одного. Своим глупым вопросом на митинге Чонкин смутил его душу, пошатнул его, казалось бы, незыблемую веру в науку и научные авторитеты. «Почему лошадь не становится человеком?» А в самом деле, почему?

Прижатый Афродитой к стене, он лежал, думал. Действительно, каждая лошадь работает много, побольше любой обезьяны. На ней ездят верхом, на ней пашут, возят всевозможные грузы. Лошадь работает летом и зимой по многу часов, не зная ни выходов, ни отпусков. Животное, конечно, не самое глупое, но все же ни одна из всех лошадей, которых знал Гладышев, не стала еще человеком. Не находя сколько-нибудь удобного объяснения такой загадке природы, Гладышев шумно вздохнул.

— Ты не спишь? — громким шепотом спросила Афродита.

— Сплю,— сердито ответил Гладышев и отвернулся к стене.

Только стал одолеваять его сон, как проснулся и заплакал Геракл.

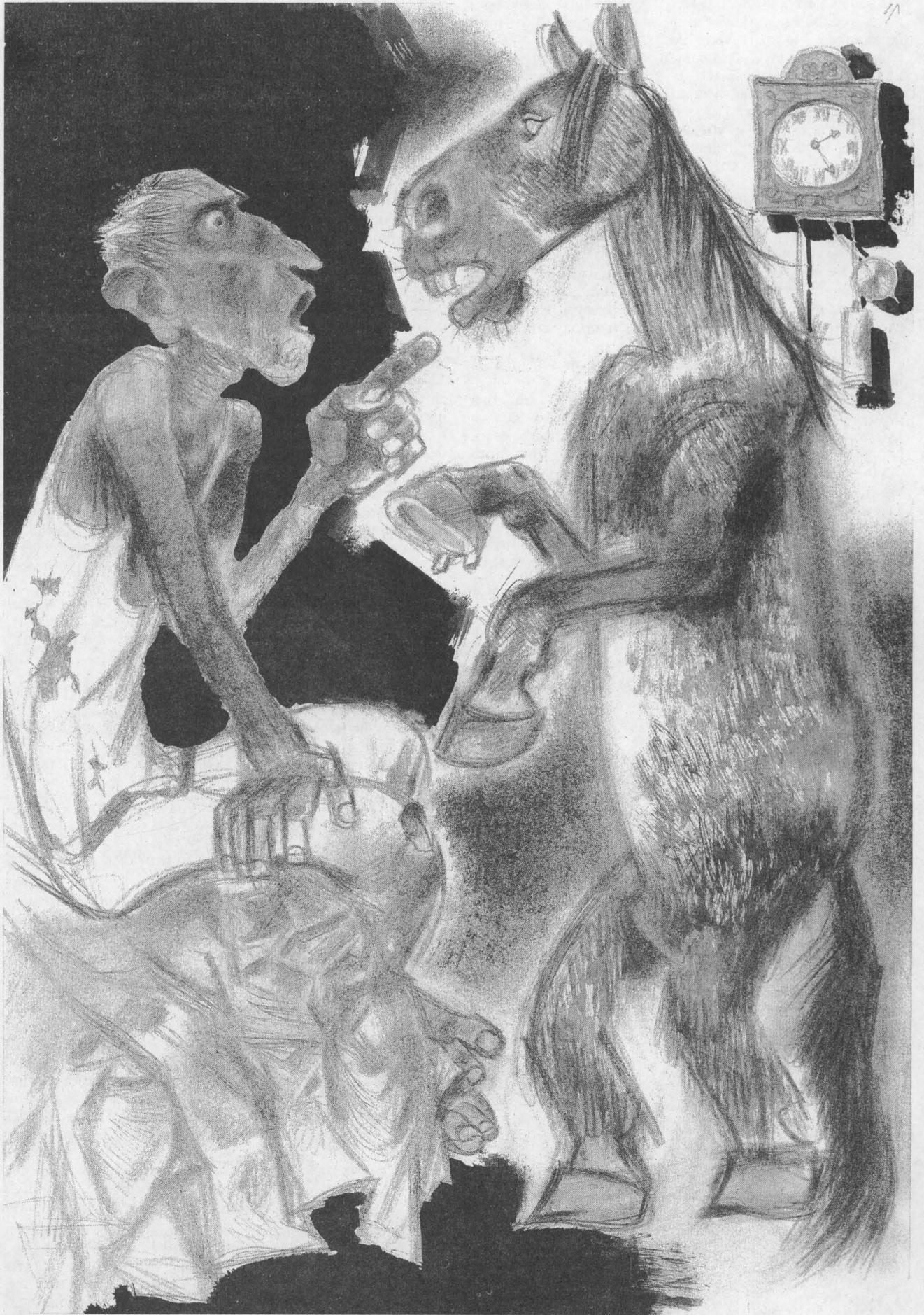
— Ш-ш-ш-шшш-шш,— зашикала на него Афродита и, не вставая, стала качать с грохотом люльку. Геракл не унимался. Афродита спустила ноги с кровати, вынула Геракла из люльки и дала ему грудь. Ребенок успокоился и зачмокал губами. Кормя его, Афродита одной рукой возилась в люльке, должно быть, меняя пеленки. Но когда она опять положила его в люльку, Геракл снова заплакал. Афродита трясла люльку и напевала:

**Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...**

Дальше слов она не знала и до бесконечности повторяла одно и то же:

**Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...**

Наконец ребенок уснул. Затихла Афродита, стал засыпать и хозяин дома. Но только он закрыл глаза, как совершенно явственно услышал, что открылась наружная дверь. Гладышев удивился. Неужто он, ложась спать, не запер ее? А если даже и так, то кто бы это мог в столь поздний час, видя, что в окнах нет света, беспокоить людей? Гладышев насторожился.



Может, померещилось? Нет. Кто-то прошел через сени, теперь впотьмах шарил по коридору. Шаги приближались, и вот уже со скрипом растворилась и дверь в комнату. Гладышев приподнялся на локте, напряженно вглядываясь в темноту, и, к своему великому удивлению, узнал в вошедшем мерина по кличке Осоавиахим. Гладышев потряс головой, чтобы прийти в себя и убедиться, что все это ему не чудится, но все было действительно так, и Осоавиахим, который был хорошо знаком Гладышеву, ибо именно на нем Кузьма Матвеевич обычно возил на склад продукты, собственной персоной стоял посреди комнаты и шумно дышал.

— Здравствуй, Кузьма Матвеевич,— неожиданно сказал он человеческим голосом.

— Здравствуй, здравствуй,— сознавая странность происходящего, сдержанно ответил Гладышев.

— Вот пришел к тебе, Кузьма Матвеевич, сообщить, что теперь стал я уже человеком и продукты более возить не буду.

Мерин почему-то вздохнул и, переступая с ноги на ногу, стукнул копытом в пол.

— Тише, тише,— зашикал Гладышев,— робенка разбудить.— Пододвинув слегка Афродиту, он сел на кровати и, чувствуя необыкновенную радость от того, что ему, может быть, первому из людей, пришлось стать свидетелем такого замечательного феномена, нетерпеливо спросил:

— Как же тебе удалось-то стать человеком, Ося?

— Да оно вишь как получилось,— задумчиво сказал Осоавиахим,— я в последнее время много работал. Сам знаешь, и продукты возил со склада, и навозом не брезговал, и пахать приходилось — ни от чего не отказывался, и вот в результате кропотливого труда превратился я наконец в человека.

— Интересно,— сказал Гладышев,— это очень интересно, только на ком я теперь будут продукты возить?

— Ну уж это дело твое, Кузьма Матвеевич,— покачал головой мерин,— придется подыскать замену. Возьми хотя б Тюльпана, он еще человеком не скоро станет.

— Почему ж так? — удивился Гладышев.

— Ленивый потому что, все норовит из-под палки. Пока его не ударишь, с места не стронется. А чтоб человеком стать, надо бегать, знаешь, как? Ого-гого! — он вдруг заржал, но тут же спохватился.— Извини, Кузьма Матвеевич, дают еще себя знать лошадиные пережитки.

— Ничего, бывает,— простил Кузьма Матвеевич.— Ну, а интересно мне знать, что ты теперь предполагаешь делать? В конхозе останешься или как?

— Наверяд,— вздохнул Осоавиахим.— Мне тут теперь с моим талантом делать нечего. Подамся, пожалуй, в Москву, профессорам покажусь. Может, с лекциями буду выступать. Эх, Кузьма Матвеевич, жизнь для меня теперь только лишь начинается, женился бы, детишек нарожал для дальнейшего прогресса науки, а вот не могу.

— Почему же?

— Еще спрашиваешь,— горько усмехнулся Осоавиахим.— Ты же сам восемь лет назад мне чего сделал? Лишил необходимых для продолжения рода частей организма.

Неудобно стало Гладышеву. Он смутился и даже как будто бы покраснел, хорошо, что темно и не видно.

— Извини, друг Ося,— сказал он искренне.— Если б же ж я знал, что ты человеком станешь, да нешто я бы позволил. Я-то думал, конь он и есть конь. А кабы ж я знал...

— Кабы знал,— передразнил Осоавиахим.— А конь-то что? Разве ж не живое существо? Разве

ж у него можно отнимать последнюю радость? Мы ж в кино не ходим, книжек не читаем, только одно и остается, а ты ножом...

Насторожился Гладышев. Что-то не то говорит этот Осоавиахим. Еще не успел человеком стать, а уже критикует. Достижение, конечно, значительное с биологической точки зрения, но если придать этому делу политическую окраску, то превратится лошадь в человека еще полдела. Главное, в какого человека — нашего или не нашего? И, проявив должную бдительность, задал Гладышев мерину вопрос, что называется «на засыпку»:

— А вот ты мне скажи, Ося, ежели тебя, к примеру, на фронт возьмут, ты за кого воевать будешь — за наших или за немцев?

Посмотрел на него мерин с сочувствием, помотал головой, глупый, мол, человек.

— Мне, Кузьма Матвеевич, на фронт идти никак невозможно.

— Почему же это тебе невозможно? — вкрадчиво спросил Гладышев.

— А потому,— рассердился мерин,— что мне на спусковой крючок нажимать нечем. У меня пальцев нет.

— Вот оно что! — хлопнул себя по лбу Гладышев и проснулся.

Открыл глаза, никак не может понять, куда же девался мерин. Обстановка в комнате прежняя, и он, Гладышев, лежит в своей кровати на пуховой перине, придавленный Афродитой к самой стене. Навалилась она на него всей своей тяжестью, причмокивает, посвистывает во сне, да с таким аппетитом, что даже противно. Жарко, душно. Гладышев двинул жену плечом — не сдвинул. Двинул второй раз — с тем же успехом. Рассердился, уперся в стену руками и ногами и как толкнул Афродиту задом, так она чуть с кровати не свалилась, вскочила.

— А? Что? — ничего не может понять.

— Слышь, Афродита? — шепотом спросил Гладышев,— а куда мерин-то подевался?

— Какой мерин? — Афродита трясла головой, пытаясь прийти в себя.

— Да мерин же, Осоавиахим,— досадовал Гладышев на непонятливость супруги.

— О, господи! — пробормотала Афродита.— Болтает бог знает что. Мерина какого-то надумал. Спи себе.

Она перевернулась на живот, уткнулась в подушку и тут же уснула снова.

Гладышев лежал, тараща глаза в потолок. Сознание постепенно возвращалось к нему, и наконец он понял, что мерин приходил к нему во сне. Гладышев был грамотным человеком. Он читал книгу «Сон и сновидения», которая помогла ему дать его сегодняшнему сну правильную оценку. «Вчера наслушался от Чонкина глупостей, вот и приснилось», — думал он про себя. Но какая-то странная мысль, не выражавшаяся словами, сверлила его и мучила, он никак не мог понять, что это значит. Заснуть больше не мог. Лежал, ворочался, а как только за окном едва забрезжило, перелез через Афродиту и задумчиво стал натягивать на себя кавалерийские галифе.

В это утро Нюра проснулась раньше Ивана, еще затемно. Поворочалась, поворочалась, делать нечего, решила вставать. Корову доить было рано, надумала до свету сходить на речку за водой. Взяла в сенях ведро и коромысло, открыла дверь и обмерла — на крыльце кто-то сидит.

— Кто это? — спросила она с испугом и дверь на всякий случай притянула к себе.

— Не бойся, Анна, это я, Гладышев.

Нюра удивилась, приоткрыла дверь снова.

— Чего это ты сидишь тут?
— Да так,— неопределенно ответил Гладышев.— Твой еще не проснулся?
— Куды там,— засмеялась Нюра,— спит, как сурок. А чего?
— Дело есть.— Гладышев уклонился от прямого ответа.

— Может, разбудить? — Нюра уважала соседа, как ученого человека, и считала, что он по зряшному делу беспокоить не станет.

— Да нет, не стоит.

— А чего ж не стоит? Я разбужу. Пушай встает. А то как ночь, так на войну рвется, а как утро, так не добудишься.

Гладышев особо не возражал, потому что соображение, которое хотел он сообщить своему другу, хотя и не носило важного характера, однако было таким, которое трудно держать при себе.

Через минуту на крыльцо вышел Чонкин в кальсонах.

— Звал, что ли? — спросил он, почесываясь и зевая.

Гладышев медлил. Он подождал, пока Нюра возьмет ведра и отойдет на приличное расстояние, и только после этого, смущаясь, что поднял человека из-за такой малости, неуверенно заговорил:

— Вот ты вчера насчет лошади спрашивал.

— Насчет какой лошади? — не понял Иван.

— Ну вообще, почему, мол, она человеком не стала.

— А-а,— Иван вспомнил, что в самом деле вчера был какой-то такой разговор.

— Так вот,— с гордостью сообщил Гладышев.— Я понял, почему лошадь не становится человеком. Она не становится человеком, потому что у ней пальцев нет.

— Эка, удивил,— сказал Чонкин.— Это я с малых лет знаю, что у лошади нет пальцев.

— Да я тебе не о том. Я говорю не то, что у ней нет пальцев, а то, что она не становится человеком, потому что у нее нет пальцев.

— А я тебе говорю — это всем известно, что у лошади нет пальцев.

Тут они заспорили, как часто люди спорят между собой, доказывая один одно, а другой другое, не пытаясь понять собеседника, и чуть было даже не разругались, но на крыльцо своей избы вышла в нижнем белье Афродита и позвала мужа завтракать. Не доспорив, Кузьма Матвеевич пошел домой. На столе стояла шипящая еще только с жару яичница с салом. Гладышев придвинул к себе сковородку, сел на лавку и тут же почувствовал под задом что-то не то чтобы острое, но твердое и неровное. Он вскочил и обернулся. На лавке лежала лошадиная подкова.

— Что это? — строго спросил он, показывая подкову жене.

— А откуль мне знать? — она пожала плечами.— Вон у порога валялась. Я сперва хотела выбросить, а потом подумала, может, нужна...

Договорить ей не удалось. Гладышев схватил подкову, выскочил из-за стола и как был в расхристанной рубашке кинулся вон из дома.

Еще издали заметил он возле конюшни скопление народа, здесь в числе прочих были председатель Голубев, партторг Килин, оба бригадира и конюх Егор Мякишев.

— Что это тут происходит? — поинтересовался Гладышев.

— Лошадь убегла,— пояснил Мякишев.

— Какая лошадь? — похолодел в догадке Гладышев.

— Осоавиахим.— Конюх досадливо сплюнул.— Мы тут наместили, каких лошадей в армию сдавать и его

тоже, а он ночью сломал загородку и ушел. А может, цыгане украли.

— Может быть,— поспешил согласиться Гладышев.

16

Подполковник Опаликов стоял, разведя в стороны руки и ноги, в ожидании, пока инженер полка Кудлай и два старших техника наденут на него парашют. Опаликов хмурился. Через несколько минут ему предстоит поднять полк в воздух и направить в район Тирасполя согласно приказу. Маршрут выверен, вычерчен, инструктаж с летным составом проведен. Командиры эскадрилий доложили о готовности к взлету. Тирасполь так Тирасполь, думал Опаликов. Какая разница, где тебя собьют? А ведь собьют, никуда не денешься. Не нашим «ишакам» с «мессерами» тягаться. Ладно, говорил он самому себе, дело не в этом. Тридцать четыре года прожил, и хватит. Некоторым и столько не удается. Кое-что повидал. Но Надька, Надька... При мысли о жене настроение еще больше испортилось. «Я тебя буду ждать»,— сказала она. Как бы не так. Будет ждать в чужой постели. Сука! Другие бабы, когда услышали о войне, рыдали. А она хоть бы одну слезинку из себя выдавила. Небось даже рада. Муж на фронт, ей — полная свобода. Да у нее и раньше этой свободы хватало. Перетаскала на себя всех, кого только могла. Другой раз идешь по городку, и стыдно. Кажется, все на тебя пальцем указывают. Вот он идет. Командир полка. Взятя полком командовать, а со своей собственной женой не может управиться. В армии все на виду. Хуже, чем в деревне. Все всё про всех знают. И про тот случай, когда она с интендантом на складе вещевого снабжения, на старых шинелях... До чего опуститься! Ведь хотел ее тогда застрелить, пистолет из кобуры вынул... Рука не послушалась. Хотя, конечно, сам во всем виноват. Как говорит Кудлай, «бачили очи, шо купувалы»... Видно, уж такая у нее натура. Ненасытная тварь. Ну и задерись она в доску, думал подполковник Опаликов, когда в мотоциклетной коляске подъехал Пахомов.

— Товарищ подполковник... — Пахомов, выскочив из коляски, кинул руку к виску.

— Ну что у тебя? — перебил Опаликов, приподняв ногу, чтобы Кудлаю было удобнее продеть и обернуть лямку парашюта.

— Погрузка аэродромного оборудования в эшелон закончена,— доложил Пахомов.— Дня через четыре, думаю, и мы до Тирасполя доберемся.

— Ну-ну,— сказал Опаликов и, подсаживаемый инженером, полез на крыло.— Так мы тебя там и будем дожидаться в Тирасполе.

Он сел в кабину, поерзал, устраиваясь поудобней. Положил планшет на колени, еще раз мысленно прошел первую часть маршрута. Взлет. Сбор в зоне ожидания. Затем курс двести пятьдесят семь и четыре градуса поправки на ветер. После прохождения контрольного пункта на двенадцать градусов поворот влево. Все нормально, все правильно, только вот Надька... Опаликов поднял голову.

Пахомов все еще стоял возле самолета, переминался с ноги на ногу.

— Ну что еще, Пахомов? — обратился на него внимание командир полка.

— Да вот не знаю, как с Чонкиным быть,— неуверенно сказал комбат.

— С каким еще Чонкиным? — недоуменно поднял брови Опаликов.

— С красноармейцем, который у аварийной машины.

— А-а.— Опаликов поставил ноги на педали, про-

верил легкость хода рулей и элеронов, включил темблер зажигания.— Его разве до сих пор не сменили?

— Да нет же,— сказал Пахомов.— И машина там.

— Это не машина,— махнул рукой Опаликов,— это гроб. А Чонкин этот что там делает?

— Стоит,— пожал плечами Пахомов.— Говорят, вроде даже женился.

Он улыбнулся, не зная, как выразить свое отношение к поступку бойца.

— Женился? — ахнул Опаликов. Это в мозгу его никак не укладывалось. Тут с женой, которая есть, не знаешь что делать.

— Ну, раз женился, пусть живет,— решил он.— Не до него. Кудлай! — закричал он инженеру.— Передай по полку, чтоб запускали моторы.

Судьба Чонкина была решена.

17

— Я щи поставлю варить, а ты поди пригони корову.— Сунув голову в печь, Нюра шумно раздвинула огонь.

— Сейчас.— Чонкин драил зубным порошком пуговицы на гимнастерке, и идти ему никуда не хотелось.

— Русский час — шестьдесят минут,— заметила Нюра.— Пуговицы можно опосля почистить.

Она только что с полной сумкой притащилась из Долгова, разнесла почту, устала и теперь была недовольна тем, что Чонкин не приготовил обед.

Чонкин отложил в сторону гимнастерку и щетку, подошел к Нюре сзади и ухватился за нее сразу двумя руками.

— Иди, иди.— Нюра недовольно вильнула задом.

Некоторое время попрепирались. Чонкин ссылался на раннее время, на боль в пояснице, ничего ему не помогло — пришлось в конце концов уступить.

Во дворе он поиграл с Борькой, на улице поговорил с бабой Дуней, затем с сидевшим на завалинке дедом Шапкиным и наконец дошел до конторы, где увидел большую толпу, состоящую в основном из баб. Мужиков было всего-то Плечевой, счетовод Волков и еще один, Чонкину незнакомый. Другие — на фронте. В первую же неделю войны чуть не всех загребли подчистую. Собравшиеся молча смотрели на громкоговоритель, в котором что-то потрескивало.

— Чего стоите? — спросил Иван Нинку Курзову.

Но Нинка ничего не ответила, только приложила палец к губам. И тут же в динамике кто-то покашлял, и голос с заметным грузинским акцентом тихо сказал:

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Чонкин вздохнул и замер, не спуская с динамика глаз.

Динамик снова покашлял, потом в нем что-то забулькало, как будто тот, кто стоял где-то у микрофона, лил воду или давился в рыданиях. Это бульканье длилось долго и произвело на слушателей гнетущее впечатление. Но вот оно кончилось, и тот же голос с акцентом негромко и рассудительно продолжал:

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвер-

гая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность...

Баба Дуня, стоявшая позади Чонкина, всхлинула. Задергала губами Нинка Курзова, несколько дней назад отправившая мужа на фронт. Зашевелились, зашмыгали носами и остальные.

Чонкин слушал слова, произносимые с заметным грузинским акцентом, глубоко верил в них, но не все мог понять. Если лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли себе могилу, то стоит ли так беспокоиться? Худшие части и дивизии разбить еще легче. Кроме того, непонятно было выражение «нашли себе могилу на полях сражений». Почему они не искали ее в другом месте? И кто эту могилу для них вырыл? И Чонкину представилось огромное количество людей, которые в поисках могилы ходят по неизвестным полям. Ему на какое-то мгновение даже стало жалко этих людей, хотя он хорошо знал, что жалеть их нельзя. Размышляя таким образом, пропустил он многое из того, что говорил оратор, и теперь поднял голову, чтобы уловить нить.

— Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу...

Все слушали, качали головами, и Чонкин тоже качал. Он готов был драться, но не знал, с кем и как. Когда забирали на фронт мужиков, военкоматский капитан сидел на крыльце конторы и разговаривал с председателем. Чонкин подошел к нему, обратился по всей форме, так, мол, и так, а тот не дослушал толком да как гаркнет: «Вы на посту стоите? А кто давал вам право покидать пост? Кругом! На пост бегом марш!» Вот и весь разговор. А Сталин, он бы так не сказал, он умный, может понять и войти в положение. Не зря народ его любит. И поет хорошо. «Валенки, валенки». Только почему женским голосом? Песня кончилась, раздалась аплодисменты.

— Вот здорово! — услышал Чонкин сзади. Он вздрогнул и обернулся. Тайка Горшкова, поигрывая бичом и раскрыв рот, смотрела на радио. Теперь она была пастухом после того, как Лешку Жарова забрали на фронт.

Чонкин осмотрелся и, не увидев больше никого, снова уставился на Тайку.

— Здорово, говорю, Русланова поет,— повторила Тайка.

— Ты что, коров уже пригнала? — удивился Чонкин.

— Давно уж. А чего?

— Да так, ничего.

Удивляясь тому, как это он прозевал момент, когда пригнали коров, Чонкин пошел к дому. Корова, конечно, пришла домой своим ходом, уж чего, чего, а дорогу знает. Но все же чудно так получилось, что он задумался и не заметил, как разошлись люди. Впрочем, они даже как будто и не разошлись, а вон все стоят в том же составе. Только почему-то в другом месте. Как будто возле избы Гладышева. Да, точно, так и есть.

— Чего стоите? — спросил Чонкин, опять же у Нинки Курзовой. Нинка обернулась и посмотрела на Чонкина как-то странно, так странно, как будто с ним что-то случилось. А вслед за Нинкой и все остальные стали воротить головы в сторону Чонкина и смотреть на него с ожиданием чего-то. Чонкин смешался, не понимая в чем дело, стал сам себя оглядывать, не вымазался ли. Тут из толпы вынырнул Плечевой и пошел на Чонкина с распростертыми объятиями:

— Ваня, друг, что же ты тут стоишь? — закричал

он.— Иди быстрее, чего покажу. Тут такое кино получается.— Он взял Чонкина за руку и повел сквозь толпу, которая охотно расступалась. Наконец, достигнув соседского забора, Чонкин посмотрел и глазами своим не поверил. Замечательный огород, созданный каждодневным трудом и гением Гладышева, являл собой картину страшного опустошения. Он был изрыт и истоптан с такой тщательностью, как будто через него прошло стадо слонов. Только кое-где торчали из земли истерзанные охвостья бывшего пукса и один-единственный, чудом сохранившийся куст пышно зеленел на фоне всеобщего разрушения.

Виновница всего происходящего корова Красавка, должно быть, оставила этот куст на закуску и сейчас, стоя посреди огорода, тянулась к нему и должна была б дотронуться, но хозяин огорода держал ее за рога, исполненный отчаяния, слепой злобы и решимости спасти хотя бы этот жалкий остаток созданного им чуда.

Словно тореадор, стоял Гладышев перед коровой, широко расставив ноги в пыльных брезентовых сапогах. Пытаясь побороть этого варвара, он напрягал окаменевшие мышцы.

Тут же, хватая Гладышева за рукав, безутешно рыдала Нюра.

— Матвеич,— заливалась она слезами,— отдай корову. Ну, пожалуйста. Ну что ты с ней будешь делать?

— Зарежу! — мрачно сказал Гладышев.

— Ой, господи! — причитала Нюра.— Она ж у меня одна, Матвеич. Отдай!

— Зарежу! — твердил свое Гладышев и тащил корову в сарай. Корова упиралась и тянулась к оставшемуся кусту пукса. На крыльце, равнодушная ко всему, Афродита кормила грудью Геракла. Чонкин, не зная что делать, растерянно оглянулся.

— Ну что ж ты, Ваня, стоишь? — ободряюще улыбнулся ему Плечевой.— Спасай скотину. Ведь зарежет. Чиканет ножом, и привет.

Плечевой подмигнул стоявшему рядом счетоводу Волкову.

Не хотелось Чонкину ввязываться в это дело. Но Гладышев уперся, а Нюра плачет. Иван нехотя просунул голову между жердями в заборе.

— Ой! — взвизгнул тонкий женский голос. Это была Зинаида Волкова, жена счетовода.— Ой, бабы, сейчас будет убийство.

Увидев Чонкина, Нюра осмелела и перешла к активным действиям.

— Ирод проклятый! — закричала она и впцепилась своему врагу в красное правое ухо.

— Ах, так! — возмутился Гладышев и толкнул Нюру ногой в живот.

Нюра упала в борозду и завывала в голос.

Чонкин подошел к Нюре, наклонился и увидел, что ничего страшного не случилось, Нюра живая и даже не ранена.

— Чего реवेशь? — рассудительно сказал он, помогая Нюре подняться и отряхивая на ней платье.— Никто тебе ничего не сделал. Ну толкнул Кузьма Матвеич маленько, так его тоже можно понять. Любому было б обидно. Старался человек все лето, а тут эвон какое дело. Уж ты, Кузьма Матвеич,— повернулся он к соседу,— извини за ради бога, у ней нет в голове соображения, что это твое, а это чужое, как увидит чего зеленое, так и жрет. Нюрка позавчера повесила на забор зеленую кофту, так она и ее слопа-ла, один только левый рукав остался. Ух ты, вражина! — замахнулся он кулаком на корову.— Пусти-ко, сосед, я ее сейчас так накажу, что больше в чужой огород не полезет.

С этими словами Чонкин положил руки поверх гладышевских на рога Красавки.

— Отойди,— сказал Гладышев и пихнул Чонкина плечом.

— Да нет уж, не отойду,— сказал Чонкин и толкнул соседа ответно.— Уж ты, Кузьма Матвеич, корову-то отдай, а мы с Нюркой тебе за огород чего ни то да заплалим.

— Дурак! — сказал Гладышев со слезами на глазах.— Чем можешь ты оплатить научный подвиг? Я же хотел вырастить гибрид мирового значения — картофель с помидором.

— Отдадим,— заверял Чонкин,— ей-богу, отдадим. И картошку, и помидоры. Какая тебе разница, вместе оно выросло или не вместе?

Он продолжал теснить упрямого соседа плечом и уже полностью овладел одним рогом. Теперь они тащили корову в разные стороны, что ей было легче перенести в результате равнодействия сил.

Надвигалась решающая минута. Чонкин пихал Гладышева левым плечом, Гладышев отвечал ему правым.

Толпа, налегая на забор, затаила дыхание. Афродита, переменив грудь, продолжала кормить Геракла. Было тихо. Только слышалось тяжелое сопение воюющих сторон и равнодушные вздохи коровы, которой по-прежнему хотелось откусить этот симпатичный куст неразвившегося гибрида.

В толпе молчали, напряженно ожидая дальнейшего развития событий.

— Слышь, армеец, а ты ему в глаз,— неожиданно громко посоветовал Плечевой.

Кто-то хихикнул, но тут же смолк.

— Ой, бабы, закрывай глаза, сейчас будет убийство! — пронзительно закричала Зинаида Волкова.

Ее муж, стоявший неподалеку, начал сквозь толпу пробираться к жене.

— Будет убийство, будет убийство, будет убийство,— лихорадочно, словно твердя заклинания, бормотала она.

Наконец счетовод добрался до жены, отодвинул, освобождая себе пространство, Нинку Курзову, не торопясь, обстоятельно размахнулся и единственной своей рукой врезал Зинаиде такую оплеуху, что без посторонней поддержки она вряд ли удержалась бы на ногах. Зинаида, молча схватившись обеими руками за щеку, стала вылезать из толпы, а счетовод, повернувшись к Плечевому, спокойно объяснил свой поступок:

— Сколько раз говорил ей: «Не лезь, куды не просют». Вот ведь когда Колька Курзов с клюквинским Степкой подрались, тоже так смотрела да ахала, а ее в свидетели записали. Так судья когда вызвал ее к столу, она сразу в обморок, и насилушки откачали.

— А ты ее совсем пришиби,— весело посоветовал Плечевой.— Чтоб и в суд звать некого было.

— Убили! — выбравшись наконец из толпы, не своим голосом завопила Зинаида и, по-прежнему двумя руками держась за щеку, рванула вдоль по деревне.

Обернувшись на ее крик, Чонкин и Гладышев одновременно ослабили пальцы. Корова это почувствовала, мотнула головой, и противники, не ожидавшие такого коварства, повалились в разные стороны.

Не дожидаясь другого случая, корова мимолетным движением смახнула под самый корень последний куст необыкновенного гибрида и не спеша задвигала челюстями.

Гладышев, поднявшись на четвереньки, как замороженный, следил за коровой.

— Матушка! — страстно простер он к ней руки и на коленях пошел вперед.— Солнышко, отдай, пожалуйста!

Причмокивая, вздыхая и настороженно глядя на Гладышева, корова отступила назад.

— Отдай! — Гладышев, не вставая с колен, тянулся к коровьей морде. В какой-то момент из раскрывшейся пасти мелькнул на мгновение измочаленный хвостик пукса, Гладышев рванулся к нему, но корова в этот же самый момент сделала глубокое глотательное движение и последний куст замечательного гибрида навсегда исчез в ее бездонном желудке. Поборов секундное оцепенение, Гладышев вскочил на ноги и с диким воем кинулся к себе в избу.

Тут поднялся с земли и Чонкин. Ни на кого не глядя, отряхнул он от пыли брюки, одной рукой взялся за рог, а другую сжал в кулак и изо всей силы ударил корову по морде. Корова дернула головой, но особо не сопротивлялась, и Чонкин потащил ее в сарай, крикнув Нюре, чтобы побежала вперед открыть ворота.

— И это все,— с сожалением сказал Плечевой, но ошибся.

— В это время на крыльцо встрепанный, с безумными глазами выскочил Гладышев. В руках он держал берданку шестнадцатого калибра. В толпе ахнули.

— Я говорила, будет убийство,— слышался голос вернувшейся вовремя Зинаиды.

Гладышев вскинул берданку к плечу и навел на Чонкина.

— Ваня! — отчаянно вскрикнула Нюра.

Чонкин обернулся. Он стоял, вцепившись пальцами в коровьи рога, и смотрел прямо в наведенный на него ствол берданки. Он словно оцепенел, не в силах двинуться с места. «Попить бы»,— мелькнула глупая мысль. Чонкин облизнул губы.

Сухо щелкнул курок, словно сломали ветку. «Все»,— подумал Чонкин. Но почему ему не больно? Почему он не падает? Почему Гладышев снова взводит курок? Снова щелчок. И вдруг раздался громкий, трезвый и рассудительный голос Афродиты:

— Дурачок ты, дурачок! Куды стреляешь? И чем стреляешь? Ты же весь порох давно извел на удобрение.

По толпе прошел шум. Гладышев еще раз взвел курок, заглянул в ствол и, убедившись, что там пусто, грохнул ружье о землю, сел на крыльцо и, обхватив голову руками, горько заплакал.

Чонкин все еще стоял, вцепившись пальцами в рога, словно приклеился. Подошла Нюра, положила руку ему на плечо.

— Пойдем, Ваня,— сказала она ласково.

Он отрешенно смотрел на Нюру, не понимая, чего она хочет.

— Домой, говорю, пойдем! — крикнула Нюра словно глухому.

— А, домой. — Он помотал головой, возвращаясь к сознанию происходящего. Они взялись, он — за один рог, Нюра — за другой, и потащили прочь корову, которая, насытаясь, вполне присмирела.

А на крыльце плакал Гладышев. Он плакал громко, в голос и, оголив покрытый белесой шерстью живот, утирался подолом изодранной майки.

Чонкин не выдержал и, бросив корову и Нюру, вернулся к поверженному врагу.

— Слышь, что ли, сосед,— сказал он, дотронувшись носком своего ботинка до сапога Гладышева. — Ты это... ничего, ты больно не переживай. Я, это, война кончится, на тот год билизуюсь и тогда пухом этим и твой огород засодим, и Нюркин.

В знак примирения он дотронулся до плеча Гладышева. Гладышев дернулся, зарычал, схватил протянутую руку и хотел укусить, но Чонкин вовремя вырвался и отскочил. Стоя в отдалении, он смотрел на селекционера с опаской и жалостью, не зная, как дальше быть.

Подошла и накинулась на Чонкина Нюра:

— Ах ты, горе луковое, да кого ж ты уговариваешь

и кого жалеешь? Он тебя жалел, когда из ружья целил? Он тебя убить хотел!

— Ну так что ж, что хотел,— сказал Чонкин.— Вишь, человек в расстройстве каком. Ты уж, Матвей, не это самое...— он переступал с ноги на ногу, но приблизиться не решился.

18

В воскресенье на колхозном рынке города Долгова был задержан пожилой человек, торговавший хромовыми голенищами. Дело было не только в том, что он торговал голенищами, и уж совсем не в том, что хромовыми. Дело в том, что на вопрос, как его фамилия, человек этот сказал такое, что Климу Свинцов, отправленному на рынок для выяснения злостных распространителей ложных слухов, ничего не оставалось делать, как взять старого наглеца за то место, которое в народе обыкновенно называется шкиркой, и отвести Куда Надо. Тем более, что именно там, Где Надо, Свинцов как раз и состоял на службе, он был сержантом. У читателей из далеких галактик, которым не знакомы наши земные порядки, может возникнуть законный вопрос: что значит Куда Надо или Где Надо? Кому надо и для чего? По этому поводу автор дает следующее разъяснение. В давние, описываемые автором времена повсеместно существовало некое Учреждение, которое было не столько военным, сколько воинственным. На протяжении ряда лет оно вело истребительную войну против собственных сограждан, и вело с непрекращающимся успехом. Противник был многочислен, но безоружен — эти два постоянно действующих фактора делали победу внушительной и неизбежной. Карающий меч Учреждения висел постоянно над каждым, готовый обрушиться в случае надобности или просто ни с того ни с сего. У этого Учреждения создалась такая репутация, что оно все видит, все слышит, все знает, и если чего не так, оно уже тут как тут. Оттого и говорили в народе: будешь слишком умным, попадешь Куда Надо, будешь много болтать, попадешь Куда Надо. И такое положение вещей считалось вполне нормальным, хотя, собственно говоря, отчего ж человеку не быть слишком умным, если он таким уродился? И отчего человеку не поболтать, если есть с кем и о чем? Автор лично встречал на своем жизненном пути массу людей, как бы созданных природой исключительно для болтовни. Впрочем, болтовня тоже бывает разная. Один болтает что надо, другой — что не надо. Будешь болтать что надо, будешь иметь все, что надо, и даже немножко больше. Будешь болтать что не надо, попадешь Куда Надо, то есть в то самое Учреждение, о котором выше уже говорилось. А ниже добавим еще и то, что Учреждение это работало по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись. Насчет чужих не скажу, а свои побаивались. И действительно, как только у чужих обозначится обострение противоречий или кризис всей их системы, или всеобщее загнивание, так своих тут же отлавливают и тащат Куда Надо. И другой раз столько их натаскивают, что там, Где Надо, и мест для всех не хватает.

Но в то самое время, когда сержант Клим Свинцов поймал на рынке злостного болтуна, мест там, Где Надо, было вполне достаточно. Последние четверо, попавшие каждый своим путем Куда Надо еще до войны, теперь были отправлены дальше. Учреждение срочно перестраивало свою работу, приспособляло ее к нуждам военного времени. Этого требовал от своих сотрудников начальник Учреждения капитан Афанасий Миляга, получивший инструкцию от более высокого начальства, которое, в свою очередь, имело указание от начальства высочайшего. Указание было — руководствоваться историческим выступле-

нием товарища Сталина. В историческом выступлении, помимо прочего, говорилось: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем быстрое содействие нашим истребительным батальонам».

Эта цитата в виде красочно оформленного плаката висела в кабинете капитана Миляги, прямо перед глазами. А за спиной капитана Миляги висел известный фотопортрет — Сталин с девочкой на руках. Девочка улыбалась Сталину, Сталин улыбался девочке. Но при этом он косил одним глазом на затылок капитана Миляги, как бы пытаясь определить, не роются ли под этим затылком ненужные мысли.

В понедельник утром капитан явился на работу, как всегда — минута в минуту.

— Точность — вежливость королей, — говорил он обычно своим подчиненным и не забывал добавлять: — В переносном, конечно, смысле.

Чтобы никто не заподозрил его в монархических настроениях.

В своей приемной капитан застал сержанта Свинцова, который объяснял секретарше Капе свое положение. Жена Свинцова уехала с ребятишками к матери на Алтай, откуда вернется не скоро — он сам написал ей, чтобы не приезжала, все же там безопасней. Рассказывал он для того, чтобы перейти к следующей части беседы.

— Капитолина, — призывно говорил он и смотрел на секретаршу зверскими своими глазами. — Мужчина без женщины все равно что бык без коровы. — Сравнениями он пользовался всегда прямыми и грубыми. — Мужчина без женщины долго жить не может. Если ты немного со мной поживешь, я тебе дам отрез из чистого крепдечина. Удовольствие получишь и платье сошьешь.

Капа к такому ухаживанию уже привыкла, и оно ее не обижало.

— Клим, — смеялась она, — поди в баню, окатись холодной водой.

— Не поможет, — темнел лицом Клим. — Мне женщину надо. Ты не думай, я мужчина хороший.

— Клим, что ты говоришь! — ужасалась Капа.

— Я говорю то, что есть. Я знаю, ты с мужем живешь и с капитаном. А ты еще со мной поживи. С тремя мужчинами лучше жить, чем с двумя.

— Клим, ты дурак! — Капа не любила намеков на свои отношения с капитаном.

Свинцов хмурился и исподлобья смотрел на Капу.

— Если ты со мной жить не хочешь, — сказал он, подумав, — зачем обзывать? У тебя подруга есть?

— А ты, Клим, можешь жить с любой женщиной?

— С любой.

Разговор был прерван появлением капитана Миляги. От прочих людей капитана Милягу отличало то, что он всегда улыбался. Улыбался милой, приятной улыбкой, вполне соответствовавшей фамилии, которую он носил. Капитан улыбался, когда здоровался, когда допрашивал арестованных, улыбался, когда другие рыдали, короче говоря, улыбался всегда. Вот и сейчас, улыбаясь, поздоровался с Капой и с улыбкой обратился к Свинцову, который при его появлении опрокинул стул и вытянулся у дверей.

— Меня ждешь?

— Вас.

— Заходи.

Он взял у Капы ключ от своего кабинета и вошел первым. Для начала раздвинул шторы и распахнул окно, выходящее во внутренний дворик, полной грудью вдохнул свежий воздух.

На дворе лейтенант Филиппов занимался с личным составом строевой подготовкой. Личного состава, кро-

ме лейтенанта Филиппова, было пять человек. В обычное время на строевую подготовку времени никак не хватало. Всегда было слишком много работы. А тут в короткий период перехода на военные рельсы выдался свободный денек. Кроме того, и указание было обратить особое внимание на строевую подготовку.

Пять человек, построенные в колонну по одному, отработывали строевой шаг. Лейтенант Филиппов шел сбоку и, воодушевляя подчиненных личным примером, высоко поднимал ноги в сверкающих хромо-вых сапогах.

— Ну что скажешь, Свинцов? — спросил капитан, не оборачиваясь.

— Ничего. — Свинцов лениво зевнул в кулак. — Тут ребята лошадь нашли приبلудную.

— Что за лошадь?

— Мерин. Спрашивали, никто не знает чей.

— И где ж этот мерин?

— Во дворе привязали к дереву.

— Сена дали?

— А зачем чужую лошадь кормить?

Капитан обернулся, посмотрел на Свинцова с укором.

— Эх, Свинцов, Свинцов, сразу видно — не любишь животных.

— Да я и людей-то не очень, — признался Свинцов.

— Ну ладно. Еще что?

— Вчерась, товарищ капитан, шапиёна пымал.

— Шпиона? — капитан оживился. — Где он?

— Сейчас приведу.

Свинцов вышел. Капитан сел за свой стол. Шпион был сейчас как раз кстати. Капитан взглянул на висевшую перед ним цитату: «...уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов...» «Ну что же, уничтожать, так уничтожать», — подумал капитан и улыбнулся самому себе.

Чтобы не терять даром время до возвращения Свинцова, принялся разбирать секретную почту. В нее входили всевозможные циркуляры, выписки из приказов вышестоящих инстанций, решений компетентных комиссий из протоколов каких-то ответственных совещаний. Об усилении контроля за хлебозаготовками. О подготовке к новому (военному) займу. Об усилении контроля за лицами, уклоняющимися от воинской повинности. Об усилении контроля за подбором кадров. О переводе промышленных предприятий на военные рельсы. О борьбе со слухами и распространением контрслухов.

Дверь распахнулась. В кабинет, подталкиваемый Свинцовым, вошел плохо одетый пожилой человек, национальность которого можно было определить с первого взгляда. Оценив обстановку, человек приветливо улыбнулся и с протянутой рукой подошел к капитану.

— Здгавствуйте, начальник! — сказал он, не выговаривая буквы «р».

— Здгавствуйте, здгавствуйте! — убрав руки за спину, пошутил начальник.

Задержанный приятно удивился и спросил, не принадлежит ли капитан к тому же национальному меньшинству, что и он. Капитан не обиделся, но отвечал отрицательно.

— Что вы говорите! — всплеснул руками задержанный. — А на вид такое интеллигентное лицо.

Он огляделся, взял стоящий у стены стул, подтянул его к столу капитана Миляги и сел. В этом кабинете посетители обычно вели себя сдержанней. «Видать, старик еще не совсем понял, куда попал», — весело подумал капитан, но виду не подал. Ничего не сказал он даже тогда, когда гость по-хозяйски поло-

жил локти на стол и доверчиво посмотрел в лицо капитана.

— Слушаю вас,— сказал он доброжелательно.

— Вы — меня? — улыбнулся капитан.— Давайте уж лучше наоборот. Давайте я вас послушаю.

Гость оказался покладистым, он согласился с предложением капитана.

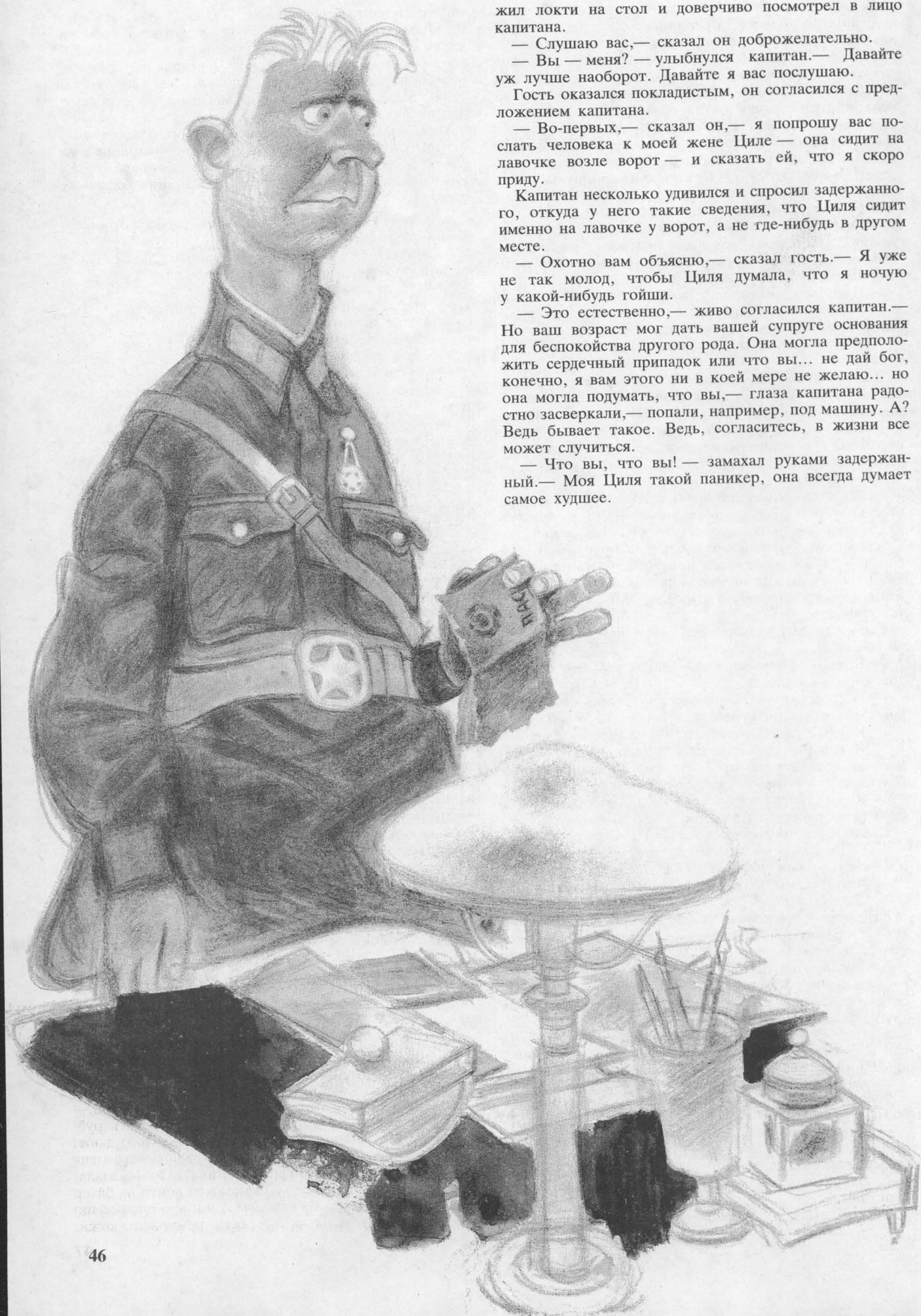
— Во-первых,— сказал он,— я попрошу вас послать человека к моей жене Циля — она сидит на лавочке возле ворот — и сказать ей, что я скоро приду.

Капитан несколько удивился и спросил задержанного, откуда у него такие сведения, что Циля сидит именно на лавочке у ворот, а не где-нибудь в другом месте.

— Охотно вам объясню,— сказал гость.— Я уже не так молод, чтобы Циля думала, что я ночью у какой-нибудь гойши.

— Это естественно,— живо согласился капитан.— Но ваш возраст мог дать вашей супруге основания для беспокойства другого рода. Она могла предположить сердечный припадок или что вы... не дай бог, конечно, я вам этого ни в коей мере не желаю... но она могла подумать, что вы,— глаза капитана радостно засверкали,— попали, например, под машину. А? Ведь бывает такое. Ведь, согласитесь, в жизни все может случиться.

— Что вы, что вы! — замахал руками задержанный.— Моя Циля такой паникер, она всегда думает самое худшее.





— Ага,— заулыбался капитан, совершенно довольный.— Значит, вы считаете, что попасть к нам — это даже хуже, чем под машину. Я вижу, вы человек очень умный, и вы нравитесь мне тем, что очень верно оцениваете обстановку. Но в таком случае вы должны согласиться, что посылать кого-нибудь к вашей супруге и обнадеживать ее, что вы скоро вернетесь, было бы преждевременно. Вы знаете, что мы не очень охотно расстаемся с нашими гостями, и, учитывая это, стоит ли понапрасну волновать старую женщину? Это было бы в какой-то степени даже, я бы сказал негуманно.

— Я вас понимаю,— охотно согласился старик.— Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже приятно видеть ваше лицо, начальник, но нам все-таки скоро придется проститься, и я вам скажу почему. Но прежде всего я попрошу вас уволить этого идиота.— Большим пальцем гость указал на стоявшего за его спиной Свинцова.

— Как вы сказали? — предвкушая большое веселье, переспросил капитан.— Вы сказали этого идиота?

— А скажите мне, кто же он есть? Вы спросите его, что он причепился ко мне на базаре? Что я такое ему сделал?

— Да в самом деле,— капитан повернул голову к подчиненному.— Свинцов, что он тебе такого сделал?

— Пуцай сам скажет,— хмуро буркнул Свинцов.

— И скажу,— пригрозил задержанный.— Я все скажу, как было.

— Буду очень рад вас послушать,— искренне сказал капитан.

Он потянулся к стоявшему за его спиной сейфу,

достал стопку линованной бумаги и положил на стол перед собой. На первом листе было написано:

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА №

Гр-на (нки)
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения
Место рождения
Социальное происхождение
Национальность
Партийность
Образование
Профессия
Должность и место работы
обвиняемого(ой), подозреваемого(ой)
(нужно подчеркнуть)
в преступлениях по ст. ст. УК РСФСР

Капитан вынул из железного стаканчика самопишущую ручку с золотым пером, подчеркнул нужное: «обвиняемого» — и доброжелательно посмотрел на своего визави.

— Итак? — сказал капитан.

— Вы хотите записать то, что я вам скажу? — спросил гость почти польщенно.

— Непременно,— кивнул капитан.

— Ладно, пишите,— вздохнул обвиняемый.— Я старый человек, получаю пенсию двенадцать рублей, а глаза у меня открыты и видят, где чего дают. В воскресенье утром в двадцать минут восьмого меня разбудила моя жена Циля. Записали? Она сказала: «Мойша, у нас нечего есть. Ты должен пойти на базар и продать что-нибудь из вещей». А я имею профессию сапожника и у меня всегда есть немножко кожи.

Я взял старые хромовые голенища и пошел на базар. И тут ко мне подходит этот ваш идиот и спрашивает: какое я имею право спекулировать. Я ему объясняю, что спекуляция — запишите — это когда покупают дешево, а продают дорого. А я ничего не покупаю, я только продаю. Тогда он спросил, какая у меня фамилия, и я ему сказал. И он взял меня за шиворот и потащил в ваше отделение. А вокруг собрался народ, и все стали говорить, что тут поймали шпиона. А я вам должен сказать откровенно, что я совсем не шпион. У меня есть очень хорошая профессия, и свой кусок хлеба я всегда заработаю. А если ему не понравилась моя фамилия...

— Какая фамилия? — перебил Миляга и занес ручку над протоколом.

— Моя фамилия — Сталин.

Капитан вздрогнул, но тут же не забыл улыбнуться.

— Как вы сказали?

— Вы хорошо слышали, как я сказал.

Капитан пришел в себя. Он встречал всяких сумасшедших, в том числе и страдающих манией величия. Он мигнул Свинцову, тот сделал движение рукой, и самозванец — много ли ему надо? — свалился со стула.

— О-ой! — застонал он, поднимаясь. — Ой, начальник, этот ваш идиот таки снова дерется! Вы видите, у меня из носа течет кровь. Я прошу записать это в ваш протокол.

С трудом поднявшись, он стоял перед капитаном и держался за нос, из которого действительно падали на пол большие красные капли.

— Ну ничего, — улыбнулся капитан. — Человек погорячился. Но у него были основания. Он, может быть, нервный, а вы его оскорбляете, называя идиотом. В его лице вы оскорбляете и те органы, которые он собой представляет. Я уже не говорю о том, что вы посмели назвать себя именем, которое всем нам слишком дорого, которое в нашей стране может носить только один человек, вы знаете, о ком я говорю.

— Ой, начальник! — покачал головой самозванец. — Зачем вы так строго со мной говорите? Вы даже не можете себе представить, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Вы будете вместе с вашим идиотом вылизывать с пола мою кровь языком. А потом я буду приходить к вам и буду снимать штаны, и вы вместе с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место.

Новый удар Свинцова свалил его с ног. При этом изо рта его вылетела вставная челюсть, стукнулась о косяк и раскололась надвое. Обхватив голову руками, самозванец стонал и выкрикивал что-то бессвязное.

— Свинцов, — сказал капитан, — а в самом деле, где его документы?

— Не знаю, — сказал Свинцов, — не смотрел.

— Посмотри.

Свинцов нагнулся над потерпевшим, обшарил и положил на стол капитана старый засаленный паспорт. Капитан брезгливо раскрыл паспорт, посмотрел и глазам своим не поверил. Может быть, первый раз в жизни улыбка сползла с лица капитана. Ему показалось, что в кабинете темно, он включил настольную лампу. Буквы, четко выведенные канцелярской тушью, прыгали перед глазами Миляги, он никак не мог их сложить. Слатин, Сатлин, Салтин... Нет, все-таки Сталин. Сталин Моисей Соломонович. Неужели родственник? Капитана знобило. Он уже видел себя представленным к стенке. Бог ты мой, что же это такое! Ведь отец Сталина, кажется, был сапожник!

— Свинцов! — сказал капитан, — не слыша собственного голоса. — Выйди из кабинета!

Свинцов вышел. Но это не облегчило положения

капитана. На какое-то время он просто сошел с ума и производил совершенно бессмысленную работу: то придвигал к себе какие-то бумажки, то отодвигал их. Потом схватил пресс-папье, придавил им паспорт, подал на паспорт и двумя руками осторожно подвинул его к краю стола.

А задержанный, между прочим, все еще лежал на полу.

Он лежал в прежней позе, скорчившись и держа голову двумя руками, словно боялся, что иначе она вовсе отвалится.

Капитан отодвинул стул и, приняв стойку «смирно», произнес во весь голос, словно командовал:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

Сталин отнял от лица одну руку и недоверчиво покосился на капитана.

— Здравствуйте, здравствуйте, — осторожно сказал он. — Мы уже виделись.

Надо было бы помочь ему встать, но капитан не решался. У него дрожали колени и во рту появился керосиновый привкус.

— Вы... — сказал он и сглотнул слюну. — Вы — и облизал губы. — Вы папа товарища Сталина?

— Ой, как у меня все болит! — Сталин пополз на четвереньках по полу, подобрал сперва один кусок челюсти, потом другой. — Мои зубы! — простонал он, глядя на эти обломки. — Боже мой, что я теперь без них буду делать?

Он с трудом поднялся и сел перед капитаном. Посмотрел ему в глаза.

— Что, испугался, бандит? — спросил он злорадно. — Садись, сволочь, сто бочек на твою голову. Где я возьму теперь такие зубы?

— Мы вам вставим новые, — поспешил заверить капитан.

— Новые, — передразнил старик. — Где вы возьмете такие новые, хотел бы я знать? Эти зубы вставлял мне мой сын. Разве в этом городе кто-нибудь умеет делать такие зубы?

— Эти зубы делал лично товарищ Сталин? — умилился капитан и протянул руку. — Можно потрогать?

— Дурак, — сказал Сталин, отодвигая обломки. — У тебя руки в крови, а ты ими все хочешь трогать.

И тут в мозгу капитана забрезжило спасительное воспоминание. Если это отец Сталина, то, значит, сам Сталин должен называться Иосиф Моисеевич. Но его ведь зовут... его ведь зовут... Миляга никак не мог вспомнить отчество любимого вождя.

— Я извиняюсь, — начал он нерешительно, — но ведь, кажется, у папы товарища Сталина другая фамилия. И имя не такое. — Постепенно капитан приходил в себя. — Почему же, собственно говоря, вы себя выдаете за папу товарища Сталина?

— Потому что я и есть папа товарища Сталина. Мой сын, товарищ Зиновий Сталин, самый известный в Гомеле зубной техник.

— Вот оно что! — К капитану вернулось игривое настроение. — Ну что ж, у нас зубные техники тоже работают очень неплохо.

Он нажал кнопку звонка. В дверях появилась Капа.

— Свинцова! — приказал капитан.

— Сейчас. — Капа вышла.

— Вы хотите опять позвать сюда этого идиота? — забеспокоился Сталин. — Вы знаете, я вам не советую этого делать. Вы еще молодой человек, у вас все впереди. Зачем вам портить свою карьеру? Послушайте совета старого человека.

— Я вас уже слушал, — улыбнулся капитан.

— Послушайте еще. Я с вас денег за совет не возьму. Я вам только хочу сказать, что если кто-нибудь узнает, что вы арестовали и били Сталина, пусть даже не того Сталина и даже не его папу,

а просто какого-нибудь Сталина, боже мой, вы даже не представляете, что с вами будет!

Капитан задумался. Пожалуй, старик прав. Положение действительно щекотливое.

Вошел Свинцов.

— Звали, товарищ капитан?

— Выйди,— сказал Миляга.

Свинцов вышел.

— Послушайте,— сказал капитан,— Моисей... Э...

— Соломонович,— не без достоинства подсказал Сталин.

— Моисей Соломонович, зачем вам носить эту фамилию? Вы же знаете, кому она принадлежит.

— Во-первых, она принадлежит мне,— сказал Моисей Соломонович.— Потому что мой отец был Сталин и мой дедушка тоже Сталин. Нам эту фамилию дали еще за царя. Дедушка имел небольшой заводик, где он варил сталь. И поэтому его прозвали Сталин.

— Но все-таки неудобно такое совпадение...

— Это вам неудобно, а мне даже очень удобно. Потому что если у меня будет фамилия Шпульман или, например, Иванов, так-таки этот ваш идиот сможет вставлять мне зубы, сколько захочет. Между прочим, в Гомеле начальник много раз предлагал мне менять мою фамилию, но я сказал ему одно слово — нет. Между прочим, он был на вас очень похож. Это был не ваш брат?

— У меня нет братьев,— грустно сказал капитан.— Я был единственный ребенок в семье.

— Мне-таки вас очень жаль,— посочувствовал Сталин.— Один ребенок в семье — это всегда плохо. Потому что он может вырасти эгоист.

На это замечание капитан ничего не ответил. Изорвав протокол допроса, он бросил его в корзину. Затем он встал, объявил гостю, что был очень рад познакомиться, и протянул руку. Но гость уходит не спешил. Прежде чем покинуть Учреждение, он попросил вернуть ему голенища и выписать направление в областную поликлинику для ремонта зубных протезов.

— Это мы устроим.— Капитан вызвал Капу и приказал ей немедленно составить соответствующий текст.

Капа была потрясена приказанием, не зная, чем оно продиктовано. Учреждение всегда проявляло заботу о людях, но не до такой же степени!

— Может быть, вы отправите его на курорт? — спросила она насмешливо.

Старик оживился и просил на курорт его куда не отправлять.

— Я очень люблю курорт и особенно Крым,— сказал он.— Крым — это жемчужина юга, это цимес. Но я боюсь, что туда скоро войдут эти немцы.

— Да, уж немцы бы вас полечили,— сказала Капа многозначительно.

Ей тут же пришлось пожалеть о своем неосмотрительном замечании. Старик выразил явное недовольство.

— Эта девушка, мне кажется, немножко антисемитка,— сказал он с явной тревогой за ее будущее.— А ведь она молодая и выросла, я думаю, не при старом режиме. А, наверное, она партийная или комсомолка.

Глядя на Капу как на несчастную калеку, он вздыхал, охал, качал головой и сказал с горечью, что, если она не изменит своих убеждений, ей придется тоже целовать его «в заднее место». Однако, прежде чем приступить к этой церемонии, ей придется вытереть губы.

— Потому что моя жена Циля,— объяснил он,— очень ревнива. И если она увидит губную помаду, получится целый гвалт и разлад семьи.

Не понимая, что происходит, Капа взглянула на

капитана. Почему он позволяет этому наглецу так разговаривать? Почему он не прикажет немедленно его расстрелять?

— Капочка,— улыбнулся ей капитан, явно торопясь замять инцидент,— я тебя очень прошу — пойди и выпиши товарищу направление.

Обиженно поджав губы, Капа отправилась выполнять приказание. Она тут же вернулась и, не глядя на старика, спросила, как его фамилия. Сталин охотно открыл рот, но его опередил капитан.

— Не нужно никакой фамилии,— быстро сказал он.— Напиши на предъявителя.

— Ничего не понимаю,— сказала Капа.— Что это за человек, у которого нет фамилии?

— У меня есть фамилия,— сказал старик.

— Да, у него есть фамилия,— подтвердил капитан,— но она секретная.— Он улыбнулся отдельно старику и отдельно Капе.— Пойди и напиши, что тебе сказано. Предъявитель сего направляется...

Несколько минут спустя капитан провожал старика до ворот, как самого почетного гостя. На лавочке у ворот действительно сидела старая женщина. Она держала на коленях рваную плетеную кошелку и смотрела прямо перед собой. Сразу было видно, что ожидание есть привычное ее состояние. Минуты и часы ожидания она заполняла обычно перечислением великих людей, которых дал миру ее народ. Сейчас она смотрела прямо перед собой и, загибая пальцы, бормотала:

— ...Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Троцкий, Свердлов, Ротшильд...

— Циля,— сказал ей Сталин,— я хочу познакомиться тебя с этим молодым человеком. Это очень интересный молодой человек.

— Он еврей? — оживилась Циля.

— Он не еврей, но он очень интересный молодой...

— Ох! — потеряв к Миляге интерес, покачала головой Циля.— Что у тебя за дурная привычка? Как только приезжаем на новое место, ты сразу идешь к этим гоям. Неужели ты не можешь найти себе другую компанию?

— Циля, ты напрасно так говоришь. Это очень хороший молодой человек. Он даже немножко лучше того, который был в Гомеле. Потому что тот, который был в Гомеле, держал меня в тюрьме трое суток и трое суток я ему объяснял, почему меня нельзя держать в тюрьме. А этот понял все сразу.

Вернувшись к себе, капитан Миляга сказал Капе что-то примирительное и взял у нее письмо, пришедшее с сегодняшней почтой. Вероятно, это была анонимка: Адрес Учреждения был написан левой рукой, адрес отправителя вовсе отсутствовал. В этом не было ничего необычного. В Учреждение, возглавляемое капитаном Милягой, граждане почти всегда писали письма без обратного адреса и за редкими исключениями левой рукой. (Исключения составляли левши, они обычно писали правой рукой.) В таких письмах содержались обычно мелкие доносы. Кто-то критиковал карточную систему. Кто-то выражал сомнение в нашей скорой победе над немцами. Кто-то на кухне рассказал анекдот сомнительного содержания. Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. «Слова данного поэта,— писал бдительный товарищ,— в песне «Лучше нету того свету...» звучат с пластинок и разносятся при помощи радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка «Как увижу, как услышу». Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. «Каку вижу, каку слышу» — вот как звучит этот текст, если прислушаться». Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта Куда Надо и задать ему прямой вопрос: «Что это? Ошибка или злой умысел?» Заодно автор письма сообщал, что он уже сигнализи-

ровал об этом вопиющем факте в местную газету, однако ответа до сих пор не получил. «Упорное молчание газеты,— делал вывод бдительный товарищ,— поневоле наводит на мысль, не находится ли редактор в преступной связи с поэтом Исаковским, а если находится, то не является ли это признаком разветвленной вредительской организации?»

К чести Учреждения надо сказать, что оно принимало меры далеко не по каждому такому сигналу, иначе на воле не осталось бы ни одного человека.

Итак, письмо, пришедшее с последней почтой, на первый взгляд казалось вполне заурядным. Но капитану почему-то подумалось, что именно в этом письме содержится важное сообщение. Он вскрыл письмо и с первых строк понял, что не ошибся.

«Сообщаем, что в нашем селе Красное скрывается дезертир и предатель Родины товарищ Чонкин Иван, который проживает в доме почтальона Беляшовой Анны и имеет при себе оружие, а также боевую технику в виде аэроплана, который не летает на бой с немецко-фашистскими захватчиками, а стоит в огороде без всякой пользы в период тяжелых испытаний для нашей страны. Красноармеец Чонкин Иван, хотя его место на фронте, на фронте не воюет, а занимается развратом, различными видами пьянки и хулиганства. Вышеупомянутый Чонкин Иван высказывал незрелые мысли и недоверие к марксистско-ленинскому учению, а также к трудам Ч. Дарвина о происхождении человека, в результате которых обезьяна в человека превратилась посредством труда и осмысленных действий. Плюс к вышеуказанному, он допустил преступную поправку скотиной Беляшовой Анной огорода известного местного селекционера и естествоиспытателя Гладышева Кузьмы, и этими своими действиями Чонкин, безусловно, нанес большой урон нашей советской науке сельского хозяйства на ниве гибридизации. Просим унять зарвавшегося дезертира и привлечь к ответственности по всей строгости советских законов. К сему жители деревни Красное».

Капитан прочел письмо и красным карандашом подчеркнул слова «дезертир, предатель, Чонкин». Синим карандашом подчеркнул фамилию «Гладышев», сбоку написал «анонимщик» и поставил вопросительный знак.

Письмо было как раз кстати. Пора было приниматься за претворение в жизнь указаний Верховного Главнокомандующего. Капитан вызвал к себе лейтенанта Филиппова.

— Филиппов,— сказал он ему,— возьми сколько тебе нужно людей, завтра поедешь в Красное, арестуешь дезертира по фамилии Чонкин. Ордер получишь у прокурора. Разузнай, кто такой Гладышев. Может быть, он нам еще пригодится.

19

С вечера небо затянуло обложными тучами, и пошел дождь. Он шел не переставая всю ночь, и к утру дорогу так развезло, что идти по ней было невыносимо. Нюра шла по обочине, и ее большие, отцовские еще сапоги то и дело слезали, приходилось придерживать их за голенища. Да еще сумка от дождя набухла и норовила сползти с плеча. Промаявшись так километра два с половиной, вышла Нюра к первой развилке и увидела крытую брезентом полуторку. Возле нее копалось несколько человек в серых гимнастерках. Промокшие и перелачканные с ног до головы, они расчидали кто лопатами, а кто и просто руками дорогу перед машиной, а один с двумя кубиками на петлицах стоял чуть в стороне и курил, прикрывая ладонью от дождя расклеившуюся самокрутку. Сзади из-за машины вышел огромный верзила с куском фане-

ры, используемой вместо лопаты. Увидев Нюру, огибавшую полуторку стороной, верзила остановился и уставился на нее зверскими своими глазами из-под рыжих бровей.

— Женчина! — вскричал он удивленно, словно встреча произошла на необитаемом острове.

Люди в серой форме бросили работу, повернулись к Нюре и стали молча ее разглядывать. Под их взглядами Нюра попятилась.

— Девушка! — окликнул Нюру тот, что курил.— До Красного далеко?

— Нет, не далёко,— сказала Нюра.— Вот еще с километр проедете, за бугор переверните, а там уже будет видно. А кого вам нужно? — Она осмелела.

— Там у вас дезертир какой-то живет, мать его в душу,— доверчиво объяснил стоявший возле лейтенанта боец с лопатой.

— Прокопов,— строго оборвал его лейтенант,— не болтай.

— А чего я такого сказал? — Прокопов бросил лопату и сел за руль. Машина тронулась, продвинулась немного вперед и снова засела в грязь. Нюра пошла дальше. Она прошла немного по дороге, потом забрала вправо и низом, низом вдоль речки кинулась назад, к Красному.

Чонкин спал так крепко, что разбудить его удалось не сразу. Пришлось даже плеснуть в лицо холодной воды. Нюра рассказала о людях, застрявших на дороге, о разговоре насчет дезертира.

— Ну и пуцай ловят своего дезертира,— мотал сонной головой и не мог ничего понять Чонкин.— Я-то здесь при чем?

— О, господи! — всплеснула руками Нюра.— Да неужто ты не можешь понять? Дезертир-то кто? Ты.

— Я дезертир? — удивился Чонкин.

— Я, что ли?

Чонкин спустил ноги с кровати.

— Чтой-то ты не то, Нюрка, болтаешь,— недовольно сказал он.— Какой же я тебе дезертир, сама подумай. Меня сюда поставили охранять эроплан. Сколь я ни обращался в часть, никто меня не слышит. Сам я покинуть пост не могу, не положено по уставу. Как же я могу быть дезертиром?

Нюра стала плакать и умолять Чонкина принять какие-то срочные меры, потому что им все равно ничего не докажешь.

Чонкин подумал и решительно встряхнул головой.

— Нет, Нюрка, прятаться мне негде, потому что я свой пост оставлять не имею права. И снять меня не может никто, кроме разводящего, начальника караула, дежурного по части или... — Чонкин подумал, какое еще ответственное лицо может снять его с поста, и решил, что после дежурного по части он может подчиниться не ниже чем генералу... — или генерала,— заключил он. И стал одеваться.

— И чего ж ты будешь делать? — спросила Нюра.

— А что мне делать? — пожал он плечом.— Пойду, стану на пост, и пуцай попробует кто подойти.

На дворе по-прежнему шел дождь, поэтому Чонкин надел шинель, а поверх нее натянул ремень с подсумками.

— Стрелять в их будешь? — с испугом спросила Нюра.

— Не тронут, не буду,— пообещал Чонкин.— А если уж тронут, пуцай не обижаются.

Нюра кинулась к Ивану, обхватила его шею руками, заплакала.

— Ваня,— попросила она, давась слезами.— Прощу тебя, не противься им. Убьют.

Чонкин провел рукой по ее волосам. Они были мокрые.

— Что делать, Нюрка,— вздохнул он.— Я ж часовой. Давай на всякий случай простимся.

Они поцеловались три раза, и Нюра, хотя и не умела этого делать, перекрестила его.

Чонкин перекинул винтовку через плечо, нахлобучил пилотку и вышел на улицу. Дождь как будто бы утихал, и где-то за Ново-Клюквинным засветилась неяркая радуга.

С трудом выдирая ноги из липкой грязи, Иван прошел к самолету, чувствуя, как в худой правый ботинок сразу же просочилась вода. Дождь шуршал, как пшено, по тугой обшивке крыльев, тяжелые капли дрожали на промасленном брезенте чехла. Чонкин забрался на правую нижнюю плоскость, а верхняя укрывала его от дождя. Сидеть было не очень удобно, потому что плоскость была покатою и скользкой. Зато обзор был хороший, и Чонкин держал в поле зрения обе дороги — верхнюю и ту, что шла вдоль берега Теты.

Прошел час, никто не появлялся. Прошло еще полчаса, Нюра принесла завтрак — картошку с молоком. Тут кончился дождь и выглянуло солнышко. Оно отразилось в лужах и засверкало яркими блестками в каждой капле. То ли от солнца, то ли от завтрака, то ли от того и другого вместе у Чонкина улучшилось настроение и прошло ощущение близкой опасности. И стал он даже немножко подремывать.

— Эй, армеец!

Чонкин вздрогнул и вцепился в винтовку. У забора стоял Плечевой. Он стоял босиком, и обе штанины его были подвернуты почти до колен. Через плечо перекинут был бредень.

— Ишу напарника с бредешком походить, — объяснил он, с любопытством поглядывая на Чонкина.

— Отойти, — сказал Чонкин и отвернулся. Но одним глазом приглядывал все-таки за Плечевым.

— Да ты что? — удивился Плечевой. — Обиделся на меня? Если ты насчет того, что я про Борьку рассказывал, так это ты зря. Я сам не видел, может, она с ним и не живет. — Плечевой повесил бредень на забор, нагнулся и проткнул ногу между жердями. Он собирался просунуть уже и вторую, но Чонкин соскочил с плоскости.

— Эй, эй, не лезь! Застрелю! — закричал он и направил винтовку на Плечевого.

Плечевой попятился назад, поспешно стащил бредень с забора.

— Чокнутый ты, паря, ей-богу, — проворчал он и направился к реке.

Тут из-за бугра показалась крытая машина. Шофер газовал и крутил баранку. Рядом с ним на подножке, держась за дверцу, стоял перепачканный лейтенант и командовал. Остальные люди в серых мундирах, уже и вовсе с ног до головы заляпанные грязью, взмыленные, подталкивали. Машина все равно пробуксовывала, и зад ее заносило то в одну сторону, то в другую. С любопытством наблюдая эту неожиданную сцену, Плечевой посторонился.

— Эй, товарищ, помог бы! — хрипло прокричал ему лейтенант.

— Ну да, делать нечего, — пробурчал Плечевой и, повернувшись, медленно пошел дальше. Но потом ему стало совсем любопытно, он вернулся и пошел обратно за машиной, которая подъехала к правлению и там остановилась.

20

Иван Тимофеевич Голубев в своем кабинете трудился над составлением отчета о ходе сеноуборки за последнюю декаду. Отчет был, конечно, липовый, потому что никакой уборки в последнюю декаду почти не было. Мужики уходили на фронт, бабы их собирали — какая уж тут уборка! В райкоме, однако, такую причину уважительной не считали, Борисов мате-

рился по телефону, требовал выполнения плана. Он, конечно, знал, что требует в эти дни невозможного, но бумажка о сделанной работе была для него важнее самой работы — его тоже материли те, кто стоял над ним. Поэтому он собирал бумажки со всех колхозов, складывал цифры, составлял свою бумажку и посылал в область, где на основании районных отчетов тоже сочиняли бумажку, и так шло до самого верха.

Вот почему председатель Голубев сидел сейчас в кабинете и вносил лепту в общее большое бумажное дело. Он расчертил лист бумаги на клеточки, в которых против фамилий бригадиров проставлял гектары, центнеры, проценты и трудодни. Потом позвал счетовода Волкова, сидевшего в соседней комнате. Волков быстро на счетах сложил цифры в каждой колонке, и председатель проставил их в графе «итога». Отпустив счетовода, председатель поставил свою четкую подпись, подул на свежиспеченный документ и отодвинул, чтобы полюбоваться издали. Цифры выглядели внушительно, и председатель поймал себя на ощущении, что сам этим цифрам частично верит. Сделав дело, встал, чтоб размяться. Потягиваясь, подошел к окну и застыл с поднятыми руками.

Перед конторой стояла полуторка с крытым верхом. Возле нее толпились перепачканные люди в серых мундирах, а двое поднимались уже на крыльцо. «За мной!» — ахнул мысленно председатель. Как ни готовился он к своей участи, но сейчас появление этих людей застало его врасплох. Тем более что он просился на фронт и, кажется, его просьбу собирались удовлетворить. Теперь все кончено. Председатель заметался по кабинету. Что делать? Бежать бессмысленно, да и куда — вон их шаги уже слышны в соседней комнате, там, где сидит счетовод. Спрятаться? Смешно. Вдруг взгляд его упал на только что составленную бумагу. Вот она, улика! Сам себе подписал приговор. Что делать? Сжечь? Поздно. Изорвать? Скляеть. Выход был только один. Иван Тимофеевич скомкал бумагу и затолкал в рот. Но прожевать не успел.

Дверь открылась, на пороге появились двое. У первого, зщуплого, были кубики на петлицах, у второго, со звероподобным лицом, — треугольнички.

Лейтенант, размазывая грязь, стер рукавом пот с лица и поздоровался. В ответ раздалось неясное мычание.

Решив, что перед ним обычный глухонемой, лейтенант недовольно поморщился, ибо не любил людей, не умеющих отвечать на задаваемые им вопросы.

— Где председатель? — строго спросил он. — Голова! — Руками он изобразил большую голову.

— Муу-у, — промычал председатель и покорно ткнул себя пальцем в грудь.

Лейтенант сперва удивился, он никогда не видел глухонемых председателей (как же он выступает на собраниях?), но подумал, что раз так есть, значит, так надо, и стал объяснять, помогая себе руками:

— Понимаешь, тут есть один человек... дезертир, понимаешь? — Лейтенант, как мог, изобразил сначала бой («паф-паф»), а затем человека, бегущего с поля боя. — И мы его должны... — Он выхватил из кобуры пистолет и ткнул председателя им в живот... — Руки вверх!

Председатель отвалил нижнюю челюсть, заснувший ком бумаги выпал у него изо рта, а сам он вдруг зашатался и рухнул на пол, ударившись при этом затылком о стену.

Лейтенант растерялся, посмотрел на председателя, потом на бойца, безмолвно застывшего возле дверей.

— Вот черт, — пробормотал он растерянно. — Увидел пистолет — и сразу в обморок. Бумагу зачем-то жрет. — Он поднял с пола изжеванную бумагу,

брезгливо развернул ее, посмотрел, бросил на стол. Потрогал лежащего носком сапога, потом нагнулся, стал бить его по щекам.— Эй, вставай, слышь, что ли, вставай, нечего тут придуриваться.— Взял руку, пощупал запястье.— Не разберу — есть пульс или нет.

Он расстегнул на председателе френч, рубашку и приложил ухо к груди.

— Свинцов, не топай,— сказал он и прислушался. Сердце если и билось, то так тихо, что его не было слышно.

— Ну что? — с любопытством спросил Свинцов.

— Не разберу.— Лейтенант поднялся с колен, хотел отряхнуть их, но, посмотрев на брюки, понял, что этого делать не надо.— А ну-ка послушай ты, у тебя, может, слух получше.

Свинцов, в свою очередь, стал на колени и приложил ухо к груди. Потом поднял голову и сказал:

— Мыши.

— Какие мыши? — не понял лейтенант.

— Под полом скребутся,— объяснил Свинцов.— А может, и крысы. Писк такой грубый, вроде бы не мышинный. У меня в подполе прошлый год завелись, а я попервах не понял, думал, мыши, и кошку сдуру туда и запусти. Так они на ее там как набросились, и хвост объели, еле жива осталась.

— Свинцов, я тебе разве мышей слушать приказывал? Сердце бьется или не бьется?

— А кто его знает,— ответил Свинцов.— Я же не врач и в этом деле без особого понимания. Я думаю так, фортку надо открыть для свежего воздуха. Если живой, значит, очнется, если мертвый — с носа чернеть начнет. А так разве определишь?

— Черт-те чего,— сказал в сердцах лейтенант,— народ какой-то пошел слаонервный. И чего они нас боятся? Мы же кого попало не хватаем, а только по ордеру. Ладно, хрен с ним, пусть лежит. Пойди в соседнюю комнату, приведи однорукого. Только не груби, а то и он загнется, где мы тогда понятого возьмем?

Свинцов открыл дверь в соседнюю комнату и позвал Волкова.

Волков робко переступил порог, а когда увидел лежащего под столом председателя, вовсе позеленел и затрясся от страха.

— Вы знаете этого человека? — кивнул лейтенант на неподвижно распластанное тело.

— Не знаком! — прокричал Волков, прикусив с перепугу язык.

— Как не знаком? — удивился лейтенант.— Кто же это?

— Председатель Голубев,— теряясь от нелепости своих ответов, пролепетал Волков.— Но я с ним только по службе, а в смысле личных отношений мы даже не разговаривали.

— Так уж не разговаривали? — недоверчиво посмотрел лейтенант.— Что ж это вы встречались и ни разу, ни одним словом не перемолвились?

— Ни одним... Ей-богу, ни одним. Я, конечно, беспартийный... образование у меня маленькое, я в этих делах ничего не понимаю.

— А мы тебя научим понимать,— с места сказал Свинцов.

— Он мне однажды, правда, сказал, что труды Маркса — Ангельса рабочему человеку понять трудно, тут, мол, нужно иметь специальную политическую подготовку.

— Так,— сказал лейтенант.— И все?

— И все.

Свинцов тяжело шагнул к Волкову и приставил к его носу огромный красный кулак, заляпанный родинками или веснушками.

— Ты у меня брось записывать, а то я тебе нос

набок сверну. Тебя лейтенант вежливо спрашивает, так ты, падло, вежливо отвечаешь.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы лейтенант не вспомнил, что пришел сюда вовсе не за тем, чтобы допрашивать Волкова. Оборвав грубость Свинцова, он объявил Волкову, что ему в качестве понятого доверяют присутствовать при аресте дезертира Чонкина.

21

Они шли развернутым строем по широкой улице Красного. Их было семь человек. Восьмым был счетовод Волков, он плелся, сильно отстав и испуганно озираясь по сторонам, словно ждал неожиданного нападения сзади.

Завидев их, жители деревни прятались по избам и осторожно выглядывали из-за занавесок, дети переставали плакать, и собаки не лаяли из-под ворот.

Тишина стояла, как перед рассветом в тот самый час, когда все, кто ложится поздно, уже легли, а те, кто рано встает, еще не встали.

Люди, смотрившие за ними из-за занавесок, замирали, когда строй приближался к их избам, и облегченно вздыхали, когда он проходил мимо. И снова затаивались в любопытстве и страхе: куда же они? К кому?

Когда же серые люди прошли дом Гладышева, всем стало ясно: идут к Чонкину, больше не к кому — одна только изба перед ними осталась, последняя.

— Стой! Кто идет? — неожиданно для всех раздался голос Чонкина. В предшествующей тишине он показался таким громким, что его услышала вся деревня.

— Свои,— не останавливаясь, буркнул лейтенант и дал знак подчиненным не задерживаться, идти дальше.

— Стой! Стрелять буду! — Чонкин щелкнул затвором.

— Не стреляй, ты арестован! — прокричал лейтенант, на ходу расстегивая кобуру револьвера.

— Стой! Стрелять буду! — повторил Чонкин и, взяв оружие на изготовку, дал предупредительный выстрел в воздух.

— Бросай оружие! — Лейтенант быстрым движением выхватил пистолет и, не целясь, выстрелил в направлении Чонкина. Чонкин ловко нырнул под фюзеляж и вылез с другой стороны. Пуля прошла капот двигателя и застряла где-то там внутри.

Чонкин пристроил винтовку на конце фюзеляжа возле кили и осторожно высунул голову. Серые приближались. Теперь они все держали пистолеты в руках, а безоружный счетовод Волков, все удаляясь от лейтенанта и отставая, стремился укрыться за широкой спиной Свинцова. Чонкин, не теряя времени, совместил линию прицела с подбородком лейтенанта и нажал на спусковой крючок. Но в этот момент его кто-то толкнул под локоть, и это спасло лейтенанта. Пуля просвистела над самым его ухом.

— Ложись! — крикнул лейтенант и первым самоотверженно бухнулся в грязь.

Чонкин вздрогнул и обернулся. Испуганный выстрелом кабан Борька отскочил и теперь приближался снова с настороженным дружелюбием.

— Брысь! — Чонкин замахнулся на Борьку прикладом, но тот, поняв этот жест как шутку, набросился на Ивана, и унять его было не просто. А серые, хоть и залегли рядом со своим командиром, могли в каждую минуту ринуться в наступление.

Первым опомнился лейтенант.

— Эй, ты! — Отклеившись от земли, лейтенант поднял над головой какую-то бумагу.— Ты арестован. Вот ордер на твой арест, подписанный прокурором.

— Неужели сам прокурор подписал? — удивился Чонкин.

— А что же я буду обманывать? — обиделся лейтенант не столько за себя, сколько за свое учреждение. — Мы без санкции прокурора не берем.

— И фамилию мою прокурор знает?

— А как же. Ты ведь Чонкин?

— Чонкин. А то кто ж. — Он даже засмеялся, смущенный тем, что такие большие люди отрывались от своих больших дел, запоминали его фамилию и записывали на официальной бумаге.

— Ну, так ты будешь сдаваться? — допытывался лейтенант.

Чонкин подумал. Ордер — документ, ничего не скажешь, серьезный. Но в уставе не сказано, чтоб часового с поста снимали по ордеру.

— Не могу, товарищ лейтенант, никак не могу, — придавая своему голосу интонацию полного сочувствия, сказал Чонкин. — Я, конечно, понимаю — у вас задание. Но кабы ж ты был разводящий, либо начальник караула, или хотя б дежурный по части...

— Считай, что я дежурный по части, — согласился лейтенант.

— Не, — сказал Чонкин. — В нашей части таких нет. Я всех командиров знаю на личность, потому служил при столовой. Понял? И форма у тебя не такая.

— Ну, ладно, — рассердился лейтенант. — Не хочешь сдаваться по-хорошему, заставим по-плохому.

Он решительно встал на ноги и двинулся к Чонкину. В одной руке он держал пистолет, а другую с ордером поднял над головой. За лейтенантом поднялись и осторожно передвигались его подчиненные. Счетовод Волков остался на месте.

— Эй! Эй! — закричал Чонкин. — Лучше стойте! А то ведь я буду стрелять! Я ведь на посту!

Он во что бы то ни стало хотел избежать кровопролития, но ему больше не отвечали. Чонкин понял, что переговоры завершились неудачно, и снова перекинул винтовку через фюзеляж. Борька мешал ему, хватал зубами за полу шинели, тогда Чонкин левой рукой стал чесать ему бок, приговаривая: «Боря-Борь-Борь-Борь». Держать винтовку одной рукой было неудобно, но зато Борька теперь не мешал, он тут же размяк, улегся в грязь и задрал ноги. Как все свиньи, он любил ласку.

— Чонкин! — предупредил лейтенант. Приближаясь, он размахивал ордером и пистолетом. — Не вздумай стрелять, хуже будет.

Прозвучал выстрел, пуля прожгла бумагу насквозь, да еще в том самом месте, где стояла печать с подписью прокурора. Лейтенант и его подчиненные, теперь уже без команды, повалились на землю.

— Ты что наделал, паскуда! — чуть не плача закричал лейтенант. — Ты испортил документ, подписанный прокурором! Ты прострелил печать с гербом Советского Союза! Ты за это ответишь!

Очередной выстрел снова заставил его ткнуться в грязь носом. Стараясь не поднимать голову, лейтенант повернул лицо к Свинцову.

— Свинцов, заползай с той стороны! Надо его отвлечь.

— Есть! — ответил Свинцов и приподнял зад, в который тут же, как шмель, впилась пуля, посланная Чонкиным.

Свинцов вдавил себя в мокрую землю и заревел нечеловеческим голосом.

— Что с тобой, Свинцов? — обеспокоился лейтенант. — Ты ранен?

— Ва-ва-ва-ва! — выл Свинцов не от боли, а от страха, что рана смертельная.

Чонкин из-за укрытия бдительно следил за своими противниками. Они лежали в грязи, и все, кроме

рыжего, не подавали признаков жизни. Позади всех лежал влипший в эту историю ни за что ни про что счетовод Волков.

За своей спиной Чонкин услышал чьи-то медленные шаги.

— Кто там? — вздрогнул он.

— Это я, Ваня, — услышал он голос Нюры.

— А, Нюрка, — обрадовался он. — Подойди. Только не высувайся, убьют. Почеши кабана.

Нюра присела над кабаном, стала чесать его за ухом.

— Видала, — довольно сказал Чонкин. — А ты боялась.

— А дальше-то что будет? — уныло спросила Нюра.

— А чего дальше? — Чонкин не спускал глаз с лежавших в грязи. — Пуцай лежат, покуда меня не сменят.

— А если тебе на двор надо будет?

— Если на двор... — Чонкин задумался. Но тут же нашел выход из положения. — Тогда ты посторожишь.

— А когда стемнеет? — спросила Нюра.

— И когда стемнеет, будем стеречь.

— Глупой, — вздохнула Нюра. — Они же серые. Их и сейчас в грязи не видать. А когда стемнеет и вовсе.

— Ну вот еще каркаешь тут под руку, — рассердился он на Нюру по свойственной человеку привычке направлять свой гнев на тех, кто говорит неприятную правду, как будто, если не говорить, сама правда от этого станет лучше. Но все же Чонкин задумался, стал перебирать в уме возможные варианты. И придумал.

— Нюрка, — сказал он, повеселев. — Вали в избу, возьми сумку и веревку подлиннее. Поняла?

— Нет, — сказала Нюра.

— Опосля поймешь. Вали.

22

Вскоре желающие могли видеть такую картину. Из своей избы вышла Нюра с длинной веревкой и с почтальонской брезентовой сумкой. Она зашла сзади лежавших на дороге людей и дала Чонкину знак рукой.

— Эй, вы! — закричал Чонкин из-за своего укрытия. — Сейчас к вам подойдет Нюрка, сдадите ей левольверы. Кто будет противиться, убью на месте. Понятно?

Ему никто не ответил. Нюра привыкла чистить рыбу с головы. Сначала она подошла к лейтенанту.

— Отойди, сука, застрелю, — прошипел лейтенант, не поднимая головы.

Нюра остановилась.

— Ваня! — закричала она.

— Чего?

— Он обзывается.

— А ну отойди в сторонку! — Чонкин навел ствол на лейтенанта и прищурил левый глаз.

— Эй, не стреляй! Я пошутил! Вот мой пистолет.

Высоко, чтобы Чонкин видел, лейтенант перебрал пистолет через себя, и он плюхнулся к ногам Нюры. Нюра очистила его от грязи и бросила в сумку.

— А ты, дядя, чего ждешь? — перешла Нюра к Свинцову, который лежал в такой позе, как будто хотел обнять всю землю.

— А я, милая, не жду, — со стоном сказал Свинцов. — Вот он лежит. — Действительно, его револьвер системы «наган» лежал в стороне от хозяина на подсыхающей кочке. Нюра кинула его тоже в сумку.

— Ой! — простонал Свинцов. — Ой, не могу!

— Раненый, что ли? — обеспокоилась Нюра.

53

— Раненый, милая. Мне перевязочку бы. Кровью ведь изойду. Детишек у меня трое. На кого оставляю?

— Сейчас, сейчас, потерпи еще,— заторопилась Нюра. Хотя Свинцов был на вид чистый зверь, но у нормального человека даже зверь вызывает жалость, если страдает.

Дальше все пошло как по маслу. Остальные члены приезжей команды, видя добрый пример старших по званию, беспрекословно подчинились и сдали оружие. Они даже не стали сопротивляться, когда Нюра связывала их общей веревкой, наподобие того, как связываются альпинисты перед трудным подъемом.

23

Дело шло к концу рабочего дня. От наряда, посланного на поимку дезертира, не было ни слуху ни духу, и капитан Миляга начал нервничать. Секретарша Капа битых два часа просидела на телефоне, извела телефонисток на станции, но в Красном никто не снимал трубку.

— Ну что? — то и дело высовывался из кабинета начальник.

Капа виновато пожимала своими хрупкими плечиками, словно из-за нее получилась такая история, и снова терпеливо крутила ручку телефонного аппарата.

За десять минут до конца работы Капа стала приводить в порядок прическу, не зная, стоит ли это делать. Если начальник позвет к себе, то все равно растреплет. Но сегодня, наверное, не позвет, куда-то запропастились эти гаврики во главе с лейтенантом Филиповым, и начальнику явно не до нее. Ровно в восемнадцать часов над дверью раздался резкий звонок. Капа подхватилась и, вихляя задом чуть больше, чем в обычное время, вошла к капитану, цвета ему навстречу неофициальной улыбкой.

Капитан, улыбаясь в ответ, предложил ей прогуляться в деревню Красное, потому что из сотрудников никого кроме нее не осталось, а он в данный момент покинуть учреждение не может.

— Если хочешь, тут лошадь какая-то прибилась — возьми,— сказал капитан.

— Я ездить верхом не умею,— робко сказала Капа.

— Ну тогда так пробегись. Ты молодая, тебе семь километров не крюк.

— Да что вы, Афанасий Петрович! — обиделась Капа.— Куда я побегу по такой грязище?

— Ничего, наденешь резиновые сапоги,— сказал капитан.— Тебе и идти-то только в одну сторону, а обратно вместе со всеми на машине приедешь. Да я думаю, ты их вообще встретишь на полдороге.

Капа пробовала еще возражать, но капитан ледяно улыбнулся и, назвав ее по фамилии (это был признак крайнего раздражения), как дважды два объяснил Капе, что хотя она и является вольнонаемной, но служба в военном учреждении в военное время обязывает ее выполнять приказания беспрекословно, точно и в срок, о чем она давала подписку, нанимаясь на эту работу.

Трясущимися губами Капа сказала «есть!» и с плачем вылетела из кабинета. Она побежала домой за резиновыми сапогами и по дороге клялась самыми страшными клятвами, что никакие уговоры и никакие угрозы (вплоть до увольнения) не заставят ее больше лечь с этим бессердечным человеком на этот кошмарный ободраный и продавленный, залепанный чернилами служебный диван. Однако приказания ей выполнить не удалось. Ее муж, директор местного молокозавода, давно подозревавший жену в том, что она ему изменяет, устроил ей сцену ревности и запер в чулане.

Солнце клонилось к горизонту, когда капитан Миляга, не дождавшись возвращения своих подчинен-

ных и никаких известий от Капы, запер вверенное ему Учреждение на большой висячий замок, оседлал приبلудную лошадь и верхом отправился вслед за пропавшей командой.

24

По подсохшей к концу дня дороге лошадь быстро несла капитана Милягу вперед в неизвестность. Временами она от избытка энергии переходила на рысь, но капитан ее сдерживал, желая продлить неожиданную прогулку. Настроение Миляги улучшилось. Он беспечно поглядывал по сторонам, воспринимая затемненную сумерками местность как что-то особенное. «Эх,— думал он,— до чего все же наша природа красива! В какой еще стране найдешь такие сосны, березки и прочее?» Ни в какой другой стране Миляга в жизни своей не бывал, но по врожденному патриотизму был убежден, что достойная внимания растительность там вовсе не водится. «Хорошо! — радовался он, наполняя воздухом прокуренные легкие.— Думается, процент содержания кислорода здесь больше, чем в кабинете». Последнее время Миляга проводил в кабинете дни и ночи, принося посильный вред себе и отечеству. Правда, особо ретивым не был он никогда. И давал постоянно средние показатели, понимая, что на невидимом фронте ударником быть так же опасно, как отстающим. В жизни работника той службы, к которой принадлежал капитан, бывают тревожные моменты, когда торжествует Законность. За время своей карьеры Афанасию Миляге дважды пришлось пережить подобную неприятность. Оба раза шерстили всех сверху донизу, но Миляге удалось уцелеть и даже продвинуться по службе от старшего надзирателя до начальника районного отдела. Это позволяло ему смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, с надеждой уцелеть, когда в очередной раз восторжествует Законность.

Размышляя таким образом, не заметил он, как стемнело, и уже в полной темноте въехал в Красное. Остановившись у крайней избы, капитан услышал за калиткой строгий женский голос:

— Борька, шут тебя подери, ты пойдешь домой или нет, или хочешь, чтобы я тебя хворостиной огрела.

В ответ послышалось веселое хрюканье, из чего капитан по свойственной ему привычке анализировать и сопоставлять всевозможные факты догадался, что Борька не человек.

— Девушка,— сказал капитан в темноту,— не знаешь, где тут наши работники?

— Какие работники?

— Сама знаешь,— стыдливо сказал Миляга.

За калиткой помолчали, потом тот же женский голос осторожно спросил:

— А вы кто такой будете?

— Много будешь знать, скоро состаришься,— шутил капитан.

— Здесь они все, в избе,— подумав, нерешительно сказала девушка.

— Можно зайти? — спросил он.

Девушка поколебалась и опять ответила неуверенно:

— Заходите.

Он ловко соскочил на землю, привязал лошадь к забору и прошел в калитку. Женщина, молодая (как он успел заметить даже в темноте), напоследок обозвав невидимого Борьку паразитом, открыла дверь и пропустила капитана вперед.

Он прошел темными сенями, задев какие-то гремящие вещи, потом по коридору, шаря рукой по стене.

— Дверь справа,— сказала девушка.

Нащупав ручку, он вошел в какую-то комнату и зажмурил глаза — на столе горела двенадцатилинейная лампа. Привыкнув немного к свету, он увидел своих подчиненных в полном сборе в количестве семи человек. Пятеро из них сидели на лавке вдоль стены. Лейтенант Филиппов, подложив под щеку кулак, спал на полу, а седьмой — Свинцов — лежал кверху задом на кровати и тихо стонал. Посреди комнаты на табуретке сидел боец с голубыми петлицами и держал в руках винтовку с примкнутым штыком. Увидев вошедшего, боец сразу повернулся и направил винтовку на него.

— Что здесь происходит? — строго спросил капитан.

— Не кричи, — сказал боец, — раненого разбудить.

— Ты кто такой? — закричал Миляга, хватаясь за кобуру.

Тогда боец вскочил с табуретки и приблизил штык к животу капитана.

— Руки вверх!

— Я тебе сейчас дам руки вверх, — улыбнулся капитан, пытаясь расстегнуть кобуру.

— Я ведь пырну, — предупредил красноармеец.

Встретившись с его беспощадным взглядом, капитан понял, что дело плохо, и медленно поднял руки.

— Нюрка, — сказал боец девушке, все еще стоявшей возле дверей, — забери у него револьвер и брось в кошелку.

25

Прошло несколько дней с тех пор, как исчезло ведомство капитана Миляги, но в районе никто этого не заметил. И ведь пропала не иголка в сене, а солидное Учреждение, занимавшее в ряду других учреждений весьма заметное место. Такое учреждение, что без него вроде и шагу ступить нельзя. А вот пропало и все, и никто даже не ойкнул. Люди жили, работали, рождались и умирали, и все это без ведома соответствующих органов, а так, самотеком.

Это безобразие продолжалось бы неизвестно доколе, если бы первый секретарь райкома товарищ Ревкин постепенно не стал ощущать, что вокруг него как будто не хватает чего-то. Это странное ощущение постепенно в нем укреплялось, оно сидело в нем, как заноза, и напоминало о себе везде, где бы Ревкин ни находился — на бюро райкома, на совещании передовиков, на сессии райсовета и даже дома. Не сумев разобраться в своем состоянии, он потерял аппетит, стал рассеян и однажды дошел до того, что надел кальсонки поверх галифе и в таком виде пытался отправиться на работу, но персональный шофер Мотя его тактично остановила.

И вот как-то ночью, когда он лежал, смотрел в потолок, вздыхал и курил папиросу за папиросой, жена Аглая, лежавшая рядом, спросила его:

— Что с тобой, Андрей?

Он думал, что она спит, и подавился дымом от неожиданного вопроса.

— В каком смысле? — спросил он, откашлявшись.

— Ты в последние дни стал какой-то нервный, спал с лица, ничего не ешь и все время куришь. У тебя неприятности на работе?

— Нет, — сказал он, — все в порядке.

— Ты здоров?

— Абсолютно.

Помолчали.

— Андрей, — волнуясь, сказала жена, — скажи мне как коммунист коммунисту: может быть, у тебя нездоровые настроения?

С Аглаей он познакомился больше десяти лет назад, когда оба они проводили коллективизацию. Аглая, тогда еще двадцатипятилетняя комсомолка

с пылающим взором, покорила Ревкина тем, что дни и ночи проводила в седле, лихо носясь по району, выискивая и разоблачая кулаков и вредителей. Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады к врагам, которых тогда в большом количестве отправляли в холодные земли. Она не всегда понимала гуманную линию партии, не разрешавшей уничтожать всех на месте. Теперь Аглая заведовала детским домом.

Услышав заданный ему вопрос, Ревкин задумался. Он погасил одну папиросу и закурил вторую.

— Да, Глаша, — сказал он, подумав, — ты, кажется, права. У меня действительно нездоровые настроения.

Опять помолчали.

— Андрей, — тихо и непреклонно сказала Аглая, — если ты сам в себе чувствуешь нездоровые настроения, ты должен разоружиться перед партией.

— Да, должен, — согласился Андрей. — Но что будет с нашим сыном? Ведь ему только семь лет.

— Не беспокойся. Я воспитаю его настоящим большевиком. Он забудет даже, как тебя звали.

Она помогла мужу собрать чемодан, но провести в одной постели остаток ночи отказалась по идейным соображениям.

Утром, когда пришла машина, Ревкин приказал шоферу Моте отвезти его Куда Надо, потому что пешком он последнее время не ходил и не смог бы найти дорогу.

К его немалому удивлению, Где Надо Кого Надо не оказалось. Не было ни часовых, ни дежурных, и на больших зеленых воротах висел массивный замок. Ревкин стучал в дверь и в ворота, пытался заглянуть в окна первого этажа — никого не было видно.

«Странно, — подумал Ревкин. — Как это может быть, чтобы в таком Учреждении никого не было?»

— А здесь уже с неделю, наверное, как замок висит, — сказала Мотя, словно угадав его мысли. — Может, их давно разогнали.

— Не разогнали, а ликвидировали, — строго поправил Ревкин и приказал ехать в райком.

По дороге он думал, что в самом деле исчезновение такого серьезного Учреждения нельзя объяснить ничем, кроме как ликвидацией. Но если это так, то почему никто не поставил его в известность? И вообще можно ли ликвидировать, да еще в военное время, организацию, при помощи которой государство охраняет себя от внутренних врагов? И не объясняется ли исчезновение происками этих самых врагов, которые теперь наверняка активизировали свою деятельность?

Запершись в своем кабинете, Ревкин раззвонил ряд соседних районов и путем осторожных расспросов выяснил, что повсюду те, Кто Надо, по-прежнему имеются и вполне активно функционируют. От этого известия легче не стало. Положение теперь казалось еще более запутанным. Необходимо было организовать срочное расследование.

Ревкин снял трубку и попросил соединить его с капитаном Милягой.

— Не отвечает, — сказала телефонистка, и только тогда Ревкин понял всю нелепость этого звонка. Ведь если бы Миляга существовал, ему незачем было б звонить. Но, с другой стороны, кто может разбираться в сложном деле исчезновения всех, Кого Надо, если именно те, Кому Надо, и должны заниматься, такими делами?

«Надо подать проект, — подумал секретарь, — чтобы в каждом районе было два Учреждения. Тогда первое будет выполнять свои функции, а второе будет наблюдать, чтобы не пропало первое».

Ревкин отметил эту мысль на листке настольного календаря, но тут же явилась следующая: «А кто же будет наблюдать за другим Учреждением? Значит,

нужно создать третье, а за третьим — четвертое и так далее до бесконечности, но кто же тогда будет заниматься другими делами?» Получался какой-то заколдованный круг.

Однако размышлять долго некогда, надо действовать.

Ревкин послал шофера Мотю на рынок послушать, что говорят бабы. Мотя вскоре вернулась и сообщила, что бабы говорят, будто Учреждение в полном составе выехало в деревню Красное арестовывать какого-то дезертира. Нить была найдена. Теперь Ревкин снова чувствовал себя на своем месте, и непонятное ощущение исчезло, словно заноза, вынутая пинцетом.

Ревкин позвонил в Красное. К телефону подошел председатель Голубев (ожил, оказывается). На вопрос Ревкина, где находится выехавшая в Красное команда, Голубев сказал:

— А их Чонкин арестовал со своей бабой.

Слышимость, конечно, была плохая. Да и трудно было себе представить, чтобы какой-то Чонкин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех, Кого Надо. То есть не надо. Ревкину показалось, что Голубев сказал не «с бабой», а «с бандой».

— И большая у него банда? — поинтересовался он.

— Да как сказать... — замылся Голубев, вызывая в своем воображении образ Нюры... — вообще-то порядочная.

Не успел еще Ревкин положить телефонную трубку, как уже поползли по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда Чонкина. Она многочисленна и хорошо вооружена.

По поводу личности самого Чонкина толки были самые противоречивые. Одни говорили, что Чонкин — это уголовник, бежавший из тюрьмы вместе со своими товарищами. Другие спорили, что Чонкин — белый генерал, который последнее время жил в Китае, а теперь вот напал на Советский Союз, собирает он несметное войско, и к нему отовсюду стекаются люди, обиженные Советской властью.

Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая, что под фамилией «Чонкин» скрывается сам Сталин, бежавший от немцев. Рассказывали, что его охрана состоит исключительно из лиц грузинской национальности, а баба у него русская, из простых. Еще рассказывали, что Сталин, увидя, какие порядки творятся в районе, пришел в сильное негодование. Он вызывает к себе всевозможных начальников и сурово наказывает их за вредительство. В частности, арестовал и приказал тут же расстрелять полностью личный состав всех, Кого Надо, во главе с самим капитаном Милягой.

Циля Сталина принесла эту новость из очереди за керосином.

— Мойша, ты слышал? — сказала она мужу, который у окна заколачивал гвозди в подметку. — Люди говорят, что какой-то Чонкин расстрелял твоего знакомого гоя.

— Да, я слышал, — вынув изо рта гвозди, сказал Моисей Соломонович. — Это был интересный молодой человек, и мне его очень жаль.

Циля пошла разжигать керосинку, но тут же вернулась.

— Мойша, — сказала она взволнованно, — а как ты думаешь, этот Чонкин еврей?

Моисей Соломонович отложил молоток.

— Чонкин? — повторил он удивленно. — Мне кажется, это ихняя фамилия.

— Чонкин? — Циля посмотрела на мужа, как на глупого человека. — Ха! Он будет мне еще говорить! А как же тогда Ривкин и Зускин?

Возвратясь к керосинке, она сама себе на разные

лады повторяла фамилию «Чонкин» и в сомнении качала седой своей головой.

Чтобы как-то нейтрализовать зловещие слухи, местная газета «Большевицкие темпы» в разделе «Занимательная информация» поместила ряд любопытных сведений. Было рассказано, например, о тритоне, пролежавшем пять тысяч лет в замороженном виде и ожившем после того, как его отогрели; о том, что некий народный умелец, слесарь из города Чебоксары, выцарапал на пшеничном зерне полный текст статьи Горького «С кем вы, мастера культуры?». Но поскольку слухи продолжали распространяться, газета, стремясь направить умы по иному руслу, открыла на своих страницах дискуссию: «Правила хорошего тона — нужны ли они?». В статье под таким заголовком лектор райкома Неужелев писал, что всемирно-историческая победа Октябрьской революции принесла народам нашей необъятной страны не только освобождение от власти капиталистов и помещиков, но и отвергла прежние нормы морали и нравственности, заменив их новыми, отражающими коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях. Новые нормы прежде отличаются четким классовым подходом. Общество победившего социализма, писал лектор, не приемлет буржуазные правила хорошего тона, в которых проявились принципы господства одних людей над другими. Навсегда исчезли из обращения «господин», «милостивый государь», «слуга покорный» и прочие. Слово «товарищ», с которым мы обращаемся друг к другу, свидетельствует не только о равенстве между собой различных групп населения, но и о равенстве мужчин и женщин. Вместе с тем мы отвергаем и проявления нигилизма в области отношений трудящихся между собой. Неужелев утверждал, что, несмотря на новые принципы, некоторые традиционные нормы поведения должны быть сохранены и в нашем социалистическом обществе. Например, в общественном транспорте (которого, к слову сказать, в Долгове отродясь не бывало) необходимо уступать место инвалидам, людям преклонного возраста, беременным женщинам и женщинам с детьми. Мужчина должен первым здороваться с женщиной, но не подавать первым руку, пропускать женщину вперед и снимать головной убор, находясь в помещении. Конечно, необязательно целовать дамам ручки, но проявлять внимание и чуткость к товарищам по производству и просто к соседям необходимо. В связи с этим совершенно неприемлимы такие пережитки прошлого, как взаимная грубость или цензурная брань. Недопустимо также играть на музыкальных инструментах после двадцати трех часов. Приведя ряд отрицательных примеров, автор заканчивал статью мыслью, что взаимная вежливость является основой хорошего настроения, от которого в конечном итоге зависит производительность нашего труда. А поскольку от нашей работы в тылу зависит победа на фронте, решающий вывод напрашивался сам собой.

На некоторых статья произвела сильное впечатление.

Между прочим, в то время в городе Долгове среди прочих проживали два весьма заметных гражданина. За давностью лет никто уже не помнит их имен, званий и должностей. Старожилы рассказывают, что это были два чудаковатых субъекта, которые летом в соломенных шляпах, а зимой в серых папахах встречались на площади Коллективизации и не спеша прогуливались по улице Поперечно-Почтамтской от площади до колхозного рынка и обратно. Во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы. То, что они в разгар военных

действий находились в Долгове, а не в действующей армии, заставляет предположить, что они были непризывного возраста.

Вечером того дня, когда вышла газета со статьей Неужелева, эти мыслители, встретившись, как обычно, на площади, приветствовали друг друга легким поднятием шляп.

— Ну что вы на это скажете? — с места в карьер спросил Первый Мыслитель и тут же крутнул головой налево, направо, назад и опять налево, направо, чтобы убедиться, что никто не следит и не подслушивает.

Второй Мыслитель не стал спрашивать, на что на это. В результате постоянных общений они научились понимать друг друга с полупамятки. Второй Мыслитель тоже совершил как бы ритуальное вращение головой налево, направо, назад и сказал:

— Ах, бросьте! Надо же им чем-то заполнять газетную площадь.

— Вы так думаете? — хитро прищурился Первый. — Что же им больше не о чем писать? Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину, стоят возле Москвы, в районе тоже полная неразбериха: урожай не убран, скотина без корма, где-то орудует банда какого-то Чонкина, а районной газете не о чем больше писать, как о хороших манерах?

— Бросьте, — повторил Второй Мыслитель. — Какому-то лектору взбрело в голову...

— Вот тут-то вы и ошибаетесь! — радостно взвизнул Первый Мыслитель. Это была его коронная фраза. В каждом споре со своим собеседником он с замиранием сердца ждал именно такого момента, чтобы сказать: «Вот тут-то вы и ошибаетесь!»

— Ни в чем я не ошибаюсь, — недовольно проворчал его собеседник.

— Уверю вас, ошибаетесь. Поверьте мне, я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбрет в голову без указания свыше. Здесь все сложнее и проще. Они наконец-то поняли, — Первый Мыслитель крутнул головой и понизил голос, — что без возврата к прежним ценностям мы проиграем войну.

— Из-за того, что не целуем дамам ручки?

— Да-да! — вскричал Первый Мыслитель. — Именно из-за этого. Вы не понимаете элементарных вещей. Сейчас идет война не между двумя системами, а между двумя цивилизациями. Выживет та, которая окажется выше.

— Ну, знаете! — развел руками Второй Мыслитель. — Это уж слишком. Когда-то гунны...

— Что вы мне говорите про гуннов? Вспомните Македонского!..

И тут пошло! Гунны, Александр Македонский, война с филистимлянами, крестовые походы, переход через Альпы, битва при Марафоне, штурм Измаила, прорыв линии Мажино...

— Вы не понимаете! — размахивал руками Первый Мыслитель. — Между Верденом и Аустерлицем большая разница!

— А что вы мне со своим Аустерлицем? Вы возьмите Трафальгар!

— Заберите его себе!

Так по дороге от площади до рынка и обратно они проспорили несколько часов подряд, размахивая руками, останавливаясь, понижая и вновь повышая голос. К единому мнению они не пришли, но зато подышали воздухом, что, как известно, приносит организму большую пользу. Разойдясь далеко за полночь, оба потом долго не спали, перебирая в памяти подробности разговора, и каждый при этом думал: «А вот завтра я ему скажу...»

Достаточно сильное впечатление статья о хороших манерах произвела и на других жителей города. Старая учительница в полемической заметке «А почему бы и нет?», отдавая должное классовому подходу,

утверждала тем не менее, что целовать руки дамам не только можно, но и нужно. «Это, — писала она, — красиво, элегантно, по-рыцарски». А рыцарство, по ее словам, является неотъемлемой чертой каждого советского человека. С резкой отповедью учительнице в заметке «Еще чего захотели!» выступил знатный забойщик скота Терентий Кныш. Для чего же, писал он, рабочему человеку целовать руки какой-то даме? А что если у ней руки не мыты, или того хуже — чесотка? «Нет уж, извините, — писал Кныш, — скажу вам с рабочей прямоотой: если у вас нет справки от доктора, я целовать вам руки не буду». Местный же поэт Серафим Бутылко разразился длинным стихотворением «Я коммунизма ясно вижу дали», не имевшим, впрочем, прямого отношения к теме дискуссии.

Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила учительницу и Кныша за крайности и в конце концов заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто.

Пока газета отвлекала население, руководители района, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что Чонкин скорее всего командир немецких парашютистов, которые высадились в районе, чтобы дезорганизовать работу тыла и подготовить наступление войск на данном участке.

Не зная, что делать, районное начальство кинулось в область, область, в свою очередь, обратилась к военным властям. На ликвидацию банды Чонкина (так называемого Чонкина, говорилось в секретных документах) была брошена снятая с отправлявшегося на фронт эшелона стрелковая часть.

Стушались серые сумерки, когда полк, соблюдая все правила маскировки, подошел к деревне Красное и окружил ее. Два батальона перекрыли с двух сторон дорогу, третий окопался вдоль огорода (с четвертой стороны была естественная преграда — речка Тепа).

Выслали двух разведчиков.

26

Арестовать даже весь личный состав районного Учреждения было для Чонкина делом несложным. Основные трудности возникли потом. Известно, что каждый человек время от времени имеет обыкновенные спазмы. Во время сна он теряет бдительность, и этим могут воспользоваться те, кому выгодно.

Нюра стала подменять Чонкина на посту, но ей это тоже давалось непросто, потому что обязанностей почтальона с нее никто не снимал. Да и хозяйство оставалось на ней.

Кроме того, выяснилось, что работники Учреждения, как и простые смертные, отправляют естественные потребности по несколько раз в день. Причем эти самые потребности у них почему-то возникают у каждого в разное время. Еще ничего, когда Нюра на месте. Пока Чонкин водит очередного желающего, Нюра сторожит остальных. Но когда Нюры нет или когда она спит, другие могут сбежать, хотя руки у каждого связаны. Сперва Чонкин выводил всех сразу каждый раз; потом придумал способ иной. Нашел на сеновале старый ошейник, привязал к нему крепкую веревку. Проблема была решена окончательно и бесповоротно. Хочешь по нужде, подставляй шею и будь свободен в пределах длины веревки. Тем более что зимняя уборная находится тут же на скотном дворе, отделенная от основной части избы узеньким коридором. (Потом свидетели показывали, что, как бывало ни заглянешь в окно, всегда видишь одну картину: Чонкин сидит на табуретке возле полу-

57

открытой двери, в одной руке держит оружие, в другой — намотанная на запястье и натянутая веревка.)

Но тут возникла новая трудность. И без того скудный запас Нюриных продуктов резко пошел на убыль. Оказалось, что работники Учреждения и поесть любят не меньше всех остальных групп населения. Нюра поначалу стойко переносила все тяготы и лишения воинской службы, но однажды все же не выдержала.

Однажды в обычное время она вернулась домой. Солнце клонилось к закату, но до вечера было еще далеко. Чонкин с винтовкой в руках сидел, как всегда, на табуретке возле двери, прислонившись спиной к косяку и вытянув ноги. Пленники располагались на своем месте в углу. Четверо на полу резались в дурака, пятый ждал очереди, двое спали, разделив подложенный под головы старый Нюрин ватник, восьмой сидел на лавке и тоскливо смотрел в окно, за которым были речка, лес и свобода.

Никто, кроме Чонкина, не обратил на Нюру никакого внимания. Но и Чонкин ничего не сказал ей, а только поднял голову и посмотрел на Нюру долгим сочувственным взглядом. Она молча бросила сумку к порогу и, переступив через вытянутые ноги Чонкина, сунулась в печку, достала чугунок, а в нем всего одна картошина и та в мундире. Нюра повертела эту картошину в руке и, зашвырнув в дальний угол, заплакала. Это тоже никого не удивило, только капитан Миляга, сидевший к Нюре спиной, не желая оборачиваться, спросил Свинцова:

— Что там происходит?

— Баба плачет,— сказал Свинцов, с некоторой даже как будто жалостью глянув на Нюру.

— А чего она плачет?

— Жрать хочет,— хмуро сказал Свинцов.

— Ничего,— сбрасывая бубнового валета, пообещал капитан,— скоро накормим.

— Уж это да.— Свинцов бросил карты и пошел в угол.

— Ты чего? — удивился капитан.

— Хватит,— сказал Свинцов,— наиграйся.

Он расстелил на полу шинель, лег на спину и уставился в потолок. Последнее время в дремучей душе Свинцова медленно просыпалось какое-то смутное чувство, которое угнетало его и тревожило.

Чувство это называлось муками совести, которых Свинцов, не испытыв ничего похожего прежде, не мог распознать. (Прежде Свинцов относился к человеку, как к дереву: скажут распилить — распилит, не скажут — пальцем не тронет.) Но, проснувшись однажды среди ночи, он вдруг подумал сам про себя: батюшки, да как же так могло получиться, что был Свинцов простым, незлобивым деревенским мужиком, а стал душегубом.

Будь Свинцов образованней, он нашел бы объяснение своей жизни в исторической целесообразности, но он был человек темный, и совесть его, однажды проснувшись, уже не засыпала. Она грызла его и не давала покоя.

Свинцов лежал в углу и смотрел в потолок, а товарищи его продолжали обсуждать Нюру. Едренков сказал:

— Может быть, она боится, что мы, когда освободимся, будем ее пытаться?

— Может быть,— сказал капитан Миляга.— Но напрасно она не верит в нашу гуманность. Мы к женщинам особые методы не применяем. К тем,— добавил он, подумав,— которые не упорствуют в своих заблуждениях.

— Да,— сказал Едренков,— жалко бабу. Если даже не расстреляют, то десятку дадут, не меньше. А в лагере бабе жить трудно. Начальнику дай, надзирателю дай...

— Вот я тебе сейчас как дам чугуном по башке! — рассердившись, сказала Нюра и подняла чугунок.

— А ну-ка поосторожнее! — всполошился лейтенант Филиппов.— Рядовой Чонкин, прикажите ей, пусть поставит кастрюлю на место. Женевская конвенция предусматривает гуманное отношение к военнопленным.

Этот лейтенант был большой законник и все время лез к Чонкину со своей конвенцией, по которой будто бы пленным надо было хорошо поить, кормить, одевать и вежливо обращаться. Чонкин и сам хотел бы жить по нормам этой конвенции, да не знал, к кому обратиться.

— Брось, Нюрка, с ним связываться,— сказал он,— чугунок погнешь. Подержи-ка, а я сейчас.— Он дал Нюре винтовку, а сам сбежал в сени. Вернулся со стаканом молока и куском черной рассыпающейся лепешки, которую днем специально испек из Борькиных отрубей.

Нюра рвала эту лепешку зубами, а слезы текли по ее щекам и падали в молоко.

Чонкин смотрел на нее с жалостью и думал, что надо что-то делать. Мало того, что сам ей сел на шею, а теперь еще и ораву эту всю посадил. Посмотрит она, посмотрит да выгонит вместе с ними на улицу! Куда тогда с ними деваться? Еще сразу, после того как он их арестовал, Чонкин думал, что теперь где-нибудь кто-нибудь из начальства спохватится. Если забыли про рядового бойца, то уж то, что пропала целая районная организация, может, на кого-то подействует, прискачут, чтоб разобраться, что же такое случилось. Нет, дни шли за днями, и все было тихо, спокойно, словно нигде ничего не случилось. Районная газета «Большевистские темпы», кроме сводки «Совинформбюро», печатала черт-те чего, а о пропавшем Учреждении — ни гу-гу. Из чего Чонкин заключил, что люди имеют обыкновение замечать то, что есть перед их глазами. А того, чего нет, не замечают.

— Нюрка,— сказал Иван, приняв решение,— ты их сторожи покамест, я скоро вернусь.

— Ты куда? — удивилась Нюра.

— После узнаешь.

Он расправил под ремнем гимнастерку, обтер тряпкой ботинки и вышел наружу. В сених захватил восьмисотграммовую флягу и двинулся напрямик к бабе Дуне.

27

Председатель Голубев сидел в своем кабинете и с привычной тоской перебирал деловые бумаги. За окном вечерело. От домов, деревьев, заборов, людей и собак тянулись длинные тени, навевая грустные мысли и желание выпить, чего он не делал со вчерашнего дня. Вчера он ездил в район и просился на фронт. Битый час он доказывал рыжей врачихе, что плоскостопие — недостаточный повод, чтоб ошиваться в тылу. Он повышал на нее голос, лстыл и даже пытался соблазнить, без особого, впрочем, энтузиазма. Под конец она начала уже колебаться, но, засунув ему под ребра свои длинные тонкие пальцы, пришла в ужас и схватилась за голову.

— Боже мой! — сказала она.— Да у вас печень в два раза больше, чем нужно. Пьете?

— Бывает иногда,— ответил ей Голубев, отводя глаза в сторону.

— Надо бросить,— решительно сказала она.— Разве можно так наплеватьски относиться к собственному здоровью?

— Нельзя,— согласился Голубев.

— Это просто варварство! — продолжала она.

— Да, действительно,— подтвердил Голубев.— Сегодня же брошу.

— Ну ладно,— смягчилась она,— через две недели повторно пройдете комиссию, и, если райком против не будет, езжайте.

После этого разговора он поехал домой. Против чайной лошади, как обычно, остановилась, но он стегнул ее концами вожжей и поехал дальше. И вот уже полтора дня не пил ни капли.

«Да,— глядя в окно,— думал он удовлетворенно,— что-то, а сила воли у меня все-таки есть». В это время в поле зрения председателя оказался Чонкин. Он шел через площадь к конторе и нес в руках некий обтекаемый предмет, который Иван Тимофеевич сразу опознал опытным взглядом. Это была фляга. Иван Тимофеевич слотнул слюну и затаился. Чонкин приблизился к конторе и, громко стуча ботинками, поднялся на крыльцо. Председатель поправил на столе бумаги и придал своему лицу официальное выражение. В дверь постучали.

— Да,— сказал председатель и потянулся за папирсой.

Чонкин вошел, поздоровался и остановился, топчась у дверей.

— Проходи, Ваня, вперед,— пригласил председатель, не отрывая взгляда от фляги.— Проходи, садись.

Чонкин нерешительно подошел к столу и сел на самый краешек скрипучего стула.

— Да ты, Ваня, не стесняйся,— поощрил председатель,— садись нормально, на всю жопу, Ваня, садись.

— Ничего, мы и так.— Назвав себя от смущения на «мы», Чонкин поерзал на стуле тем самым местом, на которое столь деликатно указал председатель, но дальше продвинулся все-таки не посмел.

После этого в кабинете установилось долгое и тягостное молчание. Голубев смотрел на посетителя выжидательно, но Чонкин словно язык проглотил. Наконец, он пересилил себя и начал:

— Ты это вот чего...— сказал Чонкин и, покраснев от натуги, замолчал, не зная, как дальше вести разговор.

— Понятно,— сказал председатель, не дождавшись продолжения.— Ты, Ваня, не волнуйся, а выкладывай по порядку, зачем пришел. Курить хочешь? — председатель пододвинул к нему папиросы «Казбек» («Дели» давно не курил).

— Не хочу,— сказал Чонкин, но папиросу взял. Он поджег ее со стороны мундштука, бросил на пол и растоптал каблуком.

— Ты это вот чего...— начал опять Чонкин и вдруг решительно, со стуком поставил флягу перед Голубевым.— Пить будешь?

Председатель посмотрел на флягу и облизнулся. Недоверчиво посмотрел на Чонкина.

— А ты это по-товарищески или в виде взятки?

— В виде взятки,— подтвердил Чонкин.

— Тогда не надо.— Иван Тимофеевич осторожно подвинул флягу назад к Чонкину.

— Ну, не надо,— так не надо,— легко согласился Чонкин, взял флягу и поднялся.

— Погоди,— забеспокоился председатель.— А вдруг у тебя такое дело, что его можно решить и так. Тогда выпить мы сможем не в виде взятки, а по-товарищески. Как ты считаешь?

Чонкин поставил флягу на стол и подвинул к председателю.

— Пей,— сказал он.

— А ты?

— Нальешь, и я выпью.

Спустя полчаса, когда содержимое фляги резко уменьшилось, Голубев и Чонкин были уже закадыч-

ными друзьями, курили папиросы «Казбек», и председатель задушевно жаловался на свои обстоятельства.

— Раньше, Ваня, было трудно,— говорил он,— а теперь и подавно. Мужиков забрали на фронт. Остались одни бабы. Конечно, баба тоже большая сила, особенно в условиях нашей системы, однако у меня вот молотобойца на фронт забрали, а баба молот большой не подымет. Я тебе про здоровую бабу толкую, а здоровых баб в деревне не бывает. Эта беременная, другая кормящая мать, третья, хоть дождь, хоть вёдро, за поясницу держится: «Ломит, говорит,— на погоду».— А вышестоящее руководство в положение не входит. Требуют — все для фронта, все для победы. Приедут — и матом кроют. По телефону звонят — матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слова без мата сказать не могут. Вот я и спрашиваю тебя, Ваня, как дальше жить? Почему я и прошу отправить меня хоть на фронт, хоть в тюрьму, хоть к черту в зубы, только б освободиться от этого колхоза, пусть им занимается кто другой, а с меня хватит. Но, если правду тебе сказать, Ваня, очень хочется под конец подправить немножко дела в колхозе, чтоб хоть кто-нибудь добром тебя вспомнил, а вот не выходит.

Председатель безнадежно тряхнул головой и одним глотком принял в себя полстакана самогона. Чонкин сделал то же самое. Сейчас разговор дошел до самой выгодной для Чонкина точки. Надо было не упускать момента.

— Если у тебя такое несчастье,— небрежно сказал Чонкин,— могу помочь.

— Да как ты мне можешь помочь?

— Могу,— стоял на своем Чонкин, наполняя стаканы.— На-ка вот, хлебани.— Хошь, завтра утром выгоню на поле своих арестантов, они тебе весь твой колхоз перекопают.

Председатель вздрогнул. Подвинул свой стакан ближе к Чонкину, сам отодвинулся. Встряхнул головой и уставился на Чонкина долгим немигающим взглядом. Чонкин улыбку.

— Ты что? — испуганным голосом сказал Голубев.— Ты что это надумал?

— Как хотишь,— Чонкин пожал плечами.— Я хотел, как тебе лучше. Ты поглядел бы, какие морды. Да их, если как положено заставить работать, они тебе горы свернут.

— Нет, Ваня,— грустно сказал председатель,— не могу я на это пойти. Скажу тебе как коммунист, я их боюсь.

— Господи, да чего ж их бояться? — всплеснул руками Чонкин.— Ты только дай мне поле ровное, чтоб я разом всех видел и мог сторожить. Да, если не хотишь, я с ими в любой другой колхоз пойду. Нас сейчас каждый примет, да еще и спасибо скажет. Ведь я от тебя никаких трудней не прошу, а только кормежку три раза в день, и все.

Первый испуг прошел. Голубев задумался. Вообще-то говоря, предложение было заманчиво, но председатель все еще колебался.

— Классики марксизма,— сказал он неуверенно,— говорят, что от рабского труда большой выгоды нет. Но если сказать по совести, Ваня, нам и от малой выгоды отмахиваться не приходится. А потому давайте выпьем еще.

Некоторое время спустя Чонкин вышел от председателя, слегка покачиваясь от водки и хорошего настроения. В левом кармане его гимнастерки лежал клочок бумаги, на котором пьяным неровным почерком было написано: «Бригадиру тов. Шикалову! Принять на временную работу звено тов. Чонкина. Оформить в качестве шефов». В том же кармане лежала и другая бумажка — распоряжение о выдаче звену Чонкина в виде аванса продуктов на неделю вперед.

Проснувшись на другое утро с больной головой, Иван Тимофеевич Голубев смутно припомнил отдельные подробности вчерашнего вечера и сам себе не поверил. «Этого не может быть,— сказал он себе самому.— Я человек, конечно, пропащий, но такого сделать не мог, это мне просто приснилось или примерщилось спяну».

Но, как бы то ни было, на работу он все же не вышел, сказавшись больным, и послал в контору жену выведать, что происходит. Жена вскоре вернулась и передала слова Шикалова, что все идет, как было намечено, и звену Чонкина выделен фронт работ. Председатель мысленно застонал, но сообщение было передано в такой форме, что показалось ему вполне естественным (а почему бы и нет?). В конце концов он несколько успокоился, оделся, позавтракал, пошел в конюшню, взял лошадь и верхом отправился посмотреть, что происходит. Звено Чонкина (председатель именно так его и называл) в полном составе трудилось на большом картофельном поле. Четверо копали картошку, двое нагружали мешки, и еще двое (капитан Миляга и лейтенант Филиппов) оттащивали мешки к дороге и здесь опорожняли. Чонкин с винтовкой на коленях преспокойно сидел на брошенной возле дороги старой саялке и лениво наблюдал за работой, время от времени встряхивая маленькой своей головой, чтобы не заснуть.

Увидев председателя, Чонкин приветливо помахал рукой, но Иван Тимофеевич проехал мимо, словно не заметив вокруг себя ничего.

29

Труд облагораживает человека. Правда, смотря какого. Пленники Чонкина восприняли свою новую долю по-разному. Некоторые равнодушно, считая, что всякая работа хороша. Некоторые даже были рады: проводить время на воздухе все же приятнее, чем в душной, набитой клопами избе. Лейтенант Филиппов переносил лишения стойко, но ратовал против нарушения Чонкиным международных законов обращения с военнопленными (командный состав, говорил лейтенант, нельзя занимать на физических работах).

Самое неожиданное действие произвела перемена положения на Свиноца. Неожиданно дорвавшись до простого, знакомого ему с детства крестьянского труда, он вдруг почувствовал неизъяснимое наслаждение. Работал он больше всех, работал до изнеможения. Он копал картошку, насыпал в мешки, оттащивал к дороге и не мог насытиться, истязая себя. После ужина стелил на полу шинель и спал, как убитый, но утром вскакивал раньше всех и нетерпеливо ждал нового выхода в поле.

Капитан Миляга первое время был даже доволен таким оборотом дела: уж теперь-то Чонкин на все сто процентов заработал себе самую настоящую вышку. В своих мечтах капитан часто представлял себе, как он с пристрастием будет допрашивать Чонкина, при этом тонкие губы капитана растягивались в мстительной улыбке. Но в последние дни капитан вдруг страшно забеспокоился. Он испытывал чувство, похожее на то, которое испытал Чонкин в первый день войны, когда уверился, что он никому не нужен. Но Чонкин никогда не верил особо в свою избранность, чего никак нельзя было сказать о капитане Миляге. И тот факт, что за долгое время никого не прислали за ними на выручку, весьма волновал капитана. Что же могло случиться? Может быть, город Долгов уже занят немцами? Может быть, Учреждение как таковое давно ликвидировано? Может быть, задание использо-

вать Учреждение на трудовом фронте спущено Чонкину свыше? На свои бесконечные «может быть» Миляга искал и не находил ответа. И в один прекрасный день в изобретательной голове капитана возникло решение: надо бежать. Бежать во что бы то ни стало. И капитан стал приглядываться к Чонкину, изучая его привычки и склонности, ибо прежде чем победить врага, нужно его изучить. Капитан наблюдал окружающую местность, но местность была ровная, бежать без риска быть застреленным трудно, а бежать с риском капитан пока не хотел. В голове его зрел иной, смелый по замыслу план.

30

Хотя наука и утверждает, что рабский труд себя не оправдывает, практика использования работников Учреждения в колхозе «Красный колос» показала обратное. В районные организации стали поступать сводки об уборке картофеля, в которых значились такие цифры, что даже Борисов забеспокоился и позвонил Голубеву сказать, чтоб врал да не завирался. На что Голубев ответил, что он государство свое обманывать не намерен и документы отражают только то, что есть на самом деле. Прибывший по поручению Борисова инструктор райкома Чмыхалов вернулся в район с подтверждением, что в сводках отражается сушая правда, сам своими глазами видел бурты картофеля, соответствующие полученным сводкам. Как сообщили ему в колхозе, подобная производительность достигнута за счет полного использования людских резервов. В конце концов в районе поверили и велели газете дать статью, обобщающую опыт передового хозяйства. Хозяйство ставили в пример другим, говорили: «Почему Голубев может, а вы не можете?» Уже и до области докатились вести о колхозе, руководимом председателем Голубевым, уже и в Москве кто-то упомянул Голубева в каком-то докладе.

Вскоре Голубев узнал, что в какой-то голове районного масштаба родилась идея направить рапорт о досрочной уборке картофеля лично товарищу Сталину. Иван Тимофеевич понял, что теперь пропал окончательно, и, пригласив к себе Чонкина, выставил две бутылки чистейшего первача.

— Ну, Ваня,— сказал он почти радостно,— теперь нам с тобой крышка.

— А в чем дело? — поинтересовался Чонкин.

Голубев рассказал. Чонкин почесал в затылке и, сказав, что терять все равно нечего, потребовал у председателя нового фронта работ. Председатель согласился и пообещал перекинуть звено Чонкина на силос. Договор был обмыт, и в сумерках, покидая контору, оба с трудом держались на ногах. На крыльце председатель остановился, чтобы запереть дверь. Чонкин топтался рядом.

— Ты, Ваня, человек очень умный,— пытаюсь нахарить в темноте засов, говорил председатель заплетаящимся языком.— С виду дурак дураком, а приглядеться — ум государственный. Тебе бы не рядовым быть, а ротой командовать. А то и батальоном.

— Да мне хучь дивизией,— хвастливо поддержал Чонкин. Держась одной рукой за перила, он мочился, не сходя с крыльца.

— Ну, насчет дивизии ты малость перехватил.— Оставив попытку найти замок, председатель стал рядом с Чонкиным и тоже начал мочиться.

— Ну, так полком,— сбавил Чонкин, застегиваясь. Тут под его ногами оказалась ступенька, он не заметил и с грохотом покатился с крыльца.

Председатель стоял на крыльце и, держась за пери-

ла, ждал, когда Чонкин подымется. Чонкин не подымался.

— Иван,— громко сказал Голубев в темноту.

Никакого ответа.

Чтоб не упасть, председатель лег на живот и сполз вперед ногами с крыльца. Потом он ползал на четвереньках, шаря по росистой траве руками, пока не наткнулся на Чонкина. Чонкин лежал на спине, широко раскинув руки, и безмятежно посапывал. Голубев залез на него и лег поперек.

— Иван,— позвал он.

— А? — Чонкин пошевелился.

— Живой? — спросил председатель.

— Не знаю,— сказал Чонкин.— А чего это на мне лежит?

— Должно, я лежу,— сказал Голубев, немного подумав.

— А ты кто?

— Я-то? — Председатель хотел обидеться, но, напрягая память, подумал, что он, собственно говоря, и сам толком не знает, кто он такой. С трудом все-таки вспомнил: — Голубев я, Иван Тимофеевич.

— А чего это на мне лежит?

— Да я ж и лежу.— Голубев начал сердиться.

— А слезть можешь? — поинтересовался Чонкин.

— Слезть? — Голубев попробовал подняться на четвереньки, но руки подогнулись, и он снова рухнул на Чонкина.

— погоди,— сказал председатель.— Я сейчас буду подыматься, а ты упирайся в меня ногами. Да не в морду суй ноги, мать твою так, а в грудь. Вот.

Наконец Чонкину удалось его все же спихнуть. Теперь они лежали рядом.

— Иван,— позвал Голубев после некоторого молчания.

— А?

— Хрен на. Пойдем, что ли?

— Пойдем.

Иван поднялся на ноги, но продержался недолго, упал.

— А ты вот так иди,— сказал Иван Тимофеевич, снова становясь на четвереньки. Чонкин принял эту же позу, и друзья двинулись в неизвестном направлении.

— Ну как? — через некоторое время спросил председатель.

— Хорошо,— сказал Чонкин.

— Так даже лучше,— убежденно сказал председатель.— Если и упадешь, не расшибешься. Жан-Жак Руссо говорил, что человек должен стать на четвереньки и идти назад, к природе.

— А кто этот Жан-Жак? — спросил Чонкин, с трудом произнося странное имя.

— А хрен его знает,— сказал председатель.— Какой-то француз.

Тут он набрал полную грудь воздуха и запел:

**Вдо-оль деревни от избы и до избы
За-ашагали торопливые столбы...**

Чонкин подхватил:

**Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда...**

— Иван,— спохватился вдруг председатель.

— Чего?

— А контору я закрыл или нет?

— А хрен тебя знает,— беспечно сказал Иван.

— Пошли обратно.

— Пошли.

Идти на четвереньках было хорошо, хотя от росы мерзли немного руки и промокли брюки на коленях.

— Иван!

— А?

— Давай еще споем.

— Давай,— сказал Чонкин и затащил единственную известную ему песню:

**Скакал казак через долину,
Через кавказские края...**

Председатель подхватил:

**Скакал казак через долину,
Через кавказские края...**

Чонкин начал следующий куплет:

Скакал он садиком зеленым...

Но тут ему пришла в голову мысль, которая остановила его.

— Слышь,— спросил он председателя,— а ты не боишься?

— Кого?

— Моих ресторанов.

— А чего мне их бояться? — распоясался председатель.— Я все равно на фронт ухожу. Я их...

Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с работниками Учреждения в интимных отношениях.

Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорит в переносном смысле. Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и общественные организации, а также ряд отдельных руководящих товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в интимных связях.

— Иван! — вспомнил вдруг председатель.

— А?

— А куда мы идем?

— Кажись, в контору,— неуверенно сказал Иван.

— А где она?

— А хрен ее знает.

— погоди, мы, кажись, заблудились. Надо определить направление.

Председатель перевернулся на спину и стал искать в небе Полярную звезду.

— На кой она тебе? — спросил Чонкин.

— Не мешай,— сказал Иван Тимофеевич.— Сперва находим Большую Медведицу. А от нее два вершка до Полярной звезды. Где Полярная звезда, там и север.

— А контора на севере? — спросил Чонкин.

— Не мешай.— Председатель лежал на спине. Звезды частично были закрыты тучами, а остальные двоились, троились и четверились, и их все равно было много, и, если судить по ним, север находился по всем направлениям, что председателя вполне устраивало, ибо давало возможность ползти в любую сторону.

Пока он снова становился на четвереньки, Чонкин значительно продвинулся вперед и неожиданно уперся головой во что-то твердое. Пошарил перед собой руками.

Это было колесо машины, вероятно, той, на которой серые приехали его арестовывать. Значит, и контора должна быть рядом. И точно. Обогнув машину, прополз Чонкин еще немного и вскоре наткнулся на стену, туманно белеющую в темноте.

— Тимофеич, кажись, контора,— позвал Чонкин.

Подполз председатель. Провел ладонью по шершавой стене.

— Во, видал,— сказал он удовлетворенно.— А ты еще спрашиваешь, зачем Полярная звезда. Теперь ищи, тут где-то должен быть и засов.

Какое-то время шарили по стене, то наткаясь друг на друга, то расползаясь в разные стороны, и вдруг Чонкин первый сообразил:

— Слышь, Тимофеич, а вообще-то засов должен быть там, где дверь, а дверь там, где крыльцо.

Председатель подумал и согласился с доводом Чонкина.

Не для того чтобы посмеяться над пьяным человеком лишний раз, а единственно ради истины следует сообщить, что, даже найдя дверь, Чонкин и председатель долго не могли с ней справиться. Засов, как живой, вырывался из рук и каждый раз больно ударял председателя по колену, так что трезвый давно остался бы совсем без ног, но пьяного, как известно, все же Бог оберегает немного.

Назад двинулись порознь. Остается загадкой, как Чонкин нашел дорогу домой, остается только предположить, что за время ползания на четвереньках он малость все-таки протрезвел.

Входя в калитку, Чонкин услышал за огородами приглушенный мужской разговор и заметил тлеющий огонек папиросы.

— Эй, кто там? — крикнул Чонкин.

Огонек пропал. Чонкин стоял, напрягая слух и зрение, но теперь ничего не было слышно, ничего не было видно.

«Должно, померещилось спяну», — успокоил себя Чонкин и вошел в избу.

31

Фитиль двенадцатилинейной лампы был прикручен почти до конца, только маленький язычок пламени распространял свой немощный свет по комнате.

Нюра с винтовкой, зажатой между коленями, сидела на табуретке возле двери. Пленники, намажавшись за день, спали вповалку на полу.

— И где был? — спросила Нюра сердито, но шепотом, чтобы не разбудить спящих.

— Где был, там меня нет, — ответил Чонкин и ухватился за косяк, чтоб не упасть.

— Ай назюзился? — ахнула Нюра.

— Назюзился, — глупо улыбаясь, кивнул Чонкин. — Как же не назюзиться. Завтра, Нюрка, кидают нас на новый участок.

— Да что ты! — сказала Нюра.

Двумя пальцами свободной руки Чонкин вытащил из кармана гимнастерки записку председателя о дополнительной выдаче продуктов и протянул Нюре. Нюра поднесла записку к лампе и, шевеля губами, вдумалась в содержание.

— Ложись, отдохни маленько, а то ведь не спашини, — сказала она, придавая голосу своему ласковую интонацию.

Чонкин в ответ похлопал ее по спине.

— Ладно уж, ты поспи, а к утру на часок подменишь меня.

Он взял у Нюры винтовку, сел на табуретку, прислонился спиной к косяку. Нюра, не раздеваясь, легла лицом к стене и вскоре заснула. Было тихо. Только лейтенант повизгивал во сне, как щенок, и громко чмокал губами. Серая моль кружилась над лампой, то тычась в стекло, то отлетая. Было душно, влажно, и вскоре за окном посыпался, зашуршал по листьям, по крыше дождь.

Чтобы не заснуть, Чонкин пошел в угол к ведру, зачерпнул прямо ладонью воды и смочил лицо. Как будто полегчало. Но только уселся на прежнее место, как снова стало клонить в сон. Он зажимал винтовку коленями и руками, но пальцы сами собой разжимались, и приходилось прилагать героические усилия, чтобы не свалиться с табуретки. Несколько раз спохватывался он в последнее мгновение и бдительно тарачил глаза, но все было тихо, спокойно, только дождь шуршал за окном и где-то под потолком настойчиво грызла дерево мышь.

Наконец Чонкин устал бороться сам с собой, загородил дверь столом, положил на него голову и забыл-

ся. Но спал беспокойно. Ему снились Кузьма Гладышев, председатель Голубев, Большая Медведица и пьяный Жан-Жак Руссо, который от бабы Дуни полз задом на четвереньках. Чонкин понимал, что Руссо его пленник и что он собирается убежать.

— Стой! — приказал ему Чонкин. — Ты куда?

— Назад, — хрипло сказал Жан-Жак. — Назад к природе. — И пополз дальше в кусты.

— Стой! — закричал Чонкин, хватая Руссо за скользкие локти. — Стой! Стрелять буду!

При этом он удивился, что не слышит своего голоса, и испугался. Но Жан-Жак сам его испугался. Он сделал вдруг жалкое лицо и заныл, и сказал капризным голосом, как ребенок:

— На двор хочу! На двор хочу! На двор хочу!

Чонкин открыл глаза. Жан-Жак поднялся на ноги и принял облик капитана Миляги. Капитан через стол тормозил Чонкина двумя связанными руками и настойчиво требовал:

— Слышь ты, скотина, проснись! На двор хочу!

Чонкин оторопело смотрел на своего разъяренного пленника и не мог понять, во сне видит это или уже наяву. Потом понял, что наяву, встряхнулся, встал неохотно, — отодвинул стол, снял с гвоздя ошейник и проворчал:

— Всё на двор да на двор. Дня вам мало. Подставляй шею.

Капитан нагнулся. Чонкин затянул ошейник на три дырки, так, чтобы не душило, но и было достаточно туго, потом подергал, проверяя крепость, веревку, и отпустил:

— Иди, да побыстрее.

Свободный конец веревки намотал на руку и задумался. Мысли его были простые. Глядя на муху, ползущую по потолку, он думал: вон ползет муха. Глядя на лампу, думал: вон горит лампа. Задремал. Снова снился Жан-Жак Руссо, который пасся на огороде у Гладышева. Чонкин закричал Гладышеву:

— Эй, слышь, так это ж не корова, это Жан-Жак весь пух твой сожрал.

А Гладышев злорадно усмехнулся и, приподняв шляпу, сказал:

— Ты за пух не бойсь, а посмотри лучше, что он отвязался и сейчас убеет.

Чонкин с перепугу проснулся. Все было тихо. Храпел Свинцов, горела лампа, муха ползала в обратном направлении. Чонкин слегка потянул веревку. Капитан был все еще там. «Запор у него, что ли?» — подумал Чонкин, закрывая глаза.

Жан-Жак куда-то пропал. Молодая женщина тащила с речки корзину белья. Она шла и улыбалась такой светлой улыбкой, что Чонкин поневоле тоже заулыбался. И не удивился, когда она, положив корзину на землю, взяла его на руки легко, как пушинку, и стала покачивать, напевая:

**А-а, люли,
Прилетели гули,
Прилетели гули,
Прямо к Ване в люли...**

— Ты кто? — спросил Чонкин.

— Ай не узнал? — улыбнулась женщина. — Я — твоя мать.

— Мама, — потянулся к ней Чонкин руками, пытаясь обхватить ее шею.

Но тут из-за кустов выскочили какие-то люди в серых гимнастерках. Среди них Чонкин различал Свинцова, лейтенанта Филиппова и капитана Милягу. Капитан протянул к Чонкину руки.

— Вот он! Вот он! — закричал Миляга, и лицо его искажилось в страшную улыбку.

Прижимая к груди сына, мать закричала не своим голосом. Чонкин тоже хотел закричать, но не смог и проснулся. Ошалело смотрел вокруг себя.

Все было тихо, спокойно. Слабым огнем горела лампа с прикрученным фитилем. Спали на полу пленники. Спала на кровати, отвернувшись к стене, Ньюра.

Чонкин посмотрел на часы, часы стояли. Он не знал, сколько времени спал, но ему показалось, что спал он довольно долго. Однако капитан Миляга все еще был там, в уборной, о чем свидетельствовала намотанная на руку Чонкина веревка.

— Хватит, будешь еще там рассиживаться,— сказал Чонкин как бы самому себе и подергал веревку, давая понять, что действительно хватит. После этого он выждал время, достаточное, по его мнению, чтобы подтянуть штаны, и снова подергал веревку. На том конце никто не отзывался. Тогда Чонкин поднатужился и потянул веревку сильнее. Теперь она подавалась, хотя и с трудом.

— Давай, давай, нечего упираться,— бормотал Чонкин, перехватывая веревку все дальше и дальше. Вот в коридоре послышались уже шаги. Но они не были похожи на мягкие шаги капитана Миляги. Шаги были частые и дробные, как будто кто-то мелко семенил в твердой обуви.

Страшная догадка мелькнула в мозгу Чонкина. Изю всей силы рванул он на себя веревку. Дверь распахнулась, и в избу с недоуменным выражением на лице ввалился заспанный, перемазанный с ног до головы навозом кабан Борька.

32

Выбравшись на волю, капитан Миляга почувствовал сильное волнение и полный разлад всего организма. Сердце в груди трепыхалось без всякого ритма, руки дрожали, а ноги и вовсе не слушались, и капитан не видел никакого смысла в своем побеге. Там, в избе, было тепло и более или менее уютно, а здесь дождь, холод, полная темнота, и неясно, куда бежать и за чем.

Он не чувствовал волнения, когда перерезал веревку о примеченную еще днем косу, хладнокровно надел ошейник на кабана, хотя тот и сопротивлялся. Ворота в хлев были запорты снаружи, но капитан нашел дырку под самой крышей и с трудом пролез сквозь нее, разорвав на плече гимнастерку. И вот теперь он не знал, во имя чего это делал. Было темно, сыпал дождь, холодные капли, скатываясь по крыше, попадали за ворот и медленно ползли по спине. Капитан не обращал на это внимания, он стоял, прислонившись затылком к бревенчатой стене и плакал.

Если бы кто-нибудь подошел и спросил: «Дядя, чего ты плачешь?», он не смог бы ответить. От радости, что оказался на воле? Но радости не было. От злости? От желания отомстить? Сейчас не было в нем ни того, ни другого. Было полное безразличие к своей судьбе и ощущение беспомощности и бессмысленности всякого действия. Для капитана Миляги это было знакомое состояние, он не двигался с места, рискуя, что Чонкин сейчас его хватится, и плакал, не понимая себя. Может быть, это была просто истерика после всего, что капитану пришлось пережить в последнее время.

Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что он во дворе не один. Вглядевшись в темноту, он различил очертания странного какого-то существа или предмета крупных размеров. Он не сразу понял, что это просто-напросто самолет, тот самый, из-за которого и началась вся заваруха. А когда понял, чуть-чуть успокоился и, успокаиваясь, начал соображать.

Самолет стоял на краю огорода хвостом к избе. Значит, город Долгов приблизительно находится в той стороне, куда смотрит правое крыло самолета. Значит, бежать надо в том направлении. А зачем ему нужен этот Долгов, если там из его Учреждения не

осталось никого, кроме секретарши Капы? Значит, надо идти прямо в область, к Лужину, начальнику областного управления. А что сказать? Сказать, что один солдат с винтовкой образца тысяча восемьсот девяносто первого, дробь тридцатого года арестовал полностью весь личный состав районного отдела? По нынешним временам военный трибунал и расстрел обеспечены. Хотя, если трезво взвесить все обстоятельства, можно и выкрутиться. Тем более что за Лужиним Миляга кое-что знал. В частности, кое-что насчет происхождения областного начальника. Может быть, сам он уже и забыл, что отец его до революции в соседней губернии был полицмейстером, но Миляга не забыл и на всякий случай держал это обстоятельство в голове. Вот почему у Миляги была надежда, что Лужин не захочет доводить дело до трибунала. Тем более что в происшедшем конфузе виноват, по существу, лейтенант Филиппов. Ну что ж, с Филипповым придется проститься, хотя, конечно, и жаль парня немного. Что касается Чонкина, то он, Миляга, займется им лично.

Вспомнив про Чонкина, капитан мстительно улыбнулся. И вытер слезы. Жизнь его обрела смысл. И ради этого смысла стоило идти сквозь дождь и сквозь мрак.

Капитан отклеился от стены и шагнул вперед. Ноги разъезжались и вязли в размокшей почве. Но сапоги у него еще крепкие, как-нибудь выдержат.

Он уже обогнул самолет, когда за спиной скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо. Капитан, не раздумывая, рухнул в грязь. Сейчас, когда он вновь обрел волю к победе, капитан для своего спасения готов был вынести и не такое.

— Ну чего там видать? — Откуда-то, должно быть, из избы, послышался беспокойный голос Ньюры.

— Ничего не видать,— совсем близко сказал Чонкин.— Фонарь бы зажгла, что ли.

— Карасину нет,— отозвалась Ньюра.— А лампу вынести, эти сбегут.

Зачавкала грязь прямо возле капитанского уха.

Еще чуть-чуть, Чонкин наступит на капитана, и все пропало. А что, если дернуть его за ногу, он упадет?..

— Ну, чего? — опять крикнула Ньюра.

— Ничего,— сказал Чонкин.— Ботинки худые. Чего тут в них без толку лазить по грязи. Он небось уж давно ушел.

— А что ж ему, тебя дожидаться? Иди в избу, нечего грязь месить.

Чонкин постоял еще над капитаном, повздыхал, затем чавкающие шаги его стали медленно удаляться.

Капитан Миляга не спешил. Он подождал, пока Чонкин поднимется на крыльцо, подождал, пока щелкнет за ним щеколда. Дальше капитан продвигался ползком. Вот уже и забор. Оглянувшись и не увидев ничего подозрительного, капитан вскочил на ноги и одним рывком перемахнул через суковатые жерди. И тут же перед ним, словно из-под земли, выросли две темные фигуры в плащ-палатках. Капитан хотел вскрикнуть, но не успел. Одна из фигур взмахнула прикладом, и капитан Миляга потерял сознание.

(Окончание следует.)

Виктор
ЛИПАТОВ

«ПАЛЫЧ»

Обросов напоминает доброго русского медведя средней величины. С его приходом комната начинает тесниться и уютиться. Воздух становится теплее, а ум пристальнее. В углу воздвигается русская печь, а посреди комнаты — длинный, толстых дубовых досок, схваченных медными лапами, хлебо-солный стол. Обросов устраивает свое ладное, тренированное работой тело на стуле или лавке и сидит, крупный, теплый, бородатый русский мужик, «Палыч», как зовут его в деревне.

Как-то приволок Обросов из лесу своеобразную деревину и вкопал у своего деревенского дома для красоты. Дед Цыганов ходил вокруг нее, ходил, думал, головой качал.

— Палыч,— говорит,— а ведь не привьется.

Обросов рассмеялся. Дед Цыганов умер, а Обросов, уже сейчас вспоминая дедово сокрушение, снова смеется и крепко помнит Цыганова.

Смотришь монохромные, скупого цвета, темноватые картины художника и думаешь: вот я бы там, в уголке, яркую краску зажег, а там бы линию засветил. Цветовым контрастом неожиданным прищпорил бы полотно. Возможно, и самому Обросову приходили в голову такие мысли, ведь ранний Обросов — светлый по колориту. В одной из картин («Защитникам Москвы посвящается») он разбросал в углу красные огоньки — букет роз. И не достиг. Лубок сразу же выявился.

Беда и счастье Обросова в том, что он слишком честен. Говорят, бывает человек одной судьбы, одной любви — вот и Обросов — художник одной избранной манеры. Он всегда боялся вторичности. В гордости этой заключены, пожалуй, и просчеты его, но и последовательное осуществление тоже. Во всяком случае, не так уж он не прав, стороясь пестрого «подмосковного импрессионизма». К несчастью своему, наши художники ознакомились с импрессионизмом весьма запоздало и многих мастера импрессионизма подмяли под себя. А у Обросова, подмечали искусствоведы, откровенная декоративность сменилась более сложной красочной гаммой. Художник сам удивляется: по своей натуре он человек жизнерадостный, компанейский, а к мольберту подойдет — темный колорит сам по себе рождается в картине. Смута у него в душе, что ли? И суть не в том, что, как писали, цвет у него — эмоционально-символический аккомпанемент идее, скорее он сама идея и есть. К слову, о характере: Обросов очень любит рисовать твердым карандашом. Любит преодолевать. Может, потому идет в глубь цвета, разыскивая его градации... А соблазн ох как велик: изменить своей природе. Нет, не привьется, думает художник, мертвым станет, искусственным. «Опять трепет, и опять боязнь, что так уж второй раз не получится... Ждать, ждать, как у Превера в стихотворении «Как нарисовать птицу?»

— Не привьется,— говорит Обросов и вспоминает Николая Федоровича Цыганова, выделяя его в ряд постоянных людей, без которых белый свет был бы не мил. От Подмошквы до Магдебурга прошел Цыганов свой солдатский путь в последнюю войну. Воевал храбро, но был пойман немцами, бежал, но снова был пойман и снова бежал. Принес домой орден и медали, повесил на стену и никогда не снимал. Был человеком, ежечасно рождающим добро: каждый двор в селе помнил его рабочие руки, а хозяева — слово и сочувствие. Собирал он травы да коренья, лечил, если просили. И все беспокоился о памятнике павшим односельчанам, чтобы воздвигнуть его на берегу реки Нерль.

«Палыч,— говорил,— уж ты мне только фигуру слепи». В триптихе «Мир Николая Федоровича» — родная старому солдату деревня и поля, а в центре — сам Цыганов в окно из темной избы смотрит с трогательной заинтересованностью, как прощается.

«Найти человека для себя» — так формулирует Обросов свое отношение и пишет портреты только тех людей, чьи нравственные критерии близки ему. Много таких портретов за всю свою жизнь не напишешь. Не так уж часты те, «кто душу положил за други», как писал самый любимый поэт художника — Тютчев.

Три друга их было: Попков, Никонов, Обросов. Попков трагически погиб, с той поры в мастерской Обросова фотография и цветы сухие — память, память. Попкову же посвятил Обросов и рассказ «Меж высоких хлебов».

Сначала хотелось ему написать портрет всех троих на набережной. Но подумал и оставил одного Попкова, высветил в синих сумерках лицо его и окружил друга воспетыми им скорбными мезенскими вдовами.

Второй друг, Павел Никонов, «крайний в себе человек», остановлен Обросовым в момент мучительного натягивания на себя смиренной рубахи творчества. Происходит процесс превращения обычного человека в аскета и трагика, грезящего наяву с закрытыми глазами.

Все они казались Обросову странниками — и Попков, и Никонов, и Шукшин. Последний идет по родной земле, как трепанный жизнью человек, вслушиваясь и глядявываясь. А во втором портрете — «В. М. Шукшин. Покинутые дома» — бессонный Шукшин, сам как покинутый дом, — измученный творчеством и самим собой. Ненарочито позирующей, смотрит он без укора, но на лице его отпечаток усталой, скорбной мысли. А в лунном окне — брошенный дом-сирота, как выморок, как недоумение, подобное тому, что написано на лице писателя. Пожалуй, портрет Беллы Ахмадулиной — это единственный случай, когда художник вводит некоторые детали искусственной необыкновенности. Он увидел поэта как живое воплощение поэзии; воспринял как ощущение «чистого, хрупкого, возвышенного, необычайного женственного явления». В углу комнаты — загнанность или самоизгнание — Ахмадулина читает стихи, запрокинув голову. В темном платье, светлея лицом, кажется она грешной монахиней, устремляющей взгляд к небу. Перед ней маска Пушкина, а в раскрытом окне видна церковь Большого Вознесения, в которой Пушкин венчался. Обросов настойчиво напоминает о преемственности и в следующем полотне, ставя Ахмадулину рядом с портретом Тютчева и подчеркивая общее: истовость, служение во храме. Способствует тому и темный, глубокий колорит, и свет лица — этим светом человек освещает мир. Через лицо светит душа.

Мы видим на его портретах поэта, как «редкое на нашей земле растение». Она читала стихи в мастерской, и голос ее, обращенный к дождю: «Дождь, как крыло, прирос к моей спине», — звучал, «как всхлип». Обросов чувствовал, что это тонкое застывшее лицо со скорбными устами его не обманывает.

Иногда художник испытывает необходимость писать одного и того же человека несколько раз. Это значит, что человек обнаруживает себя, дотоле неведомого; его биография в лицах предстает перед нами, как череда состояний расцветающего цветка его души.

«Есть целый мир в душе моей...»

И сам Тютчев, постоянно поддерживающий в художнике неугасимую лампаду вдохновения, представлен на портрете как высший судия.

«Ангел мой, ты видишь ли меня?»

Тютчев вспоминающий и помнящий. Тютчев — гофманский персонаж, сжавшийся в самом себе, закованный в своем сюртуке, тающий в себе «ощущение безграничной скорби и страшной потери». Тяжелый, недоверчивый взгляд поэта строго устремляется в мир, о котором сказано им столько сокровенных слов. Обросов хотел показать Тютчева «затаенным, мятежным, погруженным в философские размышления о бытии, о месте творца в жизни, о поисках смысла существования».

Художник резбит лица навсегда, что лишает их подчас сиомиунитного очарования, превращая в маски поминования. Но сохраняется главное: они светочи в темноте времени. Это сказано.

В том же ряду портреты матери и отца — отважных, честных и чистых людей. Они приходят из памяти. Отец проходит полночным караулом у института Склифосовского, где работал когда-то. Смотрит скупно и строго, но уже появ-



Ночь. 1937 г. Ожидание.
Левая часть триптиха.

Из произведений
народного художника РСФСР
И. П. ОБРОСОВА

Посвящается отцу
профессору **П. Н. Обросову.**



Арест.
Центральная часть триптиха.



Семья.
Правая часть триптиха.



Признать себя виновным.
Левая часть диптиха.

лени его — призыв к мести. Мать — в госпитале, усталая, сосредоточенная женщина, несущая на своих плечах тяготы времени.

«И остави нам долги наши». Запоздалые долги наши. Все мы заблуждаемся о возможном и допустимом. Иногда ставим внешние градации времени выше требований своей собственной души. И забываем слова Пушкина, обращенные к художнику: «Ты сам свой высший суд». Обросов начал делать графическую серию, посвященную событиям 1937 года, еще в 60-х годах. Затем отставил, чтобы вернуться к этой теме сейчас, через двадцать с лишним лет. Правда, в этот период вместились еще и его собственная непростая судьба, когда он был отнесен к «формалюгам». В частности, Ф. Амтиславский писал о молодом Обросове: «образы людей даются им обеденно, огрубленно. Интеллект отсутствует у его героев». Время было — поиска ведьм в искусстве. И Обросов вынужден был «считать пятачки» до метро, в метро — до мастерской и обратно. Четыре пятачка в день, и их надо было иметь.

Сытый голодного не разумеет. Сейчас художник удивляется: «Осознать не могу, что были такие времена».

Такие времена были. Но были и страшнее. Триптих — это арест отца. Это попытка осмыслить час горьких, несмыслящихся испытаний. Горе обрушивается на семью — фигуры застыли. Час морока. Скупая черно-белая палитра Обросова здесь идеально исполняет свою роль. Прощание — и дом родной приобретает для уходящего строгие очертания отстранения. Отдаляющаяся семья — жена, дети, беременная родственница, фигуры знаменуют начало трагедии. Продолжение вскоре — преждевременные роды. Недавно Обросов отмечал пятидесятилетие родившегося тогда хилого мальчика, ныне доктора геологии. Являя махровые черты идеалиста, сейчас Обросов замечает, что жизнь, дескать, рано или поздно, но верно расставляет вехи судеб.

Что он знал об отце? Что был тот талантливым ученым и большевиком, членом РСДРП с 1902 года. Что он основал в Омске мединститут и достаточно много сделал для развития медицины в Сибири.

Он знал, что отец был «Пашка-разбойник» (партийная кличка), который на суде, арестованный белочехами, дал пощечину обвинителю, позорившему коммунистов. Тогда, в 1918 году, отца приговорили к расстрелу. Спасла случайность. В 1937 году случайности не спасали.

Обросов пытается объяснить самому себе, почему пламенные большевики пассивно ожидали ареста и уничтожения. Суть первой части триптиха в том и заключается: ожидание тревоги. «Того взяли, того взяли,— сообщил отец, приходя с работы»... В ряду причин Обросов находит и следующую: они глубоко росли в мире своих домов, семей, кресел и проблем. Им было что терять. И своего отца художник изображает не героем, но человеком высококого достоинства. Центральная часть: последний взгляд, печаль и боль за остающихся.

Триптих был написан, но осталось неудовлетворение. Создавая триптих, Обросов наливался соками новых мыслей, тяжело переворачиваясь с центрифугой меняющегося времени. Трагедия требовала борьбы, противостояния. И он написал новую картину — четвертую часть. Две силы перед нами: отец, который не только нацелен на противников, но и переживает «борение с самим собой», и допрашивающие — два lika, выбитые на скале эпохи. Низколобый, жестокий садист, традиционный жандармский тип из времен Салтыкова-Щедрина, и ловкий подлец — хитро обтесавший себя полицейский чиновник системы НКВД. Последний пришел в картину из 60-х годов. Я видел его вырезанный силуэт, который художник двинул по графическим коридорам той давней серии.

Напряжение черного и белого цвета, сражение правды и нечисти. Смысл пластичен. И потому художник не вникает в детали, он устремлен к обобщению, чтобы сразу свет — и виден убегающий или мимикрирующий бандит.

«Трагедию 1937 года заслонила война», — говорит художник. Из шестерых братьев Обросовых не воевал только он один, младший.

Суровый стиль Обросова, его жесткая линейность, сжатость цвета и одновременно его контрастность полностью «пришлись» к его темам: деревня, 1937 год, война.

Войну он провел с матерью в госпиталях. Ни в одной армии мира, размышляет сейчас художник, женщины не воевали. Что это было у нас? Великое доверие или величайшая наша жестокость? Преклоняясь, рисует он женщин-

воинов над безбрежным полем войны: «Печаль синих озер».

Главный цвет в «Яромских высотах» — заката, зарева? Монолит солдатской колонны устремлен на фронт. И второй монолит — матери, жены, дети. Инвалид на костылях. Как вехи пути — телеграфные столбы. Коловорот войны.

И снова женщины («Встречая и провожая эшелоны»). С напряженной надеждой встречают и провожают они эшелоны. Что-то монашеское и молящееся в их темных фигурах и светлых запрокинутых лицах.

Тревога за одиночество и сиротство женщин никогда не оставляла художника. Однажды, когда был он на Севере, особенное зрелище поразило его. Ждали теплоход. Там это — событие. И вот склон у Горецкого монастыря оказался усеянным старыми женщинами в платочках. Оказалось, в монастыре — дом престарелых, отторгнутых и покинутых. И оторопь взяла художника... Разве не такую же печальную, одинокую, много пережившую женщину изобразил он в картине «Старая»?

А в женских портретах — поэзия, красота, искушение. В одной из картин на фоне храма павой плывет женщина, в руках у нее макет храма. Это храм ее сердца.

Женщин-тружениц, крестьянок с благодарным чувством изобразил он в картине «Бабы лето». Все они достоверны, всем им низкий поклон от художника «за то, что дали они для творчества, для понимания мира».

Именно с образа женщины-матери и началась слава Обросова-художника. «Сидящая на берегу». Кормящая ребенка — образ мадонны. И богоматерь, и простая женщина, для которой ребенок — бог. Прекрасная природа вокруг, а природа тоже мать. Исходил художник из вечного символа, все времена бывшего святыней для человечества. Перед нами сила природы; материнство — зрелость женщины, она становится необходимым звеном человечества.

И другая ранняя картина стоит рядом с этой — «Голубые озера льна». Художник с дочерью, отлично скомпонованные в единую композицию, рассматривают росток льна. Восхищение крохотной жизнью, клятва в любви к природе, поклонение морям льна и земли.

Обросов стремится в этих картинах более к выразительности, чем к рассказу о событии. На первом плане — значительность впечатления. Это было возвращением к природе, как единственному, что имеет право на утешение и подвижение к мысли; и к деревне как к доброму пониманию родственных связей с землей и ее вековыми хозяевами.

Конечно, вначале была поэзия деревенской жизни. Художник замечает значительность облета молодых скворцов, нежность одинокой рябины; гусей, привычно галдящих на улице; печаль полей; тусса, полные ягод. И непременные стога, которые становятся у Обросова знаками жизни на земле. Своим послем в деревню художник избрал дочь. Она стала героиней многих его картин. Встреча подростка с деревней и природой, малого и старого, удивления и философской симпатии. Происходит приобщение к мудрому вечному смыслу. Девочка поит и кормит лошадь, возникает диалог, создается притча о белой лошади — символ добра. Белая лошадь занимает главное пространство в картине — большая белая сила. Происходит контакт двух разумов двух планет: откровение. Девочка прибыла в деревню инопланетянином, а уезжает послем добрых страстей природы, чье «возвышенное» художнику и хотелось показать.

**Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.**

Вначале, возможно, село Большое Рашино казалось Обросову и действительно Золотым Доньшком, как оно именовалось ранее. Он с удовольствием принимал его пусть и не абсолютную, но достаточно ясную гармонию. Уклада жизни, например. Молодой бригадир Виктор в ответ на слова художника, что нерационально равно делить скошенное сено на сильных и старых, так сказал:

«Я-то тоже когда-нибудь буду стариком...» Здесь было понятие о смерти и старости как о нравственном мериле.

Обросову была по душе та полезная ладность, через которую можно было усугубить крепость мужицкого хозяйства, где даже коса подгонялась под каждого. И он рисует телеги, лошадей, работающих людей, интерьеры крестьянских изб. И «Русскую печь», чье чрево готово принять чугуны. Но оказалось, что своими картинами он принимает сельскую жизнь. Читая румяного критика, думаешь о воз-

можных низинах извращенности мышления. Он упрекал художника в том, что чугуны, предназначенные для скотины, он подсовывает людям, чем оскорбляет их.

Обросов всегда с интересом приобщения слушал деревенский перезов — отбивали косы. «...Возьмет косу в руку, на наковаленку положит да молоточком тук-тук-тук». И вот рисует он косаря, готовящего косу к покосу («Когда в деревне косы бьют»). Сидит косарь у избы, вечер напоен светом и лаской. И песенное событие, и значительное. Картина в духе классического русского сентиментализма. Но и здесь нашел критик принижение советской деревни, воспевание архаики в ущерб комбайнам да тракторам.

Но постепенно менялась тональность картин Обросова. Оставил деревню бригадир Виктор — «задолбали úplномоченные». «...Какая-то неведомая сила — неразбериха повстряхнула отсюда людей, рожденных на этой земле, и понесла, как перекасти-поле...» Покинутое гнездо аистов становится символом нового отношения к проблемам деревни.

Мастер силуэта, Обросов всегда питал страсть к изяществу человеческого строения. Поэтическое видение художника часто переводило реалии в миражи. Такова у него деревянная «Церковь», чей силуэт как бы плывет над землей. Но особая любовь — ладно скроенный крестьянский дом с его открытым окном в уравновешенный мир свободной жизни, природы. Все чаще появляется у Обросова крепкий, еще на века, но брошенный дом с заколоченными окнами. Он стоит, как тюрьма пустоты, знак беды. Одиноко смотрят «светлые» и «серебристые» сараи. Есть в них какая-то отъединенность и застылость, человек среди них кажется инородцем. Когда однажды художник рисовал такой сарай, с виду надежный и прочный, тот на глазах у него медленно и печально осел, рассыпался, «как гриб».

В небольших пределах холста Обросов мыслит крупными формами. Выразительны его натюрморты, воспевающие мертвую жизнь вещей так, что становится она живее живой. Пластика видения наполняется игрой тональной цветотени. Составные натюрморты — зачастую обычные сельские вещи — букеты из лопухов, пижмы, заячьих дудок, кукушкина льна; туеса с сочно выписанной ягодой, плоды, ведро с картошкой, грибы, крынки, хлеб, яйца...

Со временем натюрморт у Обросова становится все менее глубоким и более внутренне подвижным. Он раздвигает его рамки и не только прислоняет к теплой стене крестьянского дома, но и вводит через окно пейзаж. «Деревенские цветы» на подоконнике, отраженные плоскостью зеркала, производят впечатление движущейся композиции. Это уже сложный натюрморт, несущий в себе элементы сюрреализма, — цветы как символ странствий. А в «Натюрморте с кофеиником» движение рождено изящной пластикой. Удалец-кофейник готов тотчас наполнить чашки, но они не спешат исполнить свою историческую миссию, а не прочь бы еще поплясать-посудачить. Озаряет же все сфера золотого лимона — солнце бытия. «Предмет для меня — это рассказ, это прожитая жизнь».

Но и к формам города неравнодушен Обросов. Крутобоко линейна у него «Котельничская набережная»: упругое движение разумного сочетания плоскостей, дуг, перпендикуляров и горизонталей. Свет металла и камня.

Упорядоченный мир лестниц, парапетов, домов и мостов Москвы. И любимые места художника в городе вы можете увидеть на картинах: Воробьевы горы, а подле Нескучный сад, а в саду — ротонду; дом Ростовых; и, конечно, Москва-реку, придающую городу неповторимое очарование. В тесном городе Обросов показывает себя художником простора, вырывающегося из расщелин домов, и художником дальнего света, освещающего и запечатленное, и унесенное памятью.

Обросов чувствует в себе силу правды, потому что он человек чести. И на его глазах и памяти происходила травля видных писателей, художников, поэтов, композиторов, артистов. Он сын пятидесяти лет, сын эпохи XX съезда партии, возродившего справедливость; «ощущение свободно ворвавшегося порыва свежего, сильного воздуха... Долой помпезность, праздность, украшательство... Главная идея и мысль — правда жизни. Суровый стиль». Но общее настроение было преломлено частным отношением к искусству. Н. С. Хрущев, явно науськанный руководящими деятелями культуры той поры, уже начал крестовый поход против якобы абстракционизма. Заданность его прихода на выставку в Манеж была очевидна уже потому, что он сразу же начал искать обнаженную женщину, нарисованную синей краской (работа Р. Фалька). А заодно обругал и картину П. Никонова «Геологи». Он знал, что громить, и, как всякий

непосредственный человек, уж громил до конца. И началась страшная административная реакция — побыстрее отреагировать! (Избавились ли мы сейчас от этой «традиции»?). По всем городам и весям отсыскивали абстракционистов. Только бы отметить! Вершина административного зуда — казнь. В Одессе мне рассказывали, как там судорожно разыскивали абстракциониста, чтобы не хуже, чем у людей. Нашили с трудом какого-то завалищего. С наслаждением обсудили. Ретиво отрапортовали. Чиновник — человек мертвый, ему все равно, что и как, он и маму родную зарежет.

Да разве один Н. С. Хрущев?

Обросов был поражен тем, как министр культуры СССР Екатерина Фурцева орала на художников. Вот ее слова у картины Виктора Иванова «Семья»: «Снять! Убрать! Где это видано, чтобы наш советский колхозник сидел спиной к зрителю и лопал, уткнувшись в тарелку!» «Мазня!» — авторитетно изрекала она у картины Тогрула Нариманбекова.

И несть числа.

А разве П. Н. Демичев, тоже министр культуры СССР, не распорядился снять с выставки «40 лет Победы» картину фронтовика Б. Неменского «У порога дома своего»? Разве не распорядился так пригласить выставку, что стала она нарядно-помпезной? Вот и думает Обросов: должны понимать министры культуры СССР и их заместители, кстаги, живопись или не должны? Профессиональное ли это для них качество?

На пленумах и съездах художников Обросов не молчит. Вот толку речи его не всегда публикуют. Очень уж он нелюбезен.

За что и против чего выступает Игорь Павлович Обросов, народный художник РСФСР, один из секретарей Правления Союза художников СССР?

За перестройку всецело и несомненно. И прежде всего за внимание к молодежи. Он исходит из того, что молодость задириста и упряма, и эти качества надо в ней не подавлять, а развивать. «Давайте послушаем молодых!» Он всегда протестовал против запрещения молодежных выставок и разгона молодежных объединений.

Обросов всегда резко клеймил некомпетентный чиновничье-бюрократический аппарат Министерства культуры. «Особенно зажатой клещами бюрократии и чиновничества оказалась творческая интеллигенция: литература, музыка, театр, кино, изобразительное искусство, архитектура».

Он не жалует и своих доморожденных служак из Союза художников и Академии художеств. «Одни оставались художниками... Другие все реже бывают в мастерских, облачившись званиями народных, академиков, лауреатов... «Тащи одеяло на себя...» Проникновение на выставки через передние, будуары высокопоставленных чиновников, мутные людюшки...»

Обросов выступает за трезвую оценку реального положения дел и против выслуживающегося фанфаронства: «Когда мы говорим об активности нашего творчества, о том, что мы сегодня должны владеть умами, — готовы ли мы к этому? Не готовы!.. Если мы обратимся к академической выставке, то на 80 процентов эти работы не соответствуют... Представляю из себя тихую заводь».

Обросов видит большую силу гласности и выступает ее глашатаям: «Да, товарищи! Больше медных труб! Больше, товарищи, медных труб!»

В самой фамилии «Обросов» звучат понятия и «россы» и «росы». И в живописи художника, как видим, звучит многое. Не так давно вышел альбом о его творчестве, Обросов посмотрел его и не испытал радости. «Жить можно было по-другому, искренне, откровенно».

**Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?**

Иногда он рисует себя на своих картинах. Вот он мальчишкой военных лет, в картузе, с надеждой в голодном лице, запрокинутом встречь проходящему воинскому эшелону. Вот он с дочкой у ростка льна — сильный, молодой, уверенный в себе... Он смотрит на себя в зеркало — там другой, уже крепко битый жизнью и мыслью Обросов.

Ему не очень по нраву лес, больше любит широкое, раздольное поле. Он не терпит замкнутого горизонта. Чтобы все на виду! Чтобы земля родная. Чтобы были на ней только чистые родники. Чтобы сын отвечал за отца, за его благородное дело. Чтобы пришел в мастерскую друг, художник Тогрул Нариманбеков, постоял у законченной картины и сказал: «Получилось, получилось, Оброс!».



Лиляна
СТЕФАНОВА

Сейчас

Все — в этом строго и прямо
отмеренном слове:
сейчас.

В четких границах его, и суровых, и ясных.
В пульсе напрягшихся двух откровенных гласных.
В кратком, как будто нарочно отрубленном
«час».

Миг наступающий и миг, исчезающий с глаз,—
оба, как радуги летней цветистая тень.
Предпочитаю кричащий сегодняшний день,
радугу красок горячего слова «сейчас».
Плоть его предпочитаю воспоминаньям любим,
всем чудесам, что мы завтра добудем.
Пусть будет кратким отрезок пути, но — моим,
полным сплошной лихорадкою буден.
Предпочитаю, чтоб радость, успех, беда
мне выпадали сегодня, как дар земной.
Лишь в настоящем мы вечны. И ты всегда
только в сегодняшнем времени будь со мной.

Странен вопрос твой: «Когда?» Словхватись, пора!
Нынче же, в эту минуту и в этот час!

И не говори мне «завтра» или «вчера».
Хочу, чтобы ты был в моем бесконечном
сейчас.

☆☆☆

После долгого дня — головой на твоей руке —
словно жница на ниве своей, засыпала я.
Так, наверно, лишь очень счастливая женщина
засыпает усталая.
И пока я смотрела беспечные сны
или что-то шептала сквозь сон невзначай,
за порогом стучало зубами от холода
до безумья упорное слово «прощай!».
Это слово стояло у самых дверей
хуже яда, страшнее смертельных обид.

А я засыпала — головой на руке твоей,—
как лишь очень счастливая женщина спит.

☆☆☆

А наши души вместе. Почему?
Давно уж все, что было между нами,
оборвалось, как паутинки нить.
Не пожелали даже сохранить
важнейшее...
Забыли — что...

На вешалке
мое пальто
уж сколько дней не льнуло к твоему.
И это так привычно и не странно.
Но безрассудно, нежно, первозданно
все вместе наши души. Почему?

Перевел с болгарского
В. СОКОЛОВ.

☆☆☆

Как плоды, что над милым краем
ветром сбило с ветвей тугих,
так мы быстро друзей теряем,
а как долго мы ищем их!

После каждой потери друга —
стая в небе разгон берет.
И я думаю: близко выюга.
Скоро ль твой подойдет черед?

Перевел
К. ВАНШЕНКИН.

Я открываю тебя

Сажаешь деревца. Ловлю я звук мотыги,
Вдыхаю жадно запахи земли.
Ты создаешь главу неповторимой книги,
Которую создать поэты не могли.
Сажаешь деревца. Молчишь... Промчатся грозы,
Согреет землю ласковый апрель,
И персиковый сад — воздушен, розов —
Вдруг поплывет в зеленую метель.

Ты в будущем сейчас, а не со мной,
Как ребятишек, гладишь деревца.
Тебя я мерю меркою иною —
Ты лишь теперь мне близок до конца.

Перевела
Ю. ДРУНИНА.

☆☆☆

Совсем одна, в объятьях беспредельной,
невероятной, мертвой тишины,
я поняла, что ранена смертельно.
А он... А он не чувствует вины.

Что без труда он для другой воскреснет —
не воспарит и не пойдет ко дну.
Но будет моя раненая песня
страдать и биться у него в плену.

Седой рассвет росу на травы нижеет,
к вершинам дальним подступает лес.
И я кричу: — Пусти меня! Пусти же!
Ведь песни умирают без небес!

Перевела
Л. ДЫМОВА

Владимир
ЛУКЪЯЕВ

А ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ, ВЕРЬТЕ МНЕ...

Фото
Л. Шимановича



С первых детских лет я усвоил, что все мы — я, мои родители, бабушки, дяди, тети и остальные люди из моего маленького мира — жили когда-то в другом месте, которое называлось Кавказ, а здесь, в Киргизии, в Кызыл-Кие, живем вынужденно. И все разговоры в кругу степенных мужчин или у вечно прядущих пряжу балкарских женщин обычно сводились к воспоминаниям об оставленных на далеком Кавказе домах, коровах, овцах...

Мне было пять лет, когда в июле 1954 года органам МВД предлагалось снять с учета детей переселенцев до 16-летнего возраста включительно, освободить их из-под административного надзора и не применять к ним ограничений, установленных для взрослых.

Но об этом послаблении я узнал только в прошлом году — и до сих пор вся документация, касающаяся репрессированных наций, мало публикуется. Так что глубокого и благодарного следа в моей душе эта акция не оставила — как раз в тот год я оказался в компании, которая собралась было бежать на Кавказ. Вот как это было.

Горел костер, вокруг которого сидели человек десять наших «больших» пацанов. Уже давно стемнело, но я не торопился домой. Мама лежала в больнице с моим заболевшим братишкой, а отец был в ночной смене на шахте. В последнее время мы часто собирались здесь, на стройке, и, насобирав щепок и бумаг, разжигали костер и засиживались далеко за полночь.

Самому старшему из нас, Локману, было, наверное, лет шестнадцать. Авторитетным он был пацаном, и вполне заслуженно. Никого и ничего он не боялся. А как-то раз, я сам это видел, он в одиночку справился сразу с тремя фээзушниками — злейшими врагами ребят с балкарского поселка.

Разговоры у костра были, как и всегда, о том, кто с кем подрался или собирается подражаться, о том, что скоро урожай арбузов и дынь, и как мы пойдем на базар и будем тырить все подряд у полудремлющих от жары узбеков.

«А знаете,— вдруг сказал кто-то из темноты,— что один пацан, чеченец, я с ним в прошлом году ходил урюк воровать, убежал на Кавказ?»

«Знаем,— отозвался Локман,— мне один русский, блатной, сказал, что этого пацана «мусоры» поймали в Ташкенте и теперь его посадят на пять лет. Он без денег поехал, а в Ташкенте захотел есть и украл лепешку. Так и попался».

«А давайте мы тоже поедem на Кавказ,— продолжал рассказавший про чеченца. Теперь я увидел, что это был Сарби — ловкий и отчаянный парень, чуть младше Локмана. Много за ним было всяких дерзких проделок.— Давайте поедem, чем мы хуже того чеченца. Он без денег поехал, а у нас они будут. Натырим всего на стройке, продадим в кишлаке киргизам и поедem на товарняке. На нем «менты» не ездят. А приедem на Кавказ — сразу в горы. Там же наши дома, в них никто не живет...»

На стройке собрался из готовых деревянных щитов длинный «финский» барак. А внутри барака — мы это точно знали — хранились толь, оконное стекло, гвозди, цемент... Большие ценности по тем временам. Знали мы, что сторож с наступлением темноты наглухо запирается в почти построенном бараке и, приняв чекушку, заваливался спать и до утра не показывал носу. Храбрился, правда,— бывало, откроет окно, пальнет в воздух пару раз из своей двустовки и кричит, что никого он, старый вояка, не боится и пусть только кто сунется... Покричит и засыпает.

«Это он со страху такой воинственный, не надо над ним смеяться,— сказала мне как-то бабушка.— И не ходите по ночам вокруг стройки. Он возьмет и стрельнет...»

А для страха у сторожа были основания, да еще какие. Городок Кызыл-Кия расположен на юге Киргизии и граничит с Ферганской долиной. Вокруг вспучиваются выжженные солнцем предгорья Алайского хребта. Вершины некоторых холмов увенчаны терриконами. Там в шахтах давал стране уголь мой отец, офицер-танкист в годы войны и спецпереселенец после победы над Германией. На одной из этих шахт до моего рождения работала и моя мама. Рядом с шахтами и был наш поселок, балкарцев-спецпереселенцев. А в километре от нас жили чеченцы. Другие спецпереселенцы — крымские татары, курды и турки из Грузии и Азербайджана, поволжские немцы — жили где-то в стороне.

Жили в Кызыл-Кие и «стопроцентные» граждане СССР: русские, украинцы, киргизы, узбеки... Но у многих из них тоже была своя судьба, своя статья. А в пятьдесят четвертом в городок понаехало много блатных. После смерти Сталина Берия помянул соратника большой амнистией для

уголовников. Выйдя на свободу, они от души пошалили на Севере и в Центральной России, а с наступлением холодов двинули в теплые азиатские края. Неспokoйная пошла у нас жизнь, что ни ночь — одно, два убийства.

А ответственность за это были не прочь приписать балкарцам и чеченцам. Тут надо сказать, что за десять лет хоть и вынужденного, но совместного проживания местная «общественность» так и не смогла уразуметь наши понятия о поступке и расплате.

Особенно кровавыми стали дни, когда приехавшие блатные решили установить в городе свою гегемонию. Стали грабить, насиловать, а убивали даже из-за наручных часов, которые у них ценились выше жизни «мужика» или «фрайера». Нас блатные поначалу не трогали. Знали еще по лагерям, что если обидеть одного горца, а наших за колючей проволокой тогда было ох как много, то отвечать за это придется по самому большому счету. Но иногда, по пьянке или по злобе, блатные били ножом и нашего парня. Убитого, как и полагается у правоверных, помолясь, хоронили в тот же день. А к вечеру все не занятые на работе мужчины балкарского и чеченского поселков устраивали блатным газават.

Вот какой была обстановка в городе Кызыл-Кие в пятьдесят четвертом году, и сторож правильно делал, что не выходил из своего убежища. Да сторож и не страшил нас. Куда опасней была бы встреча с милицейским патрулем... «Пора», — сказал Локман.

Мне было сказано сидеть у костра и, если замечу постороннего, «заговорить ему зубы», а если милиция появится — четыре пальца в рот и свистнуть. Но операция удалась, и в полночь я, пыхтя, поднимался на гору, где стоял наш маленький глинобитный домик, и тащил на плече тяжеленный рулон толя. Около дома мигала самокрутка, белели подштанники отца.

«Где ты был? Что это такое?» — Он снял с моего плеча рулон.

«Ходил с большими ребятами на стройку. Они еще там остались, а мне дали вот это и отправили домой. А правда, эта штука дорого стоит?»

Почему меня интересовала стоимость толя, я решил не говорить.

«Иди спать», — сказал папа, — утром поговорим».

На следующий день только и разговоров было о том, что в «финском» бараке ночью сняли с окон рамы и вынесли все, что там было. Сторож проснулся утром, а кругом пусто. И он привел милицию с собакой, которая сразу же взяла след и привела к дому одного из ночных злоумышленников. Его забрали, но он сообщников не выдавал, это было ясно, иначе бы и за другими уже приехали.

А отец в то утро сказал мне, что воровать нельзя, и велел забыть, с кем был прошедшей ночью. Я, наконец, признался ему, ради чего ребята полезли на стройку...

«Тебе пять лет, ты уже большой и должен запомнить мои слова на всю жизнь. Воровство — плохое дело, но еще хуже — предательство».

Пятьдесят четвертый год был для нас «юбилейным». Десять лет назад нас, балкарцев, всех до единого войска НКВД вышвырнули в одночасье из наших домов в горах Кавказа, лишив нас земли предков.

Почему и за что Сталин, Берия, Молотов, а также искренне любимый мной в детстве всенародный дедушка Калинин и многие другие кремлевские дяди приказали сделать с нами то, что Гитлер хотел сделать с русскими и другими славянскими народами? Гитлер, как известно, за такие штуки крепко поплатился. Да иначе и быть не могло. Людоеды всегда плохо кончали — не только в сказках. Но наши отечественные людоеды были еще и гипнотизерами. Сейчас наконец-то их гипноз потихоньку терять силу, и, думаю, с каждым из них мы вскоре окончательно разберемся.

В школьных учебниках истории СССР, которые издавались в течение первых десяти лет после Двадцатого съезда, в числе прочих проявлений культа личности вскользь упоминалось и о репрессиях, которым подверглись некоторые народности нашей страны. Я не знаю, как об этом будет сказано в новых учебниках по истории, но я не согласен со старыми формулировками — «народности» и «репрессии». Кто и по каким признакам смеет делить людей на «народы» и «народности»? И то, что Сталин и его сообщники сделали с нами, с «некоторыми народностями», во всех толковых словарях называется не «репрессиями», а «геноцидом».

Мне недавно попали в руки две разукрашенные юбилейные книжечки. Одна из них о пятидесятилетии, а другая о шес-

тидесятилетии КБАССР. В них много информации о достижениях и о славном историческом прошлом республики, но нет и намека на то, что пережил балкарский народ за четырнадцать лет. Ведь еще совсем недавно не только писать, но даже и говорить о тех годах и о тех событиях считалось проявлением антисоветизма, мелкого национализма. И те, кто так утверждал, еще дееспособны. Они, может быть, рядятся под «перестройщиков», но, затаившись, не упускают возможности поставить нам палки в колеса. Я побывал в одном архиве, в другом... Можно было и не ходить. Нет там гласности применительно к истории моего народа. Пока. Обещали дать на будущий год. Мне удалось лишь выяснить, что за все эти годы к главным архивным материалам о выселении народов не притрагивался ни один исследователь.

Но благое дело не может обойтись без везения. Я позвонил в Нальчике с доктором исторических наук Х. И. Хутуевым. Кандидатская диссертация, которую он написал в 1961 году, а защиты добился только в 1965-м, посвящена в основном военной и послевоенной судьбе балкарского народа. Эта диссертация помогла мне и документировать, и значительно расширить свой рассказ.

Ханафи Исхакович поведал мне и свою историю:

«В феврале сорок четвертого года Берия приехал в Орджоникидзе и жил там в своем бронированном вагоне. И вот откуда стали поступать запросы о том, в каких селах проживают балкарцы, сколько жителей в каждом селе, пригодны ли дороги для прохождения в балкарские аулы грузовых автомобилей и так далее. Я начал догадываться, что против нашего народа замышляется какое-то коварство.

— Что-то мне не нравится такой пристальный интерес к балкарцам, может, и нас выселять собираются, — сказал я как-то своему коллеге по госбезопасности Кириченко.

Тот быстренько передал мои слова наркому внутренних дел республики Филатову, который тут же меня вызвал и сказал, поклявшись партийным билетом, что никакого выселения не будет. А информация эта нужна для того, чтобы быстрее собрать с балкарцев взносы на строительство танковой колонны. И меня откомандировали в горы, чтобы подготовить ответы на запросы из Орджоникидзе.

Вернулся я в Нальчик двадцать восьмого февраля ночью, и Филатов, обвинив меня в распространении слухов о предстоящем выселении, заключил меня в камеру внутренней тюрьмы НКВД. А вечером седьмого марта вызвал к себе и говорит: «Иди, Хутуев, домой, покажись родным, что ты жив и здоров, приведи себя в порядок, побейся и приходи, будем выселять балкарцев. Ну, а ты — работник хороший, мы похлопочем и постараемся оставить тебя здесь, согласен?» «Нет, — говорю, — если всех балкарцев выселяют, то и мне надо разделить их участь». И рано утром восьмого марта я вместе со всеми сел в теплушку и поехал в Киргизию, куда вскоре пришел и приказ о моем увольнении из органов госбезопасности по «профнепригодности», подписанный, кстати, самим Берия».

«О том, что нас будут выселять, мы ничего не знали, — рассказывает мне мама. — Седьмого марта снизу из Нальчика прибыло много военных машин с солдатами и офицерами. Офицеры были очень злые и все время рывкали на нас. А один солдатик зашел к нам в дом и тихо сказал, чтобы мы не теряли время, а побыстрее резали скотину и заготавливали продукты в дальнюю дорогу. Мы ему не поверили тогда. За что нас выселять, ведь твой дед был передовым колхозником, членом партии, партизанил...»

Ночью, около трех часов, в дом вошел офицер с двумя автоматчиками и сказал, что постановлением ГКО мы подлежим немедленному выселению и что на сборы он дает двадцать минут. Ну, что за это время можно собрать? На одну машину грузили по четыре семьи. Хорошие у них были машины — новые, американские, но для четырех семей с вещами и многочисленными детьми места было мало. Офицер орет: «Выбросить всё лишнее!» А что могло быть лишнего в нашем доме, мы ведь не городские. Тогда они взяли и сами повыбрасывали все, что попало под руку.

К утру нас привезли в Нальчик. А там эшелоны стоят — конца не видно. Офицеры ругаются, у некоторых пистолеты в руках, солдаты прикладами бьют, торопят, собаки конвойные захлебываются от лая, дети, женщины плачут...

Я вспомнил, что как-то раз лет двадцать назад у нас в доме по какому-то случаю собрались мои тети, дяди, бабушка. По телевизору шел фильм «Судьба человека». Все спокойно смотрели его. У балкарцев, как и у многих горцев, считается неделикатным выплескивать свои эмоции. Но когда пошел

эпизод, в котором фашистский эшелон, набитый женщинами и детьми, прибыл в концлагерь и эсэсовцы выбрасывают из вагонов и рассортировывают людей, все заплакали. «И нас вот так, с собаками», — сказала тетя Зайнаф.

Эшелоны с высланными балкарцами гнали на восток. Дорога туда была свеженакатанной. Соседних карачаевцев, родственных балкарцам и по языку, и по историческим корням, выслали накануне праздника, 6 ноября 1943 года. Следующий «праздник» НКВД устроил чеченцам и ингушам, выслав их 23 февраля 1944 года. А две недели спустя, 8 марта, наступил черед балкарцев.

Акции по выселению народов проводились молниеносно. Прошлые заслуги не засчитывались, депутатская неприкосновенность не соблюдалась. Такова была цена гарантий прав человека, провозглашенных «сталинской конституцией». Не пощадили и семьи погибших фронтовиков. Аба, двоюродная сестра моей мамы, за год до рокового дня получила похоронку на своего мужа, коммуниста и офицера Красной Армии. Тетю Абу с двумя ее девочками, трехлетней Фатимой и совсем крошечной Абидат, впихнули, подталкивая в спину прикладами автоматов, в переполненный кузов «студебеккера»...

«Ребята, я ведь боевой офицер, только что с фронта, я ногу там оставил, а вы меня как бандита выселять будете!» — в отчаянии воскликнул поэт Керим Отаров.

«Ничего, — мрачно буркнул один из вломившихся в дом энкавэдэшников, — другую ногу оставишь там, куда поедешь. Бери свои костыли и двигай вперед!»

Я не гущаю краски. Это типичные «средние» (язык не поворачивается так их называть) примеры. А ведь были при выселении случаи страшные, с боями и стрельбой по безвинным и безоружным людям.

А вот еще одна история — еще одна грань геноцида:

«В сорок третьем году нацисты при отступлении разграбили и разрушили Нальчик. Надо было в короткое время наладить нормальную мирную жизнь, — вспоминает народный артист КБАССР, заслуженный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель известного танцевального ансамбля «Кабардинка» Мутай Исмаилович Ульбашев. — В конце сорок третьего меня отозвали из армии. Приехал в Нальчик, иду в отдел культуры обкома. Давай, Ульбашев, говорит мне зав. отделом, поднимай былую славу нашего ансамбля. Приступай немедленно к работе. Твоя боевая задача теперь поднимать моральный дух советского народа».

Я с головой ушел в свое любимое дело, которым начал заниматься, еще когда мне не было и одиннадцати лет. Собрал оставшихся «стариков», нашел новую молодежь, и мы приступили к репетициям. Быстро, меньше чем за неделю, подготовили программу.

В конце февраля сорок четвертого по Нальчику поползли слухи о предстоящем выселении. Но кого будут выселять, никто не знал. Восьмого марта утром я встретил своего приятеля, который работал в обкоме комсомола. «Мутай, — говорит мне он, — сегодня вас, балкарцев, будут выселять. Но у тебя есть заслуги перед республикой, и мы попросим оставить тебя здесь. Сам понимаешь, что твердо обещать ничего не могу. Давай иди домой и будь готов ко всему».

Через два часа раздался стук в дверь. Я открыл, и в комнату вошли офицер и автоматчик. Офицер прочитал постановление ГКО о выселении балкарцев и дал двадцать минут на сборы. Я попытался объяснить ему, что меня специально отозвали из армии и что я нужен здесь, в республике, но он перебил меня и сказал, что ему обо всем этом известно и не надо тратить время попусту, а побыстрее собираться и идти. «А вы, — сказал он, поворачиваясь к моей жене Заре, — можете остаться. Вы же осетинка, а вашу национальность мы не выселяем». «Ни за что! — ответила Зара. — Я буду с мужем всегда и везде, куда бы вы нас ни загнали. Ну, а если умирать там выпадет — умру вместе с ним». Офицер в общем-то неплохой парень был и, наверно, хотел нам помочь. «Зря вы кипятитесь, — сказал он Заре. — Вот вы с ним туда поедете, а там что, думаете, вас родственники ждут, папа с мамой? Оставайтесь пока здесь, продадите имущество, соберете деньги и поедете начинать новую жизнь». «Нет!» — отрезала Зара, и мы сели в товарняк и поехали на восток в киргизские степи.

У Мутая и Зары тогда еще не было детей. Но ведь было много других семей, с детьми, в которых мужья по воле ГКО оказались бесправными спецпереселенцами, а жены остались хозяйками «необъятной родины своей». У жен, принадлежавших к невыселяемым национальностям, как нам уже известно, была возможность отречься от своих мужей

и остаться «чистыми». У детей — нет. Все дети от смешанных браков обязаны были разделить участь отцов. А если жены ехали вместе с мужьями, то по приезде на место поселения они лишались всех прав, их ставили на учет в спецкомендатуре, и стать равноправными гражданами СССР они не имели права даже в случае развода или смерти мужа.

Нечто подобное в свое время сделали с женами декабристов. Правда, это было при царизме. Но даже самому жестокому царю далеко до «отца народов». Например, вы можете представить, что стало бы с Пушкиным (живи он в наше время), да заодно и со всеми его родственниками, если бы кто-то стукнул «хозяину», что поэт где-то кому-то сказал: «Тебя, твой трон я ненавижу».

«В пути нас кормили, — рассказывает мама. — Но что это была за еда? Вода, в которой плавали какие-то вываренные зернышки. Да и этим нас особенно не баловали. В лучшем случае раз в день делали остановку где-нибудь на большой станции, и один или два человека из вагона в сопровождении конвоира шли за баландой. К концу нашего пути некоторые стали опухать от голода».

«Голод был не так страшен, — говорил мне Башир, двоюродный брат моей мамы. — От голода можно всего-навсего умереть. Сам знаешь, для нас есть вещи намного хуже любого физического страдания и даже смерти. Тех, кто умер в пути, бросали под откос, как погибшего моряка — в море. А ведь не предать тело земле — самый страшный грех для балкарца. Только они плевать хотели на наши обычаи. В соседнем вагоне, помню, скончалась одна старая женщина. В том же вагоне ехали ее дочь и сын, которые видели, как охрана поступает с умершими. И они прятали тело матери до тех пор, пока оно не стало разлагаться. А ведь они не одни ехали в вагоне, там еще человек тридцать — сорок было набито. И все они считали, что дети умершей женщины поступают согласно обычаям и не уподобляются «гяурам», для которых нет ничего святого».

Хоронить умерших в пути разрешалось, только когда было много трупов. А много ли — определял начальник эшелона. Хоронить — значит останавливать поезд где-то в степи, организовывать конвойную цепь, выпускать для похорон родственников умерших... Нужна начальнику эта канитель?

Расселение балкарского и других высланных народов проводилось на громадной территории от Южного Урала по всей Казахской степи и до безжизненных предгорий Алайского хребта. Места поселений, как правило, были самыми гиблыми.

А теперь давайте посмотрим, каких «бандитов и пособников врага» вывели силой из родных мест и обрекли на медленную, но верную гибель в чужой стороне. По данным архива Совета Министров Киргизской ССР, в 1944 году прибывшие на спецпоселение балкарцы-мужчины — а это были оставленные по брони передовые колхозники, советские и партийные работники, сотрудники госбезопасности и управления внутренних дел, инвалиды с детства и инвалиды все еще грохочущей войны, столетние старцы — все, вместе взятое, составляли только 18 процентов от общего числа переселенцев. Женщин было 30 процентов, все остальные, то есть больше половины, — дети. Подобное процентное соотношение среди балкарцев было и в Казахстане.

«Когда нас выгрузили на какой-то станции неподалеку от Талды-Кургана в Казахстане, — рассказала мне тетя Аба, — к нам стали подходить какие-то люди, осматривать нас, расспрашивать, сколько у кого в семье детей, стариков. Это были, как вскоре выяснилось, директора совхозов и председатели колхозов. Долго они так ходили, все что-то записывали, а потом собрались неподалеку от того места, где я с детьми и сестрами стояла, и стали спорить. Кричат друг на друга, матерятся. А главным из «встречающих» был полковник. Он ни с кем не спорил, а все ездил в белом полушубке и на белом коне среди нас и командовал, помахая веткой: «Вы здесь стойте, вы, с этого вагона, там встаньте, не ходите из одной группы в другую!» Военный человек, командир. А председатели ругаются... «Не надо, — кричит один, — мне эту семью подсовывать. Там ведь только одна работница, а все остальные восемь — иждивенцы, старуха и дети. Почему я их должен кормить?!» — «Вот как, — кричит другой, — я их, что ли, возьму? У меня и своих иждивенцев полно, а этих бандитов мне и подавно не надо». Ну, а мы, весь эшелон, слушаем все это, стоим и ждем. «Да успокойтесь вы все, не брите! — посмеиваясь, угомонил председателей солидный и уверенный мужчина. — Что вы заладили — иждивенцы, иждивенцы... Берите всех подряд. Их сюда прислали

навечно. Здесь не Кавказ, и в нашем климате иждивенцы долго не протянут, умрут, а работники вам останутся».

— А что это был за дядя? — спросил я.

— Директор совхоза, наш будущий начальник по фамилии Дидрихсон. А ведь прав оказался, как в воду смотрел, сволочь. Сколько там наших поумирало!..»

Семью моей мамы довели на двадцать пятый день пути до киргизского городка Кызыл-Кии и сразу с вокзала строем повели в какую-то временную баню. Там их «продезинфицировали» и вселили в барак, где была выделена комната, которую на первых порах они делили с еще двумя семьями. Отец матери, участник гражданской войны и член партии, заболел еще в начале пути. Ни о какой врачебной помощи в эшелонах спецпереселенцев и речи быть не могло. Кого лечить — врагов? В Кызыл-Кие мой дед не прожил и недели (по свидетельству Хутуева, там, где я родился, умерло больше всего спецпереселенцев).

Самой старшей из шестерых детей в семье была мама. Ей было восемнадцать, а самой младшей сестренке, Рае, не было и года. Скучный запас продуктов, захваченных из дома, кончился еще в пути. Не было денег, одежды, посуды...

Почти все жители городка работали в шахтах, и вскоре к ним присоединились женщины — спецпереселенки. Уголь в забое рубили в основном немцы-военнопленные и уголовники, а моя мать, как и многие другие балкарки и чеченки, была откатчицей, то есть катала по шахте вагонетки с углем. Электровозов тогда и в помине не было, а шахтерских лошадей уголовники забили и съели...

«Есть было нечего, — вспоминает мама. — Чего только не пришлось мне увидеть тогда. И как траву ели, помню, а она оказалась не такой, как в наших горах, и многие потом поумирали от этого. А как-то раз я видела, как человек гнался за собакой, чтобы поймать и, наверное, съесть, но сил бежать у него не было, и он упал. Потом подполз к тому месту, где эта собака сидела, и стал есть собачий кал...

— Это был балкарец? — притя в себя, спросил я.

— Какая разница, — вздохнув, ответила мама, — это был человек, и те, кто довел его до этого, тоже ведь считали себя людьми. Вот в колхозах жить было лучше, чем нам. Они хоть и работали по 15—16 часов, зато могли спрятать в одежде картофелину или свеклу и принести детям. А из шахты что принесешь? Вот и умирало здесь нашего народа больше, чем в других местах».

Вымирали семьями. Хоронить умерших было некому, была организована специальная санитарная команда, которая ездила по домам, собирала трупы и, зарегистрировав факт смерти в городской больнице, закапывала их во рву за больничным зданием. Сколько там лежит безымянных и безвинных жертв сталинского геноцида: ингушей, чеченцев, балкарцев, крымских татар!.. Одной маминой карточки на семью из семи человек было мало, и вслед за мамой спустился в шахту и ее четырнадцатилетний брат Али.

«Я хорошо помню, как в день нашего приезда вся Кызыл-Кия сбегалась на вокзал посмотреть на нас. Оказывается, кто-то пустил слух о том, что привезли очень кровожадных людей, хищников, которые не брезгуют и человеческим мясом. Я это серьезно говорю, — и в самом деле серьезно убеждает меня Али. — Мы идем все эшелонами, колонной, а они выстроились по обеим сторонам улицы и смотрят... Да, в первые дни нам крепко доставалось. Еды никакой, хлеба даже по карточкам не хватало. Встанешь в очереди — стоишь, стоишь... Хлеб кончится, а у людей еще карточки на руках, а что с ними делать, если они только на один определенный день выдавались. Кто посильнее и понахальнее, протолкнется и возьмет без очереди. Ну, и мы тоже, когда пришли в себя после дорожного голода, стали шустрить по-ихнему. А те нахалы нам орут, дескать, изменники родины, бандиты, надо было вас всех там поубивать, а не везти сюда — и в драку. А мы по-русски, кулаками, драться не умели, этому мы потом научились, а вот бороться — пожалуйте! Кинешь на землю одного, другого, а на большее силенок не хватало. В общем, на первых порах нам доставалось крепко. Выходить за пределы городка нам было запрещено. Пять километров в длину, пять в ширину — вот вся наша зона. Выйдешь за черту — пять или десять лет лагерей за нарушение режима. А в восьми километрах от городка Уч-Курган — оазис. Там пшеница росла, овощи, фрукты, а у нас голод. Правда, случай один произошел еще в самом начале, когда нас только привезли в Кызыл-Кию. Наш парень, балкарец, ночью залез в чей-то огород, там помидоры росли, еще зеленые, а утром нашли этого парня чуть ли не в центре города с узбекским ножом в груди, а у головы

шесть зеленых помидорин лежат. Ну, ладно! Поняли мы, что это наемк на то, что шутить с нами не собираются, но только зря они думали запугать нас этим».

«Тогда таких, как этот, теперь в газетах писали о нем, председатель колхоза, который всех своих колхозников рабами сделал...» — вступил в разговор младший брат Али Хызыр. — Адылов, — помог я ему.

— Вот, вот! Таких чингисханов тогда много было. Чуть что — камочкой бить лезли, даже убить могли, и все их боялись. Байские замашки, но с нами это не проходило».

«Короче, — продолжал Али. — В конце мая созрел урожай, и мы, все наши пацаны, человек двадцать, решили ночью сделать набег на колхозный сад. Когда стемнело, вышли в дорогу. А за нами Хызыр увязался с такими же, как и он, лет по одиннадцать-двенадцать, пацанятами.

Приходим в сад, не шумим, не разговариваем, потому что рядом домик, в котором сторожа сидят, залезли на деревья и рвем урожай. А ночь лунная, все видно как днем. Хызыр с пацанятами тоже принялись за дело. Вдруг из домика выходят двое и идут прямо в их сторону. Подходят они к дереву, в руках у них палки, как ружья длинные, и кричат, чтобы все спускались вниз. А пацанята, наоборот, еще выше полезли. А те уже звереть начали. Поняли мы, что если не вмешаемся, то убьют пацанят не задумываясь».

«Убили бы, это точно», — подтвердил Хызыр.

«Слезаем мы с дерева и подходим к сторожам. А надо сказать, что из всех ребят я был, пожалуй, самым младшим, а всем остальным было лет по шестнадцать и больше. Некоторые перед выселением даже в армию собирались идти, да вот после 8 марта наших ребят уже не призывали. Не доверяли, хотя сколько в это время наших мужчин на фронте было — твой отец, к примеру. Подходим мы к сторожам тихо, как абреки, и когда они увидели нас, то чуть было не обделались со страху. Мы думали, говорит один, что это кызыл-кийские урки, а вы с Кавказа, тоже мусульмане, можете рвать, сколько вам надо. И они ушли. А мы снова залезли на деревья и рвем урожай. И вдруг из домика выходят двадцать или больше мужчин. Рядом с садом было хлопковое поле, и поливальщики остались ночевать у сторожей в домике. И вот эта армия, блестя подтанниками — тогда мода у местных была ходить в нижнем белье, ни днем, ни ночью его не снимали, — идет на нас.

Я выбрал ветку потолще и начал ее отрезать. Смотрю, другие парни тоже режут ветки. А они подошли уже к первому на их пути дереву, матерятся по-своему и по-русски — давай, мол, вниз, конец вам пришел. На том дереве Магомед сидел, крепкий парень, борец, самый сильный из нас. И он прыгнул на них сверху, как барс на стадо косуль, схватил первого попавшегося, поднял над головой и грохнул об землю. Схватил другого, вырвал у него палку — и пошло дело... Погоняли мы их по саду, человек пять сбросили в арык поплавать. Видишь, какие они оказались скоты! — разошелся Али, — рвите, говорят, вы тоже мусульмане, вам можно! Домой мы бежали по-другому, дальнему пути, через горы. Если бы нас в саду или по дороге взяла милиция — всем хана! Нарушение режима — пять лет, драка, воровство, лет на десять потянуло бы».

«А если бы кетменщики нас прибили, то им бы ничего за это не было», — сказал Хызыр.

«Да-а, сколько до этой драки наших пацанов из-за горсти урюка поубивали, Хызыр, помнишь? Двоих? Трех?»

«Трех. И никого за это не посадили и даже допрашивать никого не допрашивали».

«После этого случая к нам уже не лезли».

В то время как балкарские юноши боролись на чужбине за выживание и сохранение чувства собственного достоинства, что, впрочем, для горцев равнозначно, их старшие братья и отцы были на фронте, далеко на западе, и ничего не знали о происшедшей трагедии.

«А вот я знал, что балкарцев выслали, — начал свой рассказ офицер-фронтовик Магомед Огурлиевич Башиев. — Мне об этом сообщил мой друг — дагестанец Пашаев. Весной сорок четвертого он был начальником особого отдела, а я секретарем комитета комсомола полка, который входил в состав 417-й стрелковой «Сивашской» дивизии. Во всей 51-й армии, куда входила и наша дивизия, я знал только одного человека, с кем бы мог разделить свое горе. Это был Кайсын Кулиев, старший лейтенант, сотрудник армейской газеты. До войны я не был лично знаком с Кайсыном, но нередко бывал в Нальчике на литературных вечерах, где он читал свои стихи. Он уже тогда был знаменитым человеком. А познакомились мы в сорок третьем году на совещании политработни-

ков 51-й армии. Нас тогда собрали перед предстоявшим форсированием Сиваша, потому что дело ожидалось жаркое. Взяли мы Сиваш, прошли в Крым и остановились около Джанкоя. Там и застала меня эта черная весть.

Армия готовилась к наступлению и штурму Сапун-горы, и, как всегда перед большими боями, наступило короткое затишье. В это время и приехал Кайсын. Заруливает на «виллисе» и сразу ко мне. Радостный такой, сияет. «Ты что, говорит, Магомед, такой кислый?» Я понял, что он еще ничего не знает, и говорю ему: «Пойдем, я тебе что-то скажу». Вышли мы наружу, отошли подальше в поле и сели на травке. У меня с собой была фляга спирта, я налил ему, себе. Выпили, и я все ему рассказал. А он перебивает меня все время и говорит одно и то же: «Не может быть, Магомед! Не может быть, Магомед!» — «Как не может быть, — отвечаю, — пойдем к Пашаеву, он свой парень, покажет тебе этот секретный приказ». — «Нет, — говорит, — раз ты такие вещи говоришь, значит, так оно и есть». Долго мы с ним так сидели. Он плачет, я плачу, выпили флягу спирта, а хмель не берет.

А через несколько дней начался штурм Сапун-горы, и на одном из участков надо было подавить пулеметную точку, которая сдерживала атаку нашего полка. Я вызвался добровольцем, ко мне еще двое ребят, комсorghов рот, присоединились. Пулемет мы уничтожили, но я после этого задания попал в госпиталь с пулей в лопатке. Она до сих пор там и сидит. А ребята из полка потом мне в госпиталь написали, что приезжал корреспондент Кулиев и разыскивал меня. Больше я офицера Кулиева не встречал, а Кулиева-спецпереселенца видел много раз в столице Киргизии Фрунзе.

— А родные вам ничего о себе не сообщили?

— Сестра прислала письмо-треугольник откуда-то из Казахстана, проездом. Написала, что всех балкарцев везут куда-то, и что с ними будет дальше, никто не знает. Писем я больше не получал и очень долго ничего о судьбе моих родственников не знал. И только в конце сорок пятого года после долгих-долгих поисков в различных городах Средней Азии я смог их найти и поехать к ним в Киргизию».

В сорок четвертом году отношение «высокого» начальства к ничего не подозревающим солдатам и офицерам высlander национальной резко изменилось. Появилась дискриминация, которая выражалась в том, что эти солдаты и офицеры уже не повышались в звании, как правило, не награждались, а если и получали награду, то не ту.

Командир роты балкарец Мухажир Уммаев в боях за Одессу 10 апреля 1944 года вместе со своими бойцами, отразив три ожесточенные контратаки противника, первым ворвался на окраину города. В этом бою старший лейтенант Уммаев лично уничтожил в рукопашной схватке 18, а его рота 200 немецких солдат и офицеров. Преследуя отступающего врага, рота Уммаева уничтожила еще свыше ста захватчиков и первой ворвалась в центр города. Об этом подвиге рассказала после боев за Одессу армейская газета. А знают ли сейчас имя балкарца Уммаева в городе-герое?

За мужество и отвагу при освобождении Одессы командованием 179-го гвардейского полка Уммаев был представлен к присвоению звания «Герой Советского Союза». Ходатайство поддержали командование дивизии и Военный Совет армии. Но в Москве наградная комиссия ГКО ограничилась награждением Уммаева орденом Александра Невского. И это была последняя награда героя. Его демобилизовали, и он поехал к своим высlanderным землякам в Казахстан, где и умер вскоре от полученных на войне ран.

Мой отец был танкистом на Северо-Западном фронте. Звание лейтенанта и последний орден Красной Звезды он получил весной сорок четвертого, хотя и воевал до последнего дня и въехал на своем танке в Берлин. За целый год наступательных боев ни повышения в звании, ни награды?

«Кто из нас, простых людей, думал тогда о званиях и орденах, — сказал он мне как-то. — Все это было ценно для тех, кто в хромовых сапогах всю войну прощеголял».

Что это, подумал я, пренебрежение «окопника» к наградам и «штабникам» или же старая обида на несправедливость к нему?

В конце 1945 года демобилизованные фронтовики стали возвращаться к своим семьям. Едва прибыв на место, они должны были встать на учет в спецкомендатуре и расписаться в собственном бесправии. Только теперь в комендатурах вчерашним боевым солдатам и офицерам читали постановления ГКО о выселении их народов и указы Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Кабардино-Балкарской АССР и образовании на ее месте Кабардинской АССР.

Ловко у них тогда все получалось! А чтобы все было пристойно, сочинили, будто балкарцы в период оккупации изменили Родине, вели подрывную работу против частей Красной Армии, оказывали оккупантам помощь в качестве проводников на кавказских перевалах, а после изгнания немцев вступали в организованные нацистами банды для борьбы против Советской власти.

Все это ложь! Кроме десятка-двух дезертиров, в горах Балкарии никто не таился, как не было и «организованного сопротивления Советской власти». Этот документ сфабриковали Берия и его заплечных дел мастера Абакумов, Кубулов и прочие. А подписал Указ о ликвидации республики добрейший М. И. Калинин. Ведал ли «всероссийский староста», что ставит свою подпись под таким документом? Впрочем, и он, как теперь стало известно, мог подписать все что угодно, лишь бы его не трогали.

В сложном положении оказались правительства Казахстана и Киргизии, потому что постановления ГКО о переселении некоторых народов Кавказа были неожиданностью даже для ЦК партий этих республик. В 1943—1944 годах в Казахстан и Киргизию привезли около семисот тысяч обездоленных спецпереселенцев. Дома и утварь, одежда и громадное количество скота и птицы — все было брошено на их несчастной родине и стало легкой добычей мародеров. И пока шла война, положением спецпереселенцев власти почти не занимались. Все средства отправлялись на фронт. Но даже те жалкие крохи, что выделялись для обустройства спецпереселенцев, зачастую разворовывались и до них не доходили. Фонды муки и крупы выдавались с большим опозданием и расходились где-то на стороне. Да и жить спецпереселенцам было негде. Мутай Ульбашев и его Зара, например, жили в коровнике. «В дом нас не пустили, — рассказал мне Мутай Исмаилович, — да и негде было там ночевать. Всего одна комната, а в ней большая киргизская семья из двенадцати человек. Вот мы и спали с коровами. Утром проснешься, а под тобой мокро...»

В декабре 1945 года Совет Народных Комиссаров и ЦК КП(б) Казахстана и ЦК КП(б) Киргизии обратились к Молотову и Маленкову с просьбой выделить дополнительные строительные материалы для спецпереселенцев, аргументируя свою просьбу тем, что люди живут практически под открытым небом. В ответ — молчание. Отсутствие ответа — это тоже ответ. Товарищам из Алма-Аты и Фрунзе стало окончательно ясно, что участь переселенцев Москвой решена, и любое проявление добрых чувств к этим народам рассматривается там как недопустимая и даже преступная мягкость. Сочувствие равно соучастию — вот лозунг тех лет.

Одними из первых небалкарских слов, которые я слышал в детстве особенно часто, были слова «Берия» и «Сталин». Прием первое я запомнил быстрее, потому что чаще употреблялось и всегда сопровождалось ругательством на балкарском, а больше на русском языке. Помимо «Берия» и «Сталина», я знал русские слова «пахан», «урка», «блатной пацан» и другие подобные, считавшиеся нормальными и общими в тогдашней Кызыл-Кие. Интересный штрих. Я нередко замечал, что люди нерусской национальности спорят на своем языке, а кроют друг друга по-русски. Так ведь любое ругательство, сказанное не на своем языке, звучит не так оскорбительно. Ну, представьте, например, что в магазине что-то не поделили между собой русские грузчик и слесарь и кроют друг друга по-английски или по-японски.

Горцы ругательные слова употребляют крайне редко, но к «Берия» всегда что-нибудь припечатывали, не скупясь и не стесняясь. Отношение к Сталину не было столь однозначным. Пропаганда канонизировала здравствующего «хозяина» настолько убедительно, что даже среди спецпереселенцев, на своей шкуре испытывавших торжество национальной политики великого специалиста по национальным вопросам, бытовало мнение, что все несправедливости делались Берией втайне от вождя. Да что там говорить, когда даже моя мама, катавшая в свое время под землей вагонетки с углем, который на той же шахте рубили кайлами ее братья пятнадцатилетний Али и тринадцатилетний Кызыр, до сих пор верит в непогрешимость Иосифа Виссарионовича и обвиняет во всем случившемся с нами Берия и его слуг. А вот отец никогда не славословил «мудрейшего», и когда к нему пристают с вопросами о его отношении к Сталину, он, всегда добрый и мягкий, так резко и зло прерывает разговор, что я всякий раз удивляюсь.

С самого первого дня на чужбине спецпереселенцы не оставляли надежды на то, что справедливость восторжеству-

ет и им разрешат вернуться на родину. А теперь, когда война закончилась, в Москве, наконец, разберутся, кто чем в войну занимался...

В 1948 году в один момент эти иллюзии были развезены. Шверник подписал документ, гласящий, что чеченцы, карачаевцы, ингуши, балкарцы и другие «народы-изменники» высланы в отдаленные районы страны навечно и без права возврата к прежним местам жительства. За самовольный выезд из мест поселения — двадцать лет каторжных работ, а лица, способствующие побегу или укрытию выселенцев, подвергаются лишению свободы сроком на пять лет. И если до этого были у фронтовиков кое-какие полулегальные поблажки, то через три с половиной года после победы и им выпало как следует вкусить «сталинских свобод».

Офицер-фронтовик и орденосолец, балкарец А. Соттаев написал об этом, как он выразился, «беззаконии» в Кремль Сталину, получил за «антисоветскую деятельность» двадцать пять лет и освобожден только после двадцатого съезда. И это далеко не единственный случай расправы с теми спецпереселенцами, которые оказывались «слишком умными» и искали справедливости у «хозяина».

Каждый взрослый переселенец должен был ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре. Не пришел отметить — полгода в лагере, а выход за пределы очерченной зоны поселения расценивался как попытка к побегу. А куда убежишь, если повсюду шлагбаумы, комендатуры, посты внутренних войск, проверки документов и обыски?..

Во время выселения бывали случаи, когда члены одной семьи попадали в разные эшелоны, и потом один эшелон, в котором, например, были престарелые мать и отец, шел на северо-восток Казахстана, а другой, в котором были их дети и внуки, отправлялся на восток или юг Киргизии. А ведь это тоже пытка — и какая! — для горцев, которые так берегут родственные отношения. Но о воссоединении семей в первые годы высылки и речи быть не могло.

Спецкомендатуры вели надзор за спецпереселенцами. На каждые десять семей назначался старший, в обязанности которого входили слежка за своими и регулярный «отчет о проделанной работе» коменданту. За такую общественную деятельность «десятидневщикам» переплавали кое-какие послабления в режиме и преимущества при распределении и отоваривании продовольственных карточек. Для людей пожиже духом эта «должность» казалась весьма заманчивой. «Десятидневщики» часто менялись, и таким образом поставка стукачей для бериевского ведомства приняла поточный характер. И это, я считаю, является самым страшным преступлением против моего народа. Унижения, голод, тиф, смерть — все ничто в сравнении с испытанием на «вшиность».

И я с горечью не раз убеждался в том, что хоть Берия и проклят нами на все века, но это дело его рук живет среди балкарцев и по сей день.

Особое место в бериевском аду занимали коменданты спецкомендатур. Нередко ими были надзиратели, хорошо проявившие себя еще в довоенных гугаговских лагерях. Об одном из таких надсмотрщиков, младшем лейтенанте Юдине, до сих пор вспоминают недобрым словом балкарцы, попавшие под его иго в одном из районов Талды-Курганской области в Казахстане.

«Знаешь, Володя, — сказал мне двоюродный брат мамы Башир, — если ты напишешь о нем, то я на сто процентов поверю, что зла без возмездия не бывает».

И вот какую историю он мне поведал:

«Коменданта Юдина, гориллоподобного двухметрового верзилу с бесноватыми глазами маньяка-убийцы, недолго бивали даже свои, комендантские. Но за довоенные лагерные «заслуги» он был в почете у большого начальства. К тому же незадолго до своего комендантства он «погеройствовал» в чеченских аулах. «Вот уж я там настрелялся!» — поговаривал он. «Таких врагов, как вы, — сказал он нам в «приветственном» слове, — я в Сибири гноил тысячами. Зря вас оставили здесь, а не отправили дальше, на Колыму. Но ничего, вы у меня и здесь попляшете лезгинку».

Рабочий день Юдина начинался в пять утра. Он садился на коня и объезжал все кибитки, в которых ютились дистрофичные и полуживые от голода балкарские старики и старухи, женщины и дети. Замешкался кто-то с выходом на колхозные поля — он плеткой поперек спины, и марш вперед рысью. И попробуй ответь — забьет до полусмерти.

У себя в угольном сарае он устроил нечто вроде тюрьмы, где однажды запер и оставил на всю морозную декабрьскую ночь старую балкарку Айбиче за то, что она не вышла на

работу. Поздно ночью, когда все вернулись с полей, одна из балкарок зашла проведать больную женщину. В доме было пусто. Айбиче пропала — пронесся по поселку слух. Может, упала где-нибудь на грядках и умерла? Случалось ведь и такое. Все балкарцы вышли в поле и тщетно проискали ее всю ночь. И только на следующий день соседка Юдина, почталыонка Женья, шепнула нам, что Айбиче сидит в сарае коменданта. Оскорбление старости! И это терпеть! Мы все бросились во двор к Юдину, и, пока мужчины ломали дверь сарая-тюрьмы, несколько наших женщин вбежали к Юдину в дом и, не найдя там коменданта, избili его жену и дочь.

А несколько дней спустя, когда Юдин ночью проезжал верхом через мост, в воздух взвилась тонкая проволока, натянутая как раз на уровне шеи коменданта. Он упал. Тут же из темноты выскочили несколько человек и, не дав коменданту опомниться, ударили его чем-то тяжелым по голове и исчезли. Мстителей не нашли, хотя присхавшим из города следователям было ясно, что Юдина отделили подорожки-балкарцы. Закручивать гайки так, как это делал Юдин, трезво считали следователи, с горцами не следует. Всему есть предел — взбунтоваться могут даже женщины и дети. А один из следователей так и сказал, что мы народ мстительный и нас лучше давить законом, а не личной властью.

Комендант Юдин не внял здравым советам и, выйдя из больницы, с удвоенной силой продолжил свои бесчинства. Он арестовал четырнадцатилетнего сына Айбиче и всю ночь допрашивал его в комендатуре. Наутро помощники Юдина принесли мальчика домой, бросили на пол и ушли. Юдин отбил ему все внутренности, и говорить он не мог. Так и умер на третий день...

А прошел год, и комендант снова попал в больницу, и снова после того, как получил по голове тяжелым предметом. Живучая скотина, другой бы от такого удара на месте скончался. Правда, выйдя из больницы, он стал жаловаться на постоянные головные боли и умер скоропостижно в пятьдесят третьем году.

— А ты знаешь тех, кто отомстил Юдину? — спросил я Башира.

— Трудно сказать, кто именно это сделал, его все ненавидели. Кроме того, что он избивал людей до смерти, он и поборами занимался. Не вышел на работу в поле — откупился. Плату он сам не брал, этим занималась его жена. Она же брала все: деньги, вещи, драгоценности. От моей сестры и твоей тети Абы за один невыход на работу она потребовала связать и передать через почталыоншу Женю пять пар шерстяных носков. И так она поступала со всеми. А сколько старинных женских украшений из серебра и золота она выцгангала у балкарок! Надо поехать в соседний район, навестить родственников — неси ей что-нибудь ценное, лишь после этого получишь письменное разрешение коменданта на бесконвойный проезд.

А на работу мы бы ходили и без юдинских приказов и окриков. В Казахстане мы работали так, как привыкли это делать у себя дома. В нашем совхозе уже через год после приезда балкарцев появился первый Герой Социалистического Труда — звеньевая Люба Сальникова. В звене у Любы работали только балкарки, но об этом даже в районной газете не упомянули. А ведь все в районе знали, какая Люба была «работница» до нашего приезда».

«Как вы работали в шахте?» — спросил я отца.

«Зачем же лезть под землю, чтобы дурака валить. Работали так, чтобы заработать побольше. А вот почему немцы-военнопленные так сильно работали, до сих пор удивляюсь».

Разговорить отца — дело очень непростое. Нет, он не молчит и охотно вступает в беседу, рассказывает разные интересные истории друзьям, соседям, кому угодно, но только не мне. Дело в том, что отец, согласно балкарским законам, не должен быть чересчур словоохотлив с сыном. Слова — звуки, пустота, а сын должен сам думать и понимать, как поступать в том или ином случае, и все делать так, чтобы отцу потом не пришлось за него краснеть.

«Я много проработал вместе с немцами под землей, — вдруг разговорился отец, — очень они порядок любили и, когда вели проходку, то делали это чисто, а главное — очень надежно. И все они были такие высокие, крепкие...»

«Ты еще был на фронте, когда привезли первую партию военнопленных, — вступила в разговор мама, — их даже на полгода раньше нас привезли. Какие они все были слабые, когда я увидела их в первый раз, точь-в-точь, как мы. Идут они строем на шахту, без конвоя, да и не нужен был конвой — куда убежишь, кругом горы и пустыни. И вот идут

они строем, и если кто-то из них упадет от бессилия, то его в сторонку положат, а после смены забирают либо в барак, если жив, либо на кладбище».

Я немцев-военнопленных в Кызыл-Кие уже не застал, но хорошо помню «немецкие могилы»: аккуратные ряды многочисленных холмиков, кресты на них сорваны или сожжены, а сами могилки загажены — это местные пацаны внесли свою посильную лепту в дело попрания фашизма. Унылое и печальное зрелище.

«Много немцев тогда поумирало, — продолжает вспоминать мама. — Немцы ходили на работу сами, без конвоя».

«На войне я немцев видел сгоревшими, замерзшими, разорванными в клочья, пленными, — говорил отец. — Они били нас, мы били их. А в шахте пришлось узнать их поближе. Люди как люди, неплохие ребята, правда, был среди них один, Дитер его звали, заносчивый, вредный. Начальству зад лизал, а на нас смотрел свысока. Механик он был классный, любой аппарат мог починить за две минуты, и за это начальники его поставили мастером над всеми военнопленными и закрывали глаза на то, как он по-свински обращался со своими земляками-подчиненными. Один немец, забыл его имя, подошел как-то во время работы ко мне и говорит, что Дитер — подлого и фашист и что это из-за таких, как он, мы начали войну. А через несколько дней после этого Дитер попал под обвал и умер. Это немцы так сказали начальнику шахты, а я сам видел, как Дитер начал на них орать, как всегда, и они все разом вдруг набросились на него и стали бить, а когда отошли в сторону, Дитер уже не встал. Да, хорошо немцы работали, но самый шик они показали нам в последний день своей работы в шахте. В этот день они, все до единого, выполнили норму на двести процентов, строем и с песней вышли из шахты и сбросили в одну большую кучу свои кирки, лопаты, шахтерские каски... И на следующее утро их увезли домой...»

— В каком году это было?

— Не помню, кажется, в пятьдесят первом».

Немцы ехали в Фатерлянд. Они пришли захватчиками, хотели поработить и даже уничтожить советский народ, но крепко получили за это, и те, кто остался жив, отработали на наших просторах свои грехи и были отпущены в добром здравии. Немцев-военнопленных охранял международный закон. Немцев-спецпереселенцев и спецпереселенцев других национальностей охранял НКВД, и пока был жив Сталин, а тогда мало кто верил в то, что он тоже смертен, ни о какой реабилитации, а тем более о возвращении на родину нечего было и думать. Они хорошо работали, и, несмотря на официальные «зажимы» и дискриминацию, около шести тысяч спецпереселенцев были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

От голода к концу сороковых годов они уже не умирали, но почти половина детей-спецпереселенцев не ходила в школу. Причин тому много. Незнание русского, киргизского или казахского языков, на которых велось обучение в Киргизии и Казахстане, нездоровое отношение к ним в школах, а самое главное — не в чем было ходить. Даже просто выйти на улицу было не в чем. У одного своего родственника я видел любительские фотографии балкарских детей в лохмотьях, которые он сделал в 1947 году. И целое поколение балкарцев, да, наверное, и других спецпереселенцев, так и осталось неграмотным.

В пятьдесят третьем году случилось невероятное — умер Сталин. Спецпереселенцы ждали: что будет дальше? Год ждали, другой, третий...

«Черт их разберет, этих начальников, — помню, сказал мой отец, возвратившись как-то после смены домой. — Сегодня нам доклад Хрущева читали, там он про Сталина такое наговорил, что мы от удивления не знали, что и делать. Вот и пойми их. Сначала сами кричали: «Слава Сталину», потом и нас приучили так кричать, на фронте с трехлинейкой без патронов на немецкие танки посылали и тоже — «За Сталина». Воевали мы, как все, а нас сюда выслали, и теперь оказывается, что и мы не виноваты, и они в Москве ни в чем не виноваты... А что Сталина сделал Сталиным?»

В один из дней лета пятьдесят шестого мы, пацаны, шли в городской парк, чтобы искупаться в озере, и по дороге увидели толпу мужчин около пивного ларька. Это были балкарцы и чеченцы из наших поселков. Они живописно сидели на пивных бочках с пивными кружками в руках, а оратором был чеченец Ваха, суперабрек и вольный человек, хоть и работал, как все, в шахте.

«Что это такое! — кричал Ваха. — Я ему сказал, что ничего подписывать не буду. Нас уже двенадцать лет рабами

пытаются сделать, больше терпеть нельзя. Клянусь аллахом, им надо показать, что мы мужчины. Если они меня и всех нас добром не отпустят, то я клянусь этим хлебом, — и он взял лежащий перед ним ломоть узбекской лепешки, — что лично застрелю начальника милиции и всех тех, кто помешает мне сделать это!»

Вечером отец рассказал маме, что на шахту приезжал начальник милиции, собрал всех спецпереселенцев с Северного Кавказа и зачитал бумагу о том, что спецпереселенцы с Северного Кавказа снимаются с учета в комендатурах, но им надо дать подписку о невыезде на родину.

«А мы отказались подписываться, — сказал отец. — Зачем нам бумага, которая ничего фактически не меняет».

И вот осенью пятьдесят шестого нам, наконец, было официально объявлено, что можем возвращаться на родину. Я и предположить не мог, что у нас в поселке хранится так много ружей. Горцев, наверное, не переделать, оружие будут держать всегда, как бы строго ни преследовались за это. Палили в небо залпами.

Первый эшелон с балкарцами отбыл из Кызыл-Кии весной 1957 года. И первыми пассажирами стали моя бабушка и мамыны братья и сестры. Их везли бесплатно, как и тринадцать лет назад, но на этот раз с комфортом. Для двух семей со всем нажитым за эти годы имуществом выделялся целый вагон. Можно было везти с собой и скот, для которого тоже были выделены отдельные вагоны.

«Мы назад возвращались очень весело, — рассказала мне Рая, младшая сестра мамы. — Эшелон ехал быстро, настроение у всех радостное, во время стоянок танцуем, поем, на паровозе и на вагонах красные флаги развеваются, лозунги висят... Хоть в кино снимай!»

Приезжаем в наше село Гунделен и идем к своему дому, из которого нас выселяли тринадцать лет назад. А твоя бабушка смотрит на все вокруг и плачет. Такого разорения, говорит, даже немцы при отступлении не сделали. Заборы сломаны, деревянные части домов разрушены, двери сорваны...

— Там никто не жил все это время?

— В том-то и дело, что жили. Подошли мы к своему дому, а у порога сидит новый хозяин. Идите сюда, кричит, вот это мой дом, я его продаю. И начинает расхваливать, какой это прекрасный и прочный дом. Смотрите, говорит, какие балки толстые, да и крыша хорошая, без дырок. Знаем мы этот дом, отвечает ему Батта, вот эти балки и все остальное мы своими руками строили, а ты что в этом доме делал, как он тебе достался? Он мне по закону достался, отвечает тот нахально. А сейчас я его продаю за пятнадцать тысяч. Берете — дом ваш, нет — проходите дальше. Дали мы ему пятнадцать тысяч, это еще по-старому, он тут же уехал. Дом-то, оказывается, был уже пустой. Они перед нашим приездом вывезли свои вещи и ждали нас в пустых домах, чтобы нам, истинным владельцам, продать их».

Почти все балкарские поселки, расположенные, как и Гунделен, в предгорьях Балкарии, были заселены. Верхние аулы, в которых и проживала основная масса балкарцев, так и стояли все эти годы разрушенными, разграбленными, забытыми... Жить там никто не стал. И не станет, потому что прижиться там может только тот, кто в течение многих веков обживал эти места и был в ладу с окружающей природой.

Арабский мудрец сказал, что когда у человека много домов — у него нет дома. С домами у меня, как и у всех детей бывших спецпереселенцев, рожденных с 1944 по 1957 год на просторах нашей необъятной страны, и в самом деле получается некоторый перебор. Что мы можем считать своей родиной? Я хотел бы иметь маленький уголок страны, к которому был бы привязан всем своим существом и который был бы для меня единственным и самым дорогим, и чтобы я чит и любил эту землю, как свою мать.

Мои родители не сразу оставили Кызыл-Кию — не смогли поехать домой «за государственный счет» вместе со всеми балкарцами. И на Кавказ я попал только три года спустя. Меня взяла туда моя бабушка, которая каждый год приезжала в Кызыл-Кию, чтобы побывать на могиле деда. После одного из таких приездов я вымолил у родителей разрешение поехать вместе с ней и потом так и остался жить с бабушкой — даже после того, как приехали и поселились в Балкарии и мои мама, папа и брат.

Я с любовью и печалью вспоминаю пыльные и выжженные холмы и горы Кызыл-Кии. Что и говорить, частичка моего сердца навсегда осталась там, где я родился и где прошло мое детство и детство моего брата, там, где осталась

в сиротстве могила моего деда и могилы многих других моих родственников и людей моей крови.

**Я стар и мне не вернуться,
А вы вернетесь, верьте мне.
Берегите веру и душу,
Чтобы было с чем возвращаться и для чего возвращаться.
Не таите злобу,
Нет в ней смысла.
Оставляю вам завещание:
Спасение — в единении и надежде.**

Это мой робкий подстрочный перевод одного из последних стихотворений великого балкарца Кязима Мечиева. «Кязим — мой великий учитель!» — говорил о нем Кайсын Кулиев. Кязим Мечиев, совесть и душа балкарского народа, воистину народный поэт, поэзию которого любят и знают все балкарцы и чей стотридцатилетний юбилей мы будем отмечать в этом году, умер в 1945 году от голода вдаль от своего очага, в Безенги, а его могила затерялась где-то там, в казахских степях под Талды-Курганом.

Осознание моей Родины у меня складывалось наподобие мозаичной картины — из разных кусочков и не вдруг. Поэзия Кязима Мечиева и рассказы стариков на сенокосе, старые песни народа и строгая одежда, без контрастных цветов и «финтифлюшек» у женщин. А вот еще один из фрагментов: прошел дождь, сквозь облака пробиваются острозубые заснеженные вершины гор, пахнет травой, старик Махмуд, тихо напевая суру из корана, гонит своих овец куда-то вверх по склону...

Моя Родина — и это я ощущаю каждой клеточкой своего тела — синие горы Балкарии. Они прекрасны! И там, среди заснеженных пиков и голубых ледников, в долинах, где рождаются реки Черек, Безенги, Чегем и Баксан, жил и живет теперь мой народ. «О, аллах! — услышал я как-то тихую молитву моей бабушки, — не допусти с нами больше того, что мы уже однажды пережили. Мы все в твоей воле, и лучше убей нас всех своим гневом за наши грехи, но только не лирай нас земли предков».

Меня всегда мучил и мучает вопрос: за что? За что с нами так поступили? За что хотели сжить со света наш народ, которого не хватило бы даже на то, чтобы заполнить трибуны довоенного стадиона «Динамо»?

Всесоюзная перепись, которая проводилась в 1959 году, выявила, что балкарцев всего тридцать четыре тысячи. Сколько нас было до выселения, сказать трудно. По необработанным данным переписи 1939 года, балкарцев насчитывалось больше сорока тысяч, но некоторые исследователи считают, что цифра эта сильно занижена. Но как бы там ни было, есть факт совершенно неоспоримый. Нет ни одной балкарской семьи, которая не потеряла бы за эти тридцать лет одного, а то и нескольких человек, и эти невосполнимые потери целиком лежат на кровавом счету тех, кто проводил политику геноцида.

Балкарцы — крепкий народ, и, несмотря на наши «перемещения», в процентном исчислении у нас пока не меньше долгожителей, чем у других известных в этом отношении народов.

Я не случайно сказал «пока». Вот какую страшную закономерность я обнаружил: у нас сейчас умирают одновременно люди двух поколений. Умирают те, кому в годы выселки было 35—50 лет, и умирают их дети, которым в те годы было пятнадцать и больше лет. А это говорит о том, что уже в самом ближайшем будущем у балкарцев не будет долгожителей. Наши матери больны. Их здоровье было подорвано голодом, каторжным трудом и чужим климатом. На севере и востоке Казахстана их выгоняли работать в сорокаградусный мороз, а те, кто попал на юг Киргизии, на всю жизнь опалились нещадным сорокаградусным зноем. А кого могли родить замученные женщины? От худого семени нет хорошего племени — так, кажется, говорится.

Балкарцы — потомственные животноводы. И никакая другая деятельность при всем трудолюбии балкарцев не дает такого эффекта, как животноводство. Об этом хорошо помнят хозяйственники Казахстана и Киргизии, об этом прекрасно знают и в родной республике. Но животноводства как отрасли у балкарцев сейчас практически нет из-за нехватки горных пастбищ.

Когда балкарцев вернули домой, то руководство республики предложило поселиться многим из них на равнинах. Но из этого ничего не вышло. Балкарцы поехали жить среди своих камней, где и живут по сей день. Но там сейчас, утверждает

знающий человек, бывший заместитель Председателя Совета Министров КБАССР, доктор исторических наук Х. И. Хутуев, практически нет ни одного крепкого и даже рентабельного хозяйства, и подавляющее большинство колхозов должно государству столько, что если они продадут все колхозное и личное имущество, то и тогда не смогут расплатиться.

Накануне войны в колхозе села Гунделен балкарцы держали сорок две тысячи овец. Когда колхоз восстановили в 1957 году, государство выделило 12 тысяч овец. Сейчас осталось не более 7 тысяч, но и это стадо нечем кормить. А этот колхоз, между прочим, считается одним из лучших балкарских хозяйств.

Отсутствие традиционной занятости приводит к социальной деградации. Мужчинам некуда приложить силы, ведь в большинстве сел даже работы толком не найти. Пьянство, молодежь кое-где покуривает анашу. Эту привычку балкарцы приобрели на востоке, и хотя наркомания, слава аллаху, и не стала массовым явлением среди балкарских юношей, нас так мало, что и сотни парней, курящих эту треклятую травку, достаточно, чтобы нанести еще один удар по нашему генетическому коду.

Наши женщины, вечные труженицы, день и ночь работают для того, чтобы в доме было достаток. И он есть, и немалый. А чтобы понять, откуда он приходит, войдите в любой балкарский дом, и вы увидите, что женщины там вяжут и прядут, прядут и вяжут... Весь Союз снабжают шерстяными свитерами, шапочками, носками, шарфами.

Раньше, когда все было нормально и балкарцев никто не трогал, доход семьи зависел от того, сколько она выращивала овец, коров и другой живности. А основную и самую трудоемкую работу по выращиванию скота выполняли мужчины. Вязание было побочным делом, хотя бурки, сделанные руками балкаров, считались лучшими на Кавказе, и говорят, что в них и цари по Европам щеголяли. Мужчина, по традиции, — все еще глава дома, но он лишен возможности заниматься делом, которым в течение веков занимались все его предки. Нарушается образ жизни, древние обычаи и традиции трудового воспитания молодежи постепенно забываются, и многие балкарцы говорят уже на каком-то жутком замесе балкарского и русского языков. Умирают традиции, умирает культура, а значит, умирает народ.

Тиран сгинул тридцать шесть лет назад. А исчезла ли вместе с ним среда, которая вскормила и посадила это чудовище нам на шею? По-моему, нет. Вспомните недавнее, задыхающееся от раболепия обращение «и лично...». А вы давить из себя по капле, сами знаете кого, мы только только начали.

Сейчас много говорят о том, каким быть памятнику жертвам сталинщины. Так вот, на привокзальной площади города Нальчика обязательно надо поставить памятник, на котором перечислить имена всех тех, кто приложил руку к трагедии балкарского народа.

УБИВАЮЩИЙ МИФ...

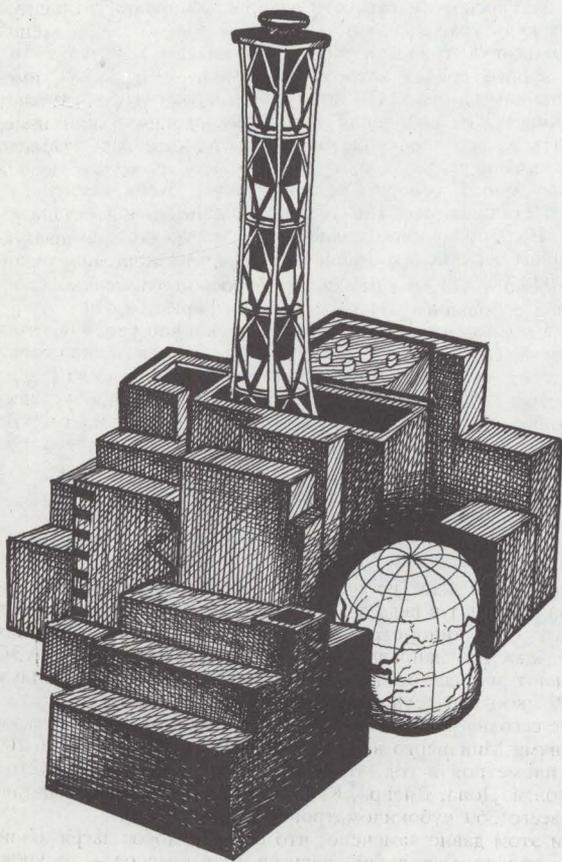


Рисунок И. Шиповской.

«— Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот-с!

— Ну, равно и дураком».

(Ф. М. Достоевский. «Бесы».)

Создание общественного стереотипа — дело тонкое. И многотрудное. Поди-ка заставь учреждения, ведомства, науку, журналистику — всех вместе ладно и с задором задуть в одну дуду. Большой интерес нужен такому организатору. И энергия кипучая.

А вот разрушение стереотипа — дело рискованное. И более тяжкое во много крат. Создавали-то его сообща, а на бой с ним во чисто поле выходят подчас одиночки.

Богата наша недавняя история скороспелыми стереотипами. И едва ли не самый живучий и опасный из них — о безвредности и экономичности атомной энергетики.

Сегодня в наше «чисто поле» — рубрику «Наука за... и против человека» выходит социолог и юрист Борис КУРКИН.

— А может ли вообще атом быть «мирным»? — задаем мы ему вопрос и получаем первый отрицательный ответ.

Но для начала определимся: на кого же поднял голос безвестный до недавнего времени кандидат юридических наук? В оппонентах у него без малого 20 министерств и ведомств и 100 организаций, так или иначе причастных к созданию и развитию атомной энергетики в нашей стране. Ничего себе противник, не правда ли? Надежда в столь неравной борьбе может быть только в одном — в правде и только правде, полной и гласной.

Сам факт выступления Б. Куркина в печати многое говорит о нашем сегодняшнем времени. Выпускник МГИМО, специалист по международному праву — и вдруг вторгается в святая святых, куда и профессионалы данной области допускаются по проверенному-перепроверенному немногочисленному списку, скрепленному своеобразной «омертвой» — обетом молчания.

«Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части... а всего целого или что внутри нам не объяснили», — писал в «Котловане» А. Платонов. Прозрение — воссоздание целостной картины явления — доступно лишь людям, обладающим культурой мышления. И, конечно, информацией. Не потому ли с таким упоением плодили в последние десятилетия асы застоя всевозможные «секретно», «ДСП», «НДП» и т. д.? Может быть, в надежде, что из ведомственных белых пятен у нас в мозгу появится одно большое белое пятно.

Эффективнейший инструмент вскрытия зон молчания — непредвзятость. Пожалуй, наиболее объективные публикации после 1985 года были подготовлены людьми, как говорится, «со стороны». Писатели вдруг стали экономистами и социологами, директора заводов — публицистами, журналисты — историками. Охранители белых пятен сбились в разномастную каре и оцетинились своим основным, хоть и ветхим, но проверенным оружием — обвинением в некомпетентности.

Но по полноте. Для нас, прозревших, основа компетентности теперь в едином и главном — в правде и здравом смысле. В том самом, который долгие десятилетия был несомненным с ведомственными, кастовыми, монопольными интересами «компетентных» учреждений и органов.

Так что поговорим на таком компетентном уровне.

КОРР. Борис Александрович, давайте дадим некоторую фору вашим оппонентам — оставим в стороне самый катастрофический аспект деятельности атомной энергетики: никак в общем-то не отрицаемую возможность повторения черновильской аварии. Предположим нереальное: все действующие АЭС вдруг стали сверхнадежными и, как было в свое время обещано «отцом» рванувшего на Припяти реактора РБМК академиком А. П. Александровым, их можно устанавливать даже на Красной площади. Насколько «экологически чистой» оказывается «нормальная» работа АЭС, дающих, кстати, всего-то 10 процентов вырабатываемой в стране электроэнергии?

Б. КУРКИН. А вы судите сами. Начнем с того, что энергетика, пожалуй, в большей степени, чем другие технические отрасли народного хозяйства, связана с использованием природных факторов (земельные территории, природная вода, атмосфера).

Однако в сознании народа само слово «атом» ассоциируется прежде всего с радиацией. Из публикуемых у нас данных относительно радиационного воздействия АЭС на население можно сделать вывод, что АЭС практически безвредны для окружающей среды: нет потребности в кислороде, атмосфера не загрязняется дымовыми газами. Но при этом замалчивается так называемый «аккумулирующий» эффект радиоактивных выбросов этих станций, то есть попросту накопление в живых организмах радиоактивной «грязи». А ведь после Чернобыля у нас разве что дети не знают, что радиоактивная «грязь» способна накапливаться как в копилке: тут подышал зараженным воздухом, там съел пораженные овощи, где-то еще запил радиоактивной водичкой, и все это — одно к одному...

Не учитывается также эффект воздействия на окружающую среду целого ряда высокоактивных «долгоживущих» радиоактивных нуклидов.

А теперь прибавим к этому радиоактивные выбросы предприятий по добыче и обогащению ядерного топлива, во время его транспортировки к реакторам. Или расширим ваше предложение и условно примем за реальность полную безопасность нашего транспорта? Но ведь все знают, что и поезд у нас будто во времена «рельсовой войны» под откос идет, и самолеты падают, и суда тонут. Про дороги и не говорю. А ведь ядерное топливо нужно сначала донести до АЭС, а впоследствии и вывезти в могильники. Причем после обработки оно ничуть не становится менее радиоактивным.

КОРР. Какой-то блуждающий атом...

Б. К. И на каждом этапе этого блуждания можно ожидать катастрофы. Помните «черную шутку»: «Почему на поезде опасно ездить? — Да самолет может на него упасть!» Но речь-то идет о случайностях в обращении с радиоактивными веществами... До шуток ли здесь? Когда нет никаких гарантий от утечек и выбросов.

КОРР. Некоторое спокойствие у населения могло бы вызвать широкое промышленное изготовление и внедрение индивидуальных средств дозиметрии. Они широко распространены в мире, японцы без счетчиков шагу не сделают. В связи с этим потрясают факты, приведенные членом-корреспондентом АН УССР радиобиологом Д. М. Гродзинским в одном из своих выступлений. Мало того, что «компетентные» лица сразу после чернобыльской аварии опечатали в лаборатории радиобиологии ожившие счетчики, вместо того чтобы предоставить ученым возможность получить нужную для рекомендации населению информацию, но и поставили эти счетчики вне закона. Цитирую: «Человек должен знать, что он ест и пьет. У нас же не только нет индивидуальных средств дозиметрии, но и всякие попытки изготовить их пресекаются в уголовном порядке. Людей увольняют с работы, чтобы они не смели этого делать. Объяснение опять то же: «как бы чего не вышло», как бы не поднялась паника. А то, что от неинформированности распространяются нелепые слухи, то, что наносится ущерб здоровью людей, кажется, никого не волнует». Как всегда, к сожалению, решили, что проще засекретить информацию о радиационной обстановке в различных районах страны, чем решать проблему.

Б. К. Да, распространение индивидуальных счетчиков необходимо. И немедленное. Несмотря на засекреченность «благ» отечественной атомной энергетики, кое-что все-таки просачивается, и люди должны быть готовы к столкновению с реальностью. Вот последний пример — статья Т. Бараева в газете «Вечерняя Казань» от 6.08.88 года «Когда исчерпан кредит доверия». В ней говорится, что в придонных отложениях водоемов и в подземных водоносных пластах вокруг Белоярской АЭС концентрация радионуклидов превышает норму в десятки раз. Исследования, и тут, к сожалению, не наши, а американские, разъясняют нам эти цифры. Так, например, при незначительном повышении радиоактивности воды концентрация радиоактивных изотопов в организмах рыб и птиц, питающихся планктоном, в 15—40 тысяч раз превышает их концентрацию в воде, а концентрация радиоактивных элементов в желтке яиц водоплавающих птиц — более чем в миллион раз.

В АН Украины мне сообщили, что кризисная ситуация сложилась в Киеве. После Чернобыля в отдельные дни радиационный фон в воде в районе столицы Украины увеличился в сто раз. И как, вы думаете, его понизили? Очень просто. Минводхоз, Госкомгидромет и другие «компетентные» органы повысили установленные нормы и, опираясь на них, заявили, что «все в норме». Так что скорее всего и эта

всплывшая в печати ситуация на Урале тоже может быть представлена нормальной.

Обнародована наконец еще цифра: пруд-охладитель Татарской АЭС имеет площадь 25 километров в квадрате. Попробуем разобраться с этой цифрой. Потребности в рассеивании сбросного тепла у АЭС в полтора раза выше, чем у ТЭС, о чем стыдливо умалчивают сторонники атомной энергетики, утверждая, что реакторы экологичнее котлов. Но ведь известно, что АЭС выбрасывает в атмосферу на 60 процентов больше тепла, чем аналогичные по мощности ТЭС. Так вот, по существующим расчетам пруд-охладитель для типовой 4-блочной АЭС мощностью 4 млн. кВт должен иметь площадь 60 квадратных километров! В Татарии же на АЭС, мощность которой планируется довести до 6 блоков, акватория всего 25 квадратных километров. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что через 3—5 лет этот водоем превратится в мертвую, зловонную лужу. А ведь АЭС расположена всего в 3 километрах от реки Камы, в распадке трех рек, что вопиюще противоречит всем нормам размещения таких станций. Кроме того, 6 блоков АЭС в Татарии будут «выпивать» воды в 42 (!) раза больше, чем вся Казань. Ведутся разговоры о необходимости установить водяные счетчики в каждой квартире. Ну а кто же заплатит за каждую реки испаренной воды?!

КОРР. 60 квадратных километров на охлаждение каждой станции — это огромная цифра. И проектные мощности таких охладителей требуют в случае отсутствия природного водоема создавать искусственные. Следовательно, неизбежно затопление новых земель со всеми вытекающими экологическими и экономическими последствиями.

Б. К. Разумеется. Создание любого нового крупного водоема непредсказуемо отражается на экологическом балансе данной местности, не говоря уже о таких болезнетворных. Но давайте посмотрим, что творит атомная энергетика с естественными озерами, на которые она успела наложить свою радиоактивную руку.

Печальна участь литовского озера Друкшай, «на котором стоит» Игналинская АЭС, и русского озера Удомля (Калининская АЭС). В них, стремительно и неуклонно превращающихся в зловонные болота, гибнет и деградирует ихтиофауна и аквафлора. При этом озеро Друкшай относится к числу ландшафтных ценностей максимального значения в республике.

Аналогичная ситуация и вблизи Ленинградской АЭС имени В. И. Ленина, где за счет накопления радиоактивных элементов в ихтиофауне и аквафлоре начались резкие изменения: побережье Финского залива в районе АЭС заросло камышом, многократно возросло число больных особой кильки и корюшки.

Превращению озер в пруды-охладители неизбежно сопутствует так называемая эвтрофикация — увеличение продуктивности водной растительности в связи с изменением режима водоема, а также в результате сброса неочищенных сточных вод с большим содержанием фосфора и азота.

С ростом мощностей АЭС будет неуклонно увеличиваться и безвозвратные потери воды, требуемой для технологических нужд станции, прежде всего для охлаждения. Если подсчитать, каковы будут эти потери в СССР при условии доведения мощности наших АЭС до 200 миллионов кВт к 2000 году, то они составят примерно 6 кубокилометров в год. То есть то самое количество вод северных рек, которое намеревался перебросить Минводхоз.

Выходит, хотели перебросить часть стоков рек, чтобы испарить их затем в другом месте! Да такое немисливо было и в городе Глупове!

Испаренная вода (по экологическим данным) на 90 процентов выпадает в виде атмосферных осадков. За пределами радиуса 1000 километров от места испарения. Учитывая преобладающее направление ветров, испарения наших АЭС выпадают в виде осадков в основном либо за пределами СССР, либо в переувлажненных регионах страны.

Уже сегодня валовое водопотребление атомными электростанциями Минэнерго в европейском регионе превысило 100 кубокилометров в год, тогда как суммарный годовой сток рек Волги, Дона, Днепра, Кубани и Западной Двины составляет всего 360 кубокилометров.

При этом давно замечено, что если тепловое загрязнение рек на уровне нескольких градусов и химическое — на уровнях, близких к предельно допустимым, раздельно еще переносится и рыбой, и микроорганизмами, то совместное их воздействие уже губительно. Итак, возникает вопрос, можно

ли после всего сказанного говорить о большей экологичности АЭС.

КОРР. Предвижу один из аргументов ваших критиков: «Перестаньте пугать народ. Существует пороговое значение дозы». Это та доза, за которой, как считают некоторые, излучение якобы уже не наносит ущерба живым организмам. Но существует ли на самом деле пороговая доза? Оказывается, по этому поводу нет единой точки зрения, но все же большинство радиобиологов в мире считают, что даже самое малое облучение таит в себе опасность. Обратимся к уже упоминавшемуся выступлению Д. М. Гродзинского: «При радиационном поражении организма человека и других живых существ мы имеем дело с уравнением со многими неизвестными. И было бы ошибочно полагать, что наука сможет заполнить эти неизвестные конкретными значениями через месяц или год». Вызывает тревогу просачивающаяся информация, что ведутся исследования все чаще проявляющихся мутаций человеческого организма. Приключенческо-фантастическое слово «мутант» шагнуло из развлекательных книг в нашу жизнь. Данные, приведенные Д. М. Гродзинским, и угнетают, и вызывают возмущение. По существу, человечество, освободившее джинна, оказалось бессильно перед ним. Позволительно ли разворачивать небывалые по масштабу программы атомной энергетики, когда наука не обладает еще и минимумом конкретных данных о возможных последствиях ее влияния на жизнь на Земле?

Б. К. Эту ситуацию можно воссоздать на уровне аллегории. Представьте себе переполненный автобус, водитель которого оказывается пьян до невменяемости. Пассажиры начинают кричать и требовать, чтобы он остановился. Но в это время «откуда-то» поступает команда, чтобы он гнал с максимальной скоростью. И разъяснение: «Так вы быстрее доедете и отлучаетесь». Пока биологическая наука еще только разбирается, чем атомные программы грозят человечеству, соответствующие ведомства вырывают из бюджета огромные дотации, форсируют строительство, нарушают нормы безопасности, в общем, гонят...

КОРР. Стоит задуматься и над таким нюансом. «Мирный» атом корнями своими уходит в «военный». Ведь первые огромные дотации на атомную энергетику были выделены многими странами в 50-х годах, когда они активно начали наращивать свои ядерные потенциалы. Но ведь после «холодной войны» наступил отрезвление. Какая же необходимость, усмирив «военный» атом, распускать «мирный»? Выходит, не бомбой, так реактором превратят человечество в заложника?

Б. К. Население европейской части СССР уже можно назвать заложником АЭС. Выбор площадки для их размещения, как известно, должен проводиться с учетом санитарных, метеорологических, сейсмических условий района. А для выбора надежной системы долговременного хранения жидких и твердых радиоактивных отходов особое внимание должно быть обращено на ветровой режим и вертикальную стратификацию атмосферы, устойчивость погоды, а также гидрогеологические условия.

При размещении Чернобыльской АЭС ни одно из этих условий соблюдено не было, как не соблюдаются они и при строительстве других советских АЭС. По моим данным, лишь Кольская и Воронежская АЭС расположены на геологических породах, соответствующих требованиям. А например, Крымскую и Армянскую АЭС умудрились разместить на тектонических разломах. Разве это не преступление? А то, что Ровенская АЭС, построенная на карстовых грунтах, начала проседать, давать трещины и на площадке появилось несколько десятков песчаных воронок, засасывавших даже бурильные агрегаты? Строят на известняке, на глине. Не мина ли это замедленного действия? **И кто за все это ответит?**

Следует иметь в виду и тот факт, что мощные АЭС расставлены в верховьях основных источников питьевых вод, то есть в наиболее уязвимых с экологической точки зрения местах.

В настоящее время практически все они строятся в европейской части к западу от линии Волга — Волго-Балтийский канал, там, где проживает около 60 процентов населения страны и где особенно высока его плотность. Здесь осуществляется основное производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, расположены наиболее продуктивные в сельскохозяйственном отношении земли, сосредоточены громадные историко-культурные, природные и ландшафтные ценности.

В пожарном порядке строятся новые ядерные погреба. Но ведь теперь чернобыльские ведомства уже не могут сослаться на то, что «не представляют себе последствий возможной аварии».

В связи со всем сказанным потрясает откровение вице-президента АМН Л. А. Ильина: «Если говорить о переносе АЭС в безлюдные места, — подчеркивает он, — то они просто-напросто будут экономически невыгодны». Сколь же велико должно быть человеколюбие т. Ильина как функционера и как гражданина, чтобы спокойно говорить такое! А может быть, жизнь и впрямь не есть предмет первой необходимости?

КОРР. Да, география нашей атомной энергетики потрясает. А ведь анализ горького опыта происходящего уже давно позволил выделить факторы, определяющие экологическую емкость того или иного региона, превышать которую — самоубийство.

Если для прежних (неядерных) промышленных масштабов экологическая емкость окружающей среды казалась практически неисчерпаемой, то развитие и размещение ядерно-энергетических объектов показало всю пагубность подобного заблуждения. В особенности в наиболее насыщенных экономических районах АЭС не только истощают природные ресурсы, необходимые другим отраслям народного хозяйства, но и нередко катализируют и без того отрицательное влияние многочисленных промышленных объектов. Вот один из примеров. Письмо в редакцию Гоцмановой З. А. из Острожского района Ровенской области, где действует уже называвшаяся — проваливающаяся — Ровенская АЭС: «После аварии на Чернобыльской АЭС вопрос о продолжении строительства таких станций должен быть вынесен на всенародное обсуждение, а не решаться в кабинетах. Почему нам навязывают эти страшные стройки? Во многих городах не хватает воды. Уже переведены на почасовое режимное водоснабжение даже больницы. Наши реки мелеют и пересыхают. Можем ли мы допускать ежегодное испарение воды в таких невероятных объемах?»

Б. К. Это очень серьезный аспект проблемы. Выхивание АЭС в промышленно перенасыщенные районы обнажает и совсем неожиданные их недостатки. Нельзя, например, ставить на близком расстоянии ТЭС и АЭС. Говорят, что сама по себе атомная станция не порождает эффекта кислотных дождей. Однако выбросы тепловых станций в атмосферу — газы, аэрозоли и т. д., соединяясь с паром, который выбрасывается из близко расположенной АЭС, порождают этот кислотно-дождевой эффект. Особенно пагубно это сказывается в Запорожье, где действует колоссальная ТЭС мощностью 3,6 млн кВт, а рядом обильно гонят в небо пар 4 блока Запорожской АЭС. Такую же картину вы увидите в Ростове, Волгодонске, а скоро, по-видимому, и в Костроме.

Таким образом, сохранение нынешнего принципа размещения АЭС грозит большой бедой в ближайшие годы.

Чернобыль убедил даже часть поборников ядерной энергетики в неприемлемости сохранения нынешнего принципа размещения АЭС. А Минэнерго по-прежнему направлено на «втискивание» их в традиционные районы, и без того имеющие чрезмерную технологическую нагрузку. Нынешнюю политику размещения АЭС оправдывают тем, что-де уже «некогда заниматься стратегией размещения, а нужно выполнять Энергетическую программу». Думать некогда — надо решать задачи. О, господи!..

КОРР. У наших людей не спрашивают согласия на размещение вблизи их жилья ядерных объектов...

Б. К. А надо бы! Не смешно ли: у нас действуют «Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР», согласно которым их «содержание... в квартирах, занятых несколькими семьями», допускается «лишь при наличии согласия всех проживающих».

Но для размещения ядерного блока в «квартире» согласие жильцов почему-то уже не требуется. Невольно приходят на ум слова М. Е. Салтыкова-Щедрина из «Фантастического отрезвления»: «Со стороны глядя можно было подумать, что невесть какие запасы «правов» напасены. А в действительности одно легкомыслие».

КОРР. У сторонников атомной энергетики есть еще один «неопровержимый» аргумент — экономичность. Может быть, и впрямь нам в обмен на экологические деформации предлагают «золотой век» дешевой электроэнергии?

Б. К. Обычно подчеркивается два момента: то, что для производства энергии аналогичными по мощности АЭС и ТЭС урана необходимо в 40 раз меньше, чем угля, и то, что эксплуатационные расходы на АЭС меньше, чем на ТЭС.

И то и другое верно. Но это лишь маленькая часть правды.

Но стоимость добычи природного урана, сама по себе немаленькая, составляет всего лишь 2 процента стоимости всего ядерного топливного цикла. Переработка и обогащение обходится уже в три с лишним раза дороже добычи. Изготовление тепловыделяющих элементов — почти в 10 раз. Но самая страшная цифра впереди. Дело в том, что ЯТЦ, в отличие от других тепловых циклов, по мере продвижения от начала к концу не дешевеет, а дорожает. Так вот, на переработку и захоронение отходов требуется уже почти в 40 раз больше средств, чем на добычу ядерного топлива.

Прибавим к этому, что проблема промышленного захоронения радиоактивных отходов **не решена нигде в мире**. Из-за астрономического периода полураспада некоторых радиоактивных компонентов отработавшего ядерного топлива его отходы должны храниться десятки тысяч лет, то есть вечно. Для его захоронения подходят лишь базальтовые, гнейсовые и гранитные пласты. Шахты должны быть глубиной несколько сот метров и при этом вентилируемые — для отвода агрессивных газов, выделяемых в результате продолжающихся в отходах реакций. То есть захоронения — это огромные подземные сверхсовременные предприятия. Или можно так: подземные минные поля. Во сколько и во что обойдется все это?

Пока же радиоактивные отходы помещают в контейнерах в бассейны. По правилам, они должны охлаждаться там 5 лет, а лежат и 10 и 15 — потому что пока их девать некуда.

КОРР. На сессии МАГАТЭ генеральный директор этой организации Х. Бликс заявил, что «существует общность взглядов на отсутствие срочности в захоронении высокоактивных отходов, которые можно хранить в течение долгого времени, достаточного для разработки и выбора безопасного варианта их изоляции...»

Б. К. Простите, но тут я не могу удержаться, чтоб не сказать лишь: пусть господин Бликс разместит все мировые атомные отходы под зданием МАГАТЭ. Сидеть на них ему придется долго, потому что «промышленное внедрение результатов разработок по захоронению радиоактивных отходов в большинстве стран капиталистического мира ожидается не ранее конца текущего — начала следующего столетия» (Бюллетень иностранной коммерческой информации № 44, 14.04.88). Причем США, например, планируют израсходовать на эту программу миллиарды долларов. Недешево.

КОРР. Борис Александрович, ну а стоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, все же дешевле, чем на ТЭС, или нам опять сказали неполную правду?

Б. К. Конечно, неполную. АЭС надо сначала построить. А их строительство обходится в 2—3 раза дороже, чем аналогичных по мощности ТЭС. Стоимость планируемых электростанций с реакторами-размножителями будет еще больше. АЭС строится более 10 лет. А «век» ее в соответствии с неизбывными «законами природы» короток: всего 25—30 лет. То есть до 30 процентов времени ее существования уходит на возведение. Потом и впрямь наступает период более дешевой, по сравнению с ТЭС, эксплуатации. А затем необходимо изъять радиоактивное топливо, а станцию **демонтировать и захоронить**. По подсчетам западных специалистов, затраты на демонтаж и строительство равны. О стоимости захоронения мы уже говорили.

Но и это еще не все.

Развитие ядерной энергетики требует создания резервных мощностей в виде ТЭС, ибо надежной работы АЭС их сторонники нам не гарантируют и посейчас.

Действительно, при отсутствии резервных мощностей выход из строя, пусть даже временный, хотя бы одного блока АЭС обрекает на энергетический голод огромное количество предприятий. Так что стоимость таких резервных ТЭС нужно также включать в атомную программу. В США такой резерв мощности составляет 30 процентов, в ФРГ — 50, во Франции — 65(!).

Кстати, о сроках и стоимости эксплуатации. Стало известно, что на Ленинградской АЭС имени В. И. Ленина, проработавшей всего 15 лет, то есть полсрока, произошла деформация циркониевых труб в активной зоне реактора. Блок будут останавливать и в течение 2—3 лет разгружать, очищать и перебирать реактор. И находится этот атомный гигант под боком многомиллионного города! А какие избыточные дозы получит при этом обслуживающий персонал? К какой статье расходов все это отнести? Может быть, все-таки к эксплуатации?

В случае же аварии, подобной чернобыльской, от которой мы, по признанию руководства ИАЭ имени И. В. Курчатова,

не застрахованы, АЭС моментально превращается из энергопроизводителя в ненасытного энергопоглотителя. Вот и задумаешься, то ли руководство ИАЭ этого не знает, то ли знает, но умалчивает.

КОРР. Итак, делаем вывод: АЭС — неэкологичны и неэкономичны, как нас уверяли все эти годы. Об их безопасности сказал уже Чернобыль и множество более мелких аварий и остановок реакторов. И тем не менее мы упорно продолжаем закладывать новые станции. В сущности, можно констатировать, что ядерно-энергетическое хозяйство нашей страны вышло из-под контроля государства и общества (правда, до недавнего времени наше общество было начисто лишено возможности контролировать «программы века»). Из этого становится ясно, что масштабы нынешней ядерной индустрии не дают возможности осуществлять реальный контроль за радиоактивными материалами. Не так ли?

Б. К. Именно так. И это не только наша беда. Достаточно вспомнить нашумевшую аферу между западногерманскими и бельгийскими фирмами, «спихивавшими» друг другу высокоактивные отходы, маскируя их как слаборадиоактивные. Кончилось это тем, что руководители фирмы «Транснуклеар» тайно подмешали к отходам со слабой радиоактивностью, направляемым в Бельгию, «всего-то» 100 граммов зараженного плутонием материала. Такого количества при соответствующей дозировке хватило бы, чтобы отправить в мир иной несколько миллионов человек. Так гуляет плутоний по европам...

Пожалуй, главная проблема ядерной энергетики — куда девать отходы? Пытались навязать их третьим странам. Почти везде отказ. Китай было предложил себя в качестве атомной помойки, но вовремя отказался. А теперь зададим «компетентным» лицам вопрос: куда девают свои радиоактивные отходы страны СЭВ?

В свое время академику Н. Н. Пономареву-Степному был задан вопрос: производил ли когда-либо СССР захоронения на своей территории радиоактивных отходов из других стран? Ответ был таков: «Со стороны ряда стран в адрес Советского Союза поступали обращения с просьбой принять на захоронение отходы, образующиеся в атомной энергетике. Сейчас пока конкретных соглашений на этот счет нет». Как видим, т. Пономарев-Степной так и не ответил, производились ли когда-нибудь на нашей территории захоронения РАО из других стран. Смущает слово «конкретных». Значит, бывают и «неконкретные» международные соглашения? Тогда мы сами зададим т. Пономареву-Степному вопрос поконкретнее: где производятся захоронения с атомных станций стран СЭВ, а также ФРГ и Финляндии? Если имеющаяся информация о том, что они производятся у нас, — неправильная, пусть скажут об этом открыто.

КОРР. А как же все-таки наша атомная энергетика уживается с гласностью?

Б. К. К сожалению, это нередкий случай, когда некоторые ведомства оказываются вне гласности. Механизм здесь старый, испытанный. Например, после Чернобыля были все-таки пересмотрены правила и нормативы размещения АЭС. Но ознакомиться с ними или сослаться на них мы не можем, ибо они предназначены «для служебного пользования». Спрашивается, почему эти сведения ДСП? От кого Минздрав, Минатомэнерго и прочие «компетентные» организации скрывают нормативы размещения АЭС? От нас с вами? А для чего? Уж не для того ли, чтобы легче было их нарушать, не привлекая к этому внимания общественности?

Вот и получается, что засекречивание сведений означает на деле сугубо ведомственный произвол, но такой, за «выявление» и за сопротивление которому граждан можно наказывать в уголовном порядке.

«Исходящую» информацию отмеривают на ювелирных весах. Причем ее объем о специфике ядерной энергетики или даже по чернобыльской трагедии, который почерпнут мной из интервью советских ответственных лиц (к примеру, бывший председатель Госкоматома СССР А. М. Петровский) **иностранним** корреспондентам, намного превосходит объем информации, данной ими своим **соотечественникам**. Привычная нам ложь и демагогия возможны лишь в условиях полной дезинформированности общества по обсуждаемому вопросу.

Стоящие за всем этим силы сплочены. Со своим жестким классовым интересом в развитии ядерно-энергетических мощностей любой ценой. В экспансии залог их безбедной жизни в настоящем и будущем, смысл их социально-политического бытия. Заинтересованы ли они в развитии альтернативных

экологических программ, в выявлении последствий Чернобыля и ознакомлении с ними широкой публики? То есть с негативными сторонами ядерной энергетики? Вопросы, конечно, риторические... Их не остановит и возможность собственного физического уничтожения вследствие развития и реализации их же научно-технических программ.

КОРР. И все же есть альтернативы будущего отечественной энергетики?

Б. К. Конечно. И весьма широкие, на мой взгляд. Во-первых, прогрессивные экономисты уже сделали примечательный вывод: нам не нужно электроэнергию больше, чем мы имеем сейчас. Вся штука в том, что наше производство стоит на одном из первых мест в мире по энергоемкости. То есть мы больше всех тратим энергии на единицу продукции. А теперь посмотрим, что мы производим? Больше всех в мире железа, которое никому не нужно из-за низкого качества. В 6 раз больше, чем в США, — тракторов, которые колхозы отказываются покупать. Мы способны завалить мир продукцией легкой промышленности, которую никто не будет носить, и т. д.

Во-вторых, особенно обувной, необходим срочный переход на энергосберегающие технологии. Благодаря им в Швеции, например, рост промышленного производства был достигнут при одновременном снижении энергопотребления на 20 процентов, в США энергоемкость производства снизилась на 33 процента, в Японии — на 78! Отчего же мы не можем? Ведь если все будет продолжаться по-старому, энергии нам никогда не будет хватать. И мы будем строить АЭС до полного изнеможения.

В-третьих, нужно заново строить малые ГЭС, которые практически не наносят вреда окружающей среде. Я не говорю уже о ветровых электростанциях. Потенциальная энергия ветра в нашей стране почти в 20 (!) раз превышает производство энергии в СССР за 1977 год. А солнечные станции?!

Правда, наши «чернобыльские» ведомства пугают: для внедрения энергосберегающих технологий, реализации новых разработок необходимы время, ресурсы и средства. Вопрос: но для того чтобы строить АЭС, разве не нужно все то же самое, только в больших масштабах? Понастроим сверхдорогих АЭС, а потом все равно придется переходить на энергосберегающие технологии — только найдутся ли тогда средства? А вот необходимость создания атомных могильников будет точно. Мы уже безнадежно отстаем в энергосбережении, а это ведь не просто экономия, это новые материалы, новые технологические процессы, новые решения. Кто и когда этим займется?

Нам говорят, ТЭС сжигают много природного газа и нефти. Но почему же никто не борется с тысячами факелов, в которых впустую сжигаются миллионы кубометров этого богатства? Ночью над Западной Сибирью страшно лететь на самолете — факелы, факелы. Выдвигают аргумент, что ТЭС засоряют атмосферу. Справедливо. Ну а как же с очистными сооружениями? Вспомним, что Минэнерго с 1972 года успешно саботирует решения ЦК КПСС и правительства о создании установок для улавливания двуокиси серы от дымовых газов. И все потому, что оно не заинтересовано в создании подобных установок. И ему гораздо выгоднее отчитаться по другим статьям. Например, по введению в строй все новых энергетических мощностей — ТЭС, ГЭС, АЭС.

КОРР. Изумляют в этой связи «Основные положения Энергетической программы СССР на длительную перспективу». Мало того, что неизвестно, когда и кем она разработана и кем принята, но что она нам сулит? Снижение удельной энергоемкости национального дохода менее чем на один процент в год при ежегодном расходовании на это 20—22 процентов капиталовложений в народное хозяйство! При этом предполагается, что мощности АЭС составят половину всех энергетических мощностей страны. Выходит, что окончательно затянем на своей шее атомную петлю, получив выгоду менее одного процента, безнадежно отстав от всего мира в деле развития энергосберегающих технологий. Поистине «радужная» перспектива.

Б. К. Думается, было бы действительно в духе перестройки, если бы наши атомные ведомства могли передать фонды, которые предназначены для расширения ядерно-энергетических программ, в «Фонд энергосбережения». Кстати, по расчетам нашего выдающегося специалиста в области энергетики академика Л. А. Мелентьева, «уже сегодня за счет энергосберегающих мероприятий можно было бы примерно

в 2 раза сократить производство первичных энергетических ресурсов».

Добавлю к сказанному, что я отнюдь не считаю себя пророком, а свои выводы абсолютными. Моя цель — привлечь внимание общественности к этой жизненно важной для нас всех проблеме.

И если специалисты найдут в моих выступлениях огрехи, я буду им только признателен. Но покуда возражений нет. (Политические обвинения против А. М. Адамовича, С. Н. Ушанова и меня, в которых нас представили врагами технической интеллигенции и перестройки, за подписями академика Н. Н. Пономарева-Степного и доктора физико-математических наук А. Ю. Гагаринского, опубликованные в № 9 «Нового мира» за 1988 год, явно не в счет.)

Хочу при этом сказать, что, не будь у нас такой бессмысленной и пагубной для общества и нации секретности в области ядерно-энергетического хозяйства (как, впрочем, и в некоторых других), многих вопиющих безобразий и преступлений удалось бы избежать.

В стране сложилась совершенно дикая ситуация, когда специалисты, профессионалы не имеют возможности высказаться против развития ядерно-энергетических программ или тех видов их реализации, которые навязываются им сверху. Они, душимые бессмысленными подписками, рискуют остаться без работы, а то и отправиться в «места не столь отдаленные» за разглашение известных всему миру, но только не советскому народу «секретов». Я знаю много таких специалистов.

Разумеется, государственные секреты есть и их нужно строго соблюдать, но в деле ядерной энергетики, равно как и в экологии, их нет и быть не может. В принципе.

О том, как тяжело специалисту выступить против сложившейся практики развития и разработки ядерно-энергетических программ в СССР, могу рассказать подробнее. При подготовке одной из своих статей я долго беседовал с одним академиком — специалистом в данной области. В заключение он взял с меня слово, что я никому не расскажу о нашей встрече (чтобы, как он выразился, «не ввязываться в скандал, который после выхода статьи разразится»). Если уж академик не хочет «ввязываться» и поддерживать позицию, которую он сам разделяет, то можно себе представить, каково же приходится специалистам, работающим в атомных ведомствах, прекрасно сознающим пагубность действующих ядерно-энергетических программ, но не имеющим возможности открыто выразить свое несогласие. И быть услышанными обществом и своим собственным «атомным» начальством.

КОРР. Благодарим вас, Борис Александрович, за столь отрезвляющую информацию. Надеюсь, что она послужит началом дискуссии, в которую включатся и те, кто несет прямую ответственность за развитие наших ядерно-энергетических программ.

*Беседа вели Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ*

Продолжая разговор

Я с интересом прочитал «Полемические заметки» В. Воздвиженского в № 11 «Юности» за 1988 год. Надеюсь, что это действительно «полемические заметки» автора, а не мнения редакции. При всем моем уважении к В. Воздвиженскому, к его обстоятельности, серьезному тону и справедливости многих положений, не могу не выразить своего недоумения по поводу того, что критик прибегает к грубой схеме, делит культуру на истинную и «врио», относит к последней, в сущности, всю русскую литературу советского периода от Маяковского и Фадеева до недавних дней. Отличительным признаком «врио-культуры» по мнению автора является классовая мораль и официальное признание творчества советских писателей.

Зачем бросаться из крайности в крайность? Раньше отлучали от литературы Замятина, Ахматову, Пастернака, теперь будем приносить Фадеева и Леонова? Да, наша культура до недавних пор была искусственно усечена, да, в середине тридцатых годов вышло 19 томов Демьяна Бедного, а Н. Гумилева нельзя было даже цитировать, да, конформизм и конъюнктура расцвели пышным цветом при Сталине и Брежнев. Но неужели автор думает, что «кончилося» время «Тихого Дона», «Разгрома», «Петра Первого», «Оптимистической трагедии», не говоря уже о многих поэтах и о литературах других народов нашей страны? Нельзя трагические страницы нашей культуры, упрощая, опять перекоррективать. Неужели «Жестокость» П. Нилина уступает рассказам М. Зощенко только потому, что первый был признан, а второй гоним? Или у П. Нилина другие нравственные критерии?

В. И. Баянов, Москва

Виктор КАМЯНОВ

ИСПЫТАНИЕ СОСЕДСТВОМ

Одному сановнику сталинско-ждановской закваски, куратору изящных искусств, молва приписывает роскошный афоризм: «Нам нужна такая история, какая нам нужна!» Обеспечим, значит, хозяйский надзор над всем объемом прошлого, дабы оно достойно стыковалось с настоящим!

Как выглядит, чем радуется мир историческая наука, все еще вынужденная тянуться во фронт, разговор особый. Сейчас нам больше всего интересна тональность хлесткого изречения, подаренного авторитетным лицом ближайшему, разумеется, окружению. Нахраписто-победительная, самодовольная и барствяная, она таит в себе угрозу любому иннакомыслию: «Кто там вздумал перечесть? Сомнем!» Конечно, циничную ухмылку («Без правдолюбков обойдемся!») на сановном лице не часто поймашь, но цинизмом кастовой неуязвимости веет от всей вальяжной повадки жрецов общественного застоя, от их манеры выкладывать бездельные руки на стол президиума, опираться на трибуну, листать бумажки с текстами заготовленных речей, выделять голосом мажорно-ритуальные фразы, осанисто пошучивать... Знакомые черты социальной маски, в которой играют и доигрывают свою роль патриархи застоя!

Однако за осенью патриархов грянули такие жестокие заморозки и в экономике, и в международных отношениях, и в сфере общественной морали, что единственным спасением от катастрофы оказалась весна гласности. И тут же вышла из повиновения гражданская история, заговорила языком документов, воспоминаний, статистических выкладок. И хотя многое еще томится по спецхранам, ее уже не укропишь: намолчалась!

А история литературы? Обобранному читателю возвращены Платонов, Булгаков, Гроссман, Замятин, Ходасевич, Гумилев, «Реквием» Ахматовой, «Доктор Живаго» Пастернака. Значит, теперь мирно выстраиваются на одной полке, кореш-

шок к корешку, книги этих авторов и творения трубадуров административно-командной системы? Для спокойствия тех, кто еще вчера слышать не хотел об издании «Реквиема» или романа Гроссмана?

Помню, примерно четверть века назад, когда появилась повесть С. Залыгина «На Иртыше», критик Игорь Золотульский дерзнул в устном выступлении заметить, что залыгинская вещь полемически заострена против «Поднятой целины». В саду краугольных камней соцреализма повесило дискуссионный пересмотр догматов. Тут же последовал начальственный окрик: «Не смей касаться неприкосновенного!»

Прошло время. И в переменившемся общественном климате середины 80-х мигом слиняла легенда о головокружительных успехах коллективизаторов 30-х годов. Книгами Б. Можаява, В. Белова, С. Антонова, платоновскими «Котлованом» и «Ювенильным морем», лавиной сопутствующих газетных, журнальных выступлений была восстановлена правда о раскрестьянивании крестьянства.

Между тем почетное место в истории литературы, как и прежде, принадлежит повествованиям о победной поступи коллективизации. Положение, согласимся, щекотливое. И уже на ряде гуманитарных форумов, собеседований или слетов оно рождало тревогу, нервное поерзывание в рядах собравшихся: как быть? Привычной всего не дать разгореться прениям. И вот уже из нескольких уст мы услышали предупредительную формулу: «Незачем, товарищи, сталкивать между собой литературу, некогда запрещенную, и ту, что прочно вошла в читательский обиход!»

Критику М. Синельникову зашло в сердце взволнованное выступление читательницы на конференции. Эта женщина не скрывает, что «находится в душевном разладе: как совместить то новое, поведенное «Котлованом», с давно привычным, близким — с той же «Поднятой целиной»? В самом деле, как совместить? Из статьи критика («Должны быть все-таки святыни...») — «Литературная газета» № 13, 1988) мы узнаем, каким образом он пробовал рассеять недоумения участницы беседы. Выслушав ее вопросы о «Поднятой целине», критик выдвинул свои, встречные: «Можно ли посчитать вдруг, что коллизии этого романа умозрительны, характеры ходульные?»

Позвольте, заметим мы от себя, тут какая-то подмена. Выход в свет «Котлована» не способен перевести сильно выписанные характеры Макара Нагульнова, Разметнова, Лушки, деда Шукаря в разряд ходульных, подорвать наше доверие к эпизодам пахоты, убоия скота или бабьего бунта, погасить великолепные шолоховские пейзажи.

Озадаченность способны вызвать не характеры или отдельные сцены, а система смысловых акцентов, мера ценностей, принятая художником за отправную.

Если для мировой и русской классики, для Платонова, Булгакова, Ахматовой, для самого Шолохова как автора «Тихого Дона» безусловны и непререкаемы выстраданные человечеством нравственные законы, то в «Поднятой целине» поверж этих законов свинцовой тяжестью легла директива о сплошной коллективизации. Художественная мысль заключила союз с директивой генсека. Отсюда и ключевая роль в романном действии фарисейской статьи Сталина «Головокружение от успехов», с выходом которой гремячинские дела круто пошли на поправку...

Открывая глаза усомнившейся собеседнице, а заодно и читателям «Литературной газеты», М. Синельников замечает, что автор «Поднятой целины» хорошо знал о беззакониях, чинимых перекройщиками судеб крестьянства, протестовал, доходя, «бывало, до отчаяния...», но тем не менее написал книгу, проникнутую «духом оптимистическим, социально стойким». Значит, даешь переделку протеста, даже отчаяния в обязательный мажор и социальный оптимизм! Но подобная переделка неизбежно ведет к убыли того «художественного полнокровия», которым и сегодня радуется М. Синельникова шолоховский роман о коллективизации.

А как же все-таки быть читательнице, чья вера в упомянутое «полнокровие» несколько пошатнулась? Утешаться заверениями критика, что мир, воссозданный в «Поднятой целине», не перестанет быть правдой и заряжать нас оптимизмом? Но не тем ли вызван ее душевный разлад, что как раз переизбыток «оптимистического духа» нашла она в трактовке и освещении грандиозной авантюры, осуществлявшейся по команде диктатора?

Сегодня в речах сторонников известной Нины Андреевой мелькает слово «противоречивый». Оно употребляется как замазка для устранения щелей между суровыми фактами и уклончивым к ним подходом. Всем знакомы многознач-

тельные фразы о головоломной противоречивости Сталина, хотя тут же обнаруживается, что одна чаша весов, где поместился перечень его злодеяний, полным-полна и стремительно опускается, а на другую положены совершенные невесомости, вроде преданности деспота возвышенным идеалам (кто и как способен ее удостоверить?).

М. Синельников ссылкой на «противоречивость» поры коллективизации пробует замазать ту горькую истину, что репрессивное государство под гром победных маршей сживало со света миллионы тех, кто его кормил. По М. Синельникову, щедро рассыпав правды о «противоречиях» той исторической полосы: Шолохов зачерпнул свою часть. Платонов — свою, и на долю Можаяева с Беловым немало осталось. Зачем же критикам ссорить писателей, которые дружно поднимают весь объем исторической правды?

Однако инстанции, надзиравшие за литературой, по каким-то признакам различали, что надо срочно печатать и увенчивать наградами, а что запрещать и клеймить. И стоит ли внушать читателю, будто Пегасы мирно паслись на разных участках правды?

М. Синельникова огорчает, что «общее, объединяющее отодвинуто куда-то на задворки, вперед же вышли, разрослись тенденции, работающие на разобщение».

Вы, читатель, вместе с той женщиной, чье душевное равновесие поколебал Платонов, пробуете уяснить, где правда, а вам внушают, что покой и сплоченность дороже, и, значит, ваше правдоискательство не вполне уместно.

Гасить страсти и выправлять перекосы следом за М. Синельниковым принимается постоянный автор «Нашего современника» доктор филологических наук Н. Федь, который отмечает у «иных авторов» недостаток «вдумчивого отношения к нашему недавнему прошлому». Например, в «Новом назначении» А. Бека, по Н. Федю, преобладает «пафос отрицания исторической реальности» (наверно, критик все же имел в виду отрицательное отношение А. Бека к режиму личной власти, потому что при «отрицании реальности» А. Беку нечего было бы описывать). А охватывая ситуацию шире, Н. Федь формулирует свои выводы так: «у некоторых писателей, историков, публицистов преобладает такой подход: что было плохо, то теперь хорошо, а что было хорошо, то теперь плохо» («О чем спор?», «Наш современник» № 6, 1988). Шарахаемся, значит, не перестройка у нас идет, а игра в перемену знаков на противоположные?

В самом деле, уж на что славные спектакли ставил прокурор Вышинский в конце 30-х, а теперь лестные ли о них и о нем толки? А что приключилось с громкими именами академика Лысенко или ценителя изящных искусств Жданова? Все, как и прежде, только наоборот. Но ведь по отношению к обману и фальсификации правда — всегда крайность. Удастся ли ее восстанавливать, связав себя запретом менять плюс на минус?

Н. Федю, однако, умеренность всего дороже. И уважение к преданиям недавних лет. Тут он с М. Синельниковым заодно. Только М. Синельников не умеет скрыть тревоги: «Что-то будет?!», осторожно осматривает провалы между недавними догматами и сегодняшним знанием или, допустим, попавшийся на пути котлован (не случилось бы осыпи!), находит, что у других мастеров прозы, например Г. Коновалова, П. Проскурина, котлованы получались лучше платоновского, и пробует подействовать на читателя мягкостью обращения. Н. Федь же ничем иным, как будто не смущен, держится любимцем публики, рассказывает байки про приятеля, с которым при встрече калякал «о том, о сем», многословно витийствует, отпуская тяжеловесные остроты по адресу «вольнодумца» Эльдара Рязанова или «эффективных» (?) критикесс, свысока трунит над сонмом нынешних «крамольников»: резвится, мол, пока мы хорошие!

Но непринужденность тут деланная. Памятный нам «железобетон» литературно-критических циркуляров сегодня размягчен, но всегда готов обрести былую твердость.

Слушая речи адвокатов той «исторической реальности», к которой нас возвращают книги А. Бека, Б. Можаяева, А. Рыбакова, различаешь движение «установочного» стиля через трудную для него полосу гласности. Кажется, бравого старшина-службист разучивает роль добряка гувернера, воздерживаясь от забористых выражений и команд.

Система скоординированных («проветрированных») и утвержденных мнений выдвинула своих жрецов, их голоса сегодня окрашены тревогой: система дала течь, приходится включать помпы. Интонацией, окраской слова обнаруживает себя деловой настрой сознания: какие еще там поиски истины? Тут беда — надо бороться с течью!

А стоит прибавить к навыкам практической мудрости атмосферу общественного возбуждения, накал романтических страстей (как в 20—30-е) да еще твердую хватку централизованной власти — получим в итоге мобилизационный режим для муз, которым надлежит сдружиться с идеей пользы.

Удивительно ли, что литература, признанная за образцовую и нужную, особенно близка сердцу критика, недовольно листающего страницы «Котлована» или «Детей Арбата»? С одобренной литературой ему нечего делить, ибо все у них общее — не одна лишь оценка текущего момента, а сам уклад, выучка и выправка сознания, предрасположенность ума к ясным конструкциям, дидактико-утвердительному, а не вопросительному строю мыслей.

Так он и креп десятилетиями, союз четко нацеленной литературы и целеуказующей критики, затвердевали каноны прикладной эстетики, которая выводила читателя на перекресток воспитательных воздействий и любовалась его ростом.

Между тем нормальному человеку свойственно оберегать неприкосновенность своего мира и уклоняться от воспитательных инъекций.

Когда искусство гоняется за вами со шприцем, дабы привить вам что-нибудь полезное, вы станете искать, где бы от него укрыться.

В идеале художник предлагает нам высший тип духовного общения: никакого наигрыша, никаких посторонних примесей, побочных практических соображений, никакой работы над нами, только совместно с нами, как с равными соискателями истины.

Оттого, вникая в вымыслы искусства, в сюжетные перипетии, мы очень бдительны к окраске речи повествователя: чист ли тон, не примешана ли к художественной мысли некая предумышленность? Нет ли насилия над нашим моральным чувством?

Припомним хрестоматийный сюжет из школьного курса. Гражданская война. Партизанам на пути их отхода попадается корейская хижина. Запасов провизии — никаких. Если не считать свиньи, на которую у корейца вся надежда: запасы сала позволяют ему с семьей продержаться длинную зиму. У отряда, однако, свои резоны, и свинья попала в партизанский котел. Правда жизни? Разумеется. Но для читателя романа А. Фадеева «Разгром», где описан случай с корейцем, не секрет, что именно отсюда следует. А следует недвусмысленный вывод: в разгоревшейся борьбе неизбежны жертвы, невинные — в том числе.

Такая неизбежность понятна простым бойцам с их здоровым классовым инстинктом, но абсолютно недоступна сознанию эгоцентрика и межуемка Мечика. Его ужасает жестокость товарищей, отнявших у корейца последнее. А через несколько страниц он просто места себе не находит, подслушав разговор о тяжело раненном партизане, которого решено отравить (дабы отряду двигаться дальше налегке). И моральное смятение этого слабоверного, мечущегося (в согласии со своим именем) Мечика еще больше его обеславит.

Из ситуаций, мучительных для человеческой совести, извлекается неопровержимая улика против персонажа, которому назначено идти путем позора к своему финальному предательству. А сами случаи «жертвоприношений во имя...» словно изымаются из числа проблематичных, спорных, становясь учебными (вот — единственное решение!), ибо автор романа мобилизован идеей классовой целесообразности — как верховной.

Допустим, скажут нам. Но ведь время-то было какое! А М. Синельников призывает: «Зависимость индивидуума от общества — того общества, что присягнуло самым благородным в истории человечества идеалам, — надо уважать». Значит, если кто из литераторов и заблуждался, то вместе с обществом: не так обидно! А с какой его частью — той, что по команде расправлялась с «кулаком» и «подкулачником», рукоплескала репрессиям, или той, что брела на работы под охраной лагерных овчарок?

«Мы дети своего времени», — напоминает М. Синельников, отводя упреки от литературы, которую Сталин признавал «нужной». А раз так — соблюдайте принципы историзма! Но сколько родов бывает историзм? Перечитываем сегодня страницы «Тихого Дона» о судьбе Мелеховых, любви Григория и Аксиньи — и ни намека на разномыслие с Шолоховым. Перечитываем его роман о коллективизации, и неизбежны те же вопросы, что были заданы М. Синельникову.

Автор «Разгрома» работал одновременно с Платоновым. Но в платоновских картинах «великого перелома» на селе авторские моральные акценты так же точны, как и в новей-

ших книгах Можаяева или Антонова о раскрестьянивании крестьянства. И никакой нужды ограждать «Котлован» цитатами с разъяснительными текстами: дескать, не будьте придирчивы, учтите зависимость автора от общества с его возвышенными идеалами. А вот тому же «Разгрому» сегодня непросто пробиться к сердцам без адвокатской поддержки критика, ссылок на общественный климат 20-х. Нужно подавлять в себе противодействие «анкетному синдрому» автора (когда надежность бойца напрямую выводится из его пролетарской родословной), «силовым приемам» развенчания Мечика и нажимам на твою, читательскую волю.

Ты, к примеру, не забыл предостережения Достоевского против разрушительного «арифметического счета», при котором совсем не зазорно погубить нескольких ради блага многих. А тебе предлагают такой расклад: сто пятьдесят партизанских жизней против одной, да и то чуть тлеющей — раненого Фролова. Как обойтись без вычитания?..

Тебе невмоготу подобная арифметика, подобное возведение чрезвычайного случая в эталон и проверочный тест (кто тут есть несогласный?). Значит, милуйся с хлюпиком по имени Мечик — таков тон авторской вразумляющей речи. Что ж, образ Мечика — из портретной галереи «интеллигентов-индивидуалистов», о которой уместно напомнил В. Воздвиженский в «Юности», № 11, 1988 г. (статья «Бедствие среднего вкуса»). «Убивать можно или нельзя»... — так названа статья Карена Степаняна, помещенная в одном из летних номеров «Московских новостей» (№ 30, 1988). Это развернутый ответ литературоведа на письмо, полученное редакцией от учительницы литературы из Оренбургской области. Автор письма делится своим затруднением: в девятом классе она приобретает воспитанников к нравственной философии Достоевского, а в десятом вынуждена как-то изворачиваться, прятать глаза, когда обсуждается эпизод из фадеевского «Разгрома» — тот самый, где выносятся приговор Фролову. Так что же посоветует ей критик?

Все самое лучшее, если судить по его заявлению, что сегодня нужна «вся правда, сколь бы сложной она ни была», эти воодушевляющие слова произнесены в первых же абзацах. Читаем дальше: «Фадеев, создавая «Разгром», не боялся правды. Уже в те далекие времена он понял и показал, что люди, берущие на себя груз революционных преобразований, зачастую жертвуют миром и гармонией в собственной душе...»

Значит, правды не боялся, понял и показал. Чем же в таком случае смущена учительница литературы? Жестокостью тех, кто «освободил» отряд от раненого? Но и у Достоевского студент Раскольников проливает невинную кровь. И там и здесь — жестокость; и там и здесь писатели не боялись правды. При аккуратном арбитраже критика все вышло очень гладко, и не пора ли закрывать тему? Нет, пока рано: не согласны Достоевский и Фадеев заключать между собой мир.

Полагаю, К. Степаняну не хуже нашего известно, что для автора «Разгрома» нравственность и классовая выгода — понятия тождественные, а Левинсон заведомо прав. Так стоило ли ради соблюдения приличий (по отношению к автору «Разгрома») вконец запутывать дело?

Да, молодой Фадеев был сыном грозного времени, притом времени, очень гордого своей небывалостью и не обремененного памятью о минувших тысячелетиях, как бы отпавшего от цепи времен (недаром в революционную пору перекраиваются календари). Писательскому сознанию опыт прошлого уже не указ и гуманистическая традиция словно бы не в счет.

Деятели молодой культуры 20—30-х как-то вдруг все на свете постигли, переросли, обогнали разумом великих гуманистов прошлого, причившись поглядывать на них свысока. Нравственность, сострадание, моральный запрет — от подобных категорий на тогдашнего романтика-нетерпеливца веяло затхлостью, клопным сундуком, церковным елеем.

У К. Тренева в «Любови Яровой», написанной в ту же пору, что и фадеевский «Разгром», между непримиримыми лагерями красных и белых мечется фигурка примирителя, которого ужасает душегубство. Поскольку в уста этого электротехника по фамилии Колосов вложены легко узнаваемые цитаты из Толстого и Достоевского, то для читателя не секрет, чей мудростью он пробует потчевать враждующие станы. Электротехнику только что не улюлюкают вслед — настолько уже не нелеп на таком большом пожаре в роли миротворца.

Для разгоряченных борьбой красных и белых потеха над нескладхой-гуманистом — какая ни есть, да разрядка.

И зрителю предложено очиститься смехом от заветов классического гуманизма, от устаревшей вроде бы мудрости двух писателей прошлого, чьи цитаты у Колосова на устах.

У времени рождаются непохожие дети. Одни могли бы сказать о себе словами Блока: «Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего». И, напротив, сила других укреплена неведением или забывчивостью (груз культурных традиций связал бы им руки).

Самые памятливые художники 20—50-х становились сыновьями своего времени. Зато оно отечески лелеяло тех, кто и знать не хотел сверх положенного, на лету подхватывал очередную девиз, слагал оды в честь Павла Морозова, клеймил «банды вредителей и двурушников».

Многие произведения, возникавшие на волне ударных компаний, интересные очерковой своей стороной, хранят жар неподдельной гражданственности, но, подобно плоскодонкам, не выдерживают ни боковой, ни встречной волны. Между тем, угодив своему времени, они удостоились флагманских отличий и должны горделиво бороздить моря, а в их паруса дружно дуют те критики, кому важно сохранить тишь да гладь в истории литературы, куда вернулись Платонов, Цветаева, Булгаков, Гроссман.

Конечно, книгам Платонова или Булгакова ничуть не обидно соседство, предположим, с «Вором» Л. Леонова, прозой Ю. Тынянова, М. Пришвина, К. Паустовского, чей путь к типографскому станку, по счастью, оказался не столь тернист. Но с литературой, сумевшей к себе расположить административную систему, им поладить трудно. С большинством сталинских лауреатов ни Булгакову, ни Платонову не сойтись в вопросе о человеке. Для лауреатов на раннее всего — исполнитель социальной роли (старательный или нерадивый), для Булгакова или Платонова — Вселенная.

При несходстве внутренних заданий та и другая литературы и по тону различны — так мы не путаем голоса домашней и вольной птицы. Литературе деловой, умеющей толково разъяснять директивные положения, всегда что-то от нас нужно. Она педагогична и свой материал не столько исследует, сколько подает, опасаясь при этом вопросов, способных «сорвать урок».

А Платонов или Булгаков настолько захвачены темой, что в нашу сторону вроде и не глядят, увлекая нас собственной увлеченностью. Им доверяешь, потому что они не ищут твоего доверия: слишком заняты.

Когда говорят Платонов, Булгаков, Гроссман, нет отвлекающего шумового фона — линия связи чиста. А к голосам писателей «нужных», облаканных инстанциями, всегда приешаны посторонние шорохи, потрескивания, словно к линии подключено прослушивающее устройство. Отсюда полный крах иллюзий, будто вы с художником остались наедине и разговор у вас — начистоту.

И как бы ни был искусен такой художник, его выдает голос, тон человека подотчетного, присягнувшего, которому доверено и других приводить к присяге.

Теперь, когда прочитаны «Котлован», «Чевенгур», «Жизнь и судьба», «Доктор Живаго», нам уже не скрыть от себя, насколько же утомительно стоять в позе допризывника перед официально одобренным искусством, лова в голосе романиста, драматурга, критика казенно-вразумляющие ноты и плохо спрятанную остроту: «Лишнего не спрашивай; что нами сделано, то свято, ибо так надо!»

Десятилетиями накапливалась в нас усталость от сверлящих слух, давящих на душу нот механического вразумления. Минули сроки, и возвращенные нам замечательные советские художники снимают груз этой застарелой усталости. Так стоит ли нам внушать, что и без них было восхитительно, а с ними и того лучше и что по возвращении они мирно, никого из лауреатов не задев, заняли отведенные им места? Нет, мира не получилось.

Выйдя из-под надзора казенных лиц, заспорили между собой, как в сказке Шукшина «До третьих петухов», литературные персонажи. При участии авторов, разумеется. О чем их спор? О том, прежде всего, что же есть искусство — пункт проката согласованных мнений или область, где происходит открытие и поэтическое пересоздание мира?

Большинство критиков сегодня, кажется, убедилось, как мало подходят закрытые заседания для открытия мира, а писательскую оглядность уже не спугает с художественной зоркостью: опыта все же прибавилось.

И соглашаясь, что все писатели — «дети своего времени», не станем насильно примирять покладистых «детей» со строптивыми. Пусть доспаривают.

**Бенедикт
САРНОВ**

НАД СХВАТКОЙ

*Полемические
заметки*

Обобщая и потому несколько упрощая, можно сказать, что если 87-й год был ознаменован резким противостоянием, поляризацией литературно-критических суждений, взглядов, позиций, то год минувший прошел скорее под знаком раздраженного недовольства этой поляризацией. Ярче всего это недовольство выплеснулось в пущенной кем-то неодобрительной формуле: «Стенка на стенку».

Ф. Кузнецов даже так и назвал одну из своих статей: «Стенка на стенку», или детская болезнь «левизны» в критике» («ЛГ», 18 мая 1988 г.).

В этой статье едва ли не самую опасную, на его взгляд, болезнь сегодняшней критики он определил как «верность приемам догматического упрощения, усекновения литературы, только с обратным знаком». Нынче в ходу, утверждал он, хорошо нам знакомая модель отношения к литературе, которая отработывалась десятилетиями в прежние времена. «Разница в одном: тогда подвергались усекновению одни имена, сейчас процесс вивисекции и усекновения применяется к другим».

Представьте себе, что кто-нибудь высказался в том же духе не о литературе, а о других явлениях нашей общественной жизни. Раньше, мол, шельмовались одни имена (Вавилов), а теперь — другие (Льсенко). Раньше злодеями объявляли одних деятелей (Бухарин, Рыков, Пятаков, Тухачевский), а теперь — других (Щелоков, Рашидов, Медунов, Чурбанов). Вот, дескать, и вся разница...

Нет, про Щелокова, Медунова, Чурбанова, даже про Льсенко так, пожалуй, никто не скажет. Не посмеет. А вот про литературных Медуновых и Чурбановых говорят. И даже не только так, как это делает Ф. Кузнецов, прибегая к разного рода обинякам и эвфемизмам, а вполне прямо и открыто.

Без малого сорок лет назад читал я — еще в журнале — роман Василия Гроссмана «За правое дело». И с тех пор мне запомнилось рассуждение одного из его героев (академика Чепыжина):

«— Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, мусор, дрянь всякая, все, что таилось и скрывалось, все это фашизм поднял на поверхность, все это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым...»

Сейчас, вспомнив этот монолог, я решил проверить себя, заглянул в роман и убедился, что с тех самых пор помню его почти дословно.

Это, конечно, не случайная прихоть памяти. Слова эти тогда так меня поразили и так крепко врезались мне в память, потому что я тоже видел, как плавает на поверхности жизни, упиваясь своим торжеством, всякая дрянь, мусор. Так было в жизни, так было и в литературе. Увенчаны и признаны были книги вроде «Кавалера Золотой Звезды»;

на сцене МХАТа шли пьесы вроде «Зеленой улицы» Сурова. Все разумное, доброе — хлеб жизни, как говорит Гроссман, — ушло на дно, затаилось, стало невидимым. Мысль, вычитанная мною в романе Гроссмана, внушала надежду, что когда-нибудь это «положение частей» и в нашей «жизненной квашне» изменится.

И вот оно изменилось.

Применительно к литературе это означает, что вышли из своего «подполья» и заняли в сознании читателя подобающее им место едва ли не все подлинные художественные ценности нашего века: Платонов, Зощенко, Булгаков, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Замятин, Мандельштам, Заболоцкий... Всех даже и не вспомнить.

Но «мусор» и «дрянь всякая» не спешат опускаться на дно жизни. Все те, кто плавал на поверхности зловонного, застойного болота, продолжают тщеславиться своими высокими наградами, званиями, орденами и лауреатскими медалями. Интерес к воскресшим, восставшим из пепла гениям и мученикам нашей литературы презрительно именуют «некрофильством». Мало того! Имеют наглость публично заявлять, что не кто другой, а именно они своими книгами «готовили перестройку».

Открывая очередную статью Анатолия Ланщикова или Станислава Куняева, Вадима Кожина или Татьяны Глушковой, почти всегда заранее знаешь, что там будет написано. Кого — и какими методами! — критик будет стирать в порошок, кого возводить на пьедестал.

Ну, критику, собственно, так и полагается. Критик не то что имеет право, он просто обязан выражать свою позицию с грубой откровенностью, прямо называя кошку кошкой.

Иное дело — поэзия.

Поэзия, как известно, — дело тонкое. Тут в действительные вступают такие категории, как метафора, ритм, мелодика, интонация. Иными словами, не только текст, но и подтекст. Вскрыть идеологическую подоснову поэтического произведения поэтому сплошь и рядом бывает не так-то просто.

Вот почему мне как критику особенно приятно иметь дело с такими поэтами, как Станислав Куняев. Он ведь не только в статьях, он и в стихах выражает свою идейную позицию с поистине обезоруживающей прямоотой.

Вот — для примера — коротенькое его стихотворение, опубликованное в «Дне поэзии 1986 года»:

Окину взглядом Север и Восток,
песчаную и ледяную сушу,
и не географический восторг,
а мысль прожжет мятущую душу,—
о том, что предки шли не торюясь,
осваивая реки и наречья,
не для того, чтоб изнасилась связь
полустальная, получеловечья.
Землепроходцам — исполать и честь,
и полководцам — исполать и память
за то, что нефть, и лес, и хлопок есть,
и есть простор, где оборону ставить.

Чтобы оценить степень откровенности, с какой автор выражает здесь свои задушевные мысли и чувства, сравним его — ну, хотя бы с Киплингом.

Редьярд Киплинг, как сказано в обстоятельном предисловии к наиболее полному у нас собранию его стихов, был «подлинным политическим поэтом британского империализма». Его стихи, как утверждается в том же предисловии, связаны идеей «строительства Британской империи». Наиболее последовательно и прямо эта идея выражена в стихотворении «Время белых»:

Несите бремя белых,—
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридцать морей;
На службу покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть — чертям...

Слов нет: и поэтической энергии, и обаяния в стихах Киплинга побольше, чем у Куняева. Но обратите внимание, как туманно выражает свою позицию английский поэт, как тонко маскирует он истинные цели британского империализма, прикрывая их якобы благородными, альтруистическими побуждениями. Он дает нам понять, что лучших своих

сыновей Британия отправляет в колонии «на службу покоренным угрюмым племенам». То есть что эти «угрюмые племена» были покорены англичанами как бы для их же собственного блага.

Читая эти (да и другие) стихи Киплинга, невольно думаешь: полно, да был ли он на самом деле певцом британского империализма? Может быть, верить надо все-таки не автору предисловия, а самому поэту? Может быть, вовсе не идея «строительства Британской империи» вдохновляла Киплинга, когда он сочинял свои стихи, а что-то другое, не столь доступное нашему пониманию?

Когда читаешь стихи Куняева, сомнения такого рода не возникают.

Он не юлит, не прячется за высокими словами. Он прямо и откровенно славит «лучших сыновей» своей земли — землепроходцев и полководцев — за то, что они «осваивали реки и наречья», и вот теперь благодаря их мужественному подвигу у нас есть и нефть, и лес, и хлопок. Не говоря уже о жизненном пространстве.

Чтобы читатель мог еще лучше оценить редкостную прямоту и откровенность С. Куняева, приведу любопытное рассуждение Ст. Рассадина из его статьи «Почитаем Пушкина» («Октябрь» № 6, 1988 г.). Речь там у него идет о так называемом споре Маяковского с Есениным (споре, которого, к слову сказать, в натуре никогда не было):

«...В этом (непустяковом!) споре со страдателем за Россию Есениным, правота того, кто в пылу своего прекрасного интернационализма видел наше будущее «без России, без Латвии», а «исконное» с иронической легкостью приравнял к «посконному», весьма, так сказать, проблематично...»

Речь идет об известных строчках Маяковского: «Это — чтобы в мире без России, без Латвии, жить единым человеческим общежитием». Строчки эти — не более чем поэтическая метафора, и по меньшей мере наивно придавать им прямой, плоский, буквальный смысл.

Рассадин, правда, дальше оговаривает, что он не с теми, кто склонен перетолковывать эти строки Маяковского «в грубом, элементарно антирусском смысле». (Характерно, между прочим, что у всех нападающих на эти строки, — а Рассадин отнюдь не является тут первооткрывателем, — речь идет только об «антирусском» смысле; «антилатвийский» их смысл почему-то никого из них не волнует.)

Но вдумаясь: если злополучные эти строки Маяковского нельзя истолковывать в антирусском смысле, в чем же тогда суть выстроенного Рассадина противопоставления?

Смысл тут может быть только один. Маяковский (в отличие от Есенина) «страдателем за Россию» не был. Не был именно потому, что мечтал о временах, когда не будет «ни России, ни Латвии».

Интересно: ну, а Мицкевич? Был он «страдателем за Польшу» или не был? Болела ли у него душа за бедную, угнетенную свою отчизну? Ведь и он тоже мечтал «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Хочет этого Рассадин или не хочет, но у него получается, что интернационализм и патриотизм противостоят друг другу. И как бы он ни отгораживался от этого всевозможными заклинаниями, сколько бы раз ни повторял, что интернационализм Маяковского прекрасен, как бы ни выделял этот эпитет — разрядкой ли, курсивом, — суть дела от этого не меняется. Не исключая, что все это сказалося у Рассадина непроизвольно, само собой.

И тут особенно ясно видны все преимущества Станислава Куняева. Он, как я уже говорил, откровенен до конца. Ни при какой погоде не осквернит он свои уста прославлением интернационализма. У него просто язык не повернется назвать интернационализм прекрасным. Потому что ему интернационализм явно не по нутру. Он не только не скрывает этого, но даже подчеркивает. Мало того! Под эту свою неприязнь к интернационалистской идеологии и интернационалистскому мироощущеванию он подводит весьма солидное теоретическое основание.

Читатель, верно, уже догадался, что я имею в виду нашу статью Куняева «Ради жизни на земле...», напечатанную в 8-м номере журнала «Молодая гвардия» за 1987 год.

С неприкрытой неприязнью разбирал он в этой статье стихи поэтов военного поколения, с преведиким тщанием «шил» им дело, трудолюбиво и даже изобретательно подбирая на них «компромат».

Суть обвинений сводилась к тому, что поэты эти участвовали в Отечественной войне одушевленные не любовью

к Родине и необходимостью защищать ее от захватчиков, а ложной идеей интернационализма, мечтой о «земшарной республике Советов».

Речь шла, впрочем, не обо всех поэтах этого поколения, но лишь о некоторых: Павле Когане, Борисе Слуцком, Александре Межирове, Ароне Копштейне...

Статья вызвала почти единодушный взрыв негодования. Многие — не без некоторых к тому оснований — даже увидели в ней попытку доказать, что не «чистокровно русские» истинными патриотами быть не могут. (Именно так сформулировала направленность этой статьи Т. Иванова в 16-м номере «Огонька» за 1988 год.)

В статье «Клевета все потрясает...» («Молодая гвардия» № 7, 1988) С. Куняев ответил на это обвинение.

Ответил он на него так:

«...Если спорная идея высказана поэтом еврейского происхождения и ты с ней не согласен, так этого достаточно, чтобы тут же Т. Иванова заклеймила тебя как антисемита?... Хороши методы, нечего сказать!.. И зря она пугает меня всей совестью русской литературы. Это — от незнания. Пусть Иванова почитает, с какой диалектической сложностью относились к национальному вопросу Достоевский в «Дневнике писателя», Толстой в своих дневниках, Белинский в письмах, Герцен в «Былом и думах», Некрасов в поэме «Современники». Для пополнения знаний можно посоветовать Ивановой почитать и А. П. Чехова». Далее следует точная ссылка.

Эта ссылка на Чехова, признаюсь, меня заинтриговала. С чего бы это он, подумал я, на Толстого, на Герцена и на Белинского никаких точных ссылок не дает, а на Чехова ссылается так скрупулезно, указывая год издания, том и страницу? Не поленился: открыл указанный том на указанной странице и прочел дневниковую запись Антона Павловича, в которой действительно ощущается легкий привкус антисемитских настроений.

Ну что ж! Каждый выбирает себе — и у Достоевского, и у Толстого, и у Герцена, и у Чехова — то, что ему больше по душе. Но дело тут не просто в разнице вкусов. Важно другое: в чем все-таки выразилось коренное свойство русской литературы — ее совестьливость? В рассказе того же Чехова «Скрипка Ротшильда» и в исполненном высокого душевного благородства его письме Суворину по поводу дела Дрейфуса, или же в тех нескольких фразочках из дневника, на которые, сладострастно ухмыляясь и многозначительно подмигивая, указывает нам Куняев?

Все это настолько очевидно, что вряд ли заслуживало бы еще одного ответа, если бы за Куняева не заступилась вдруг (для многих совершенно неожиданно) Алла Латынина.

«Боюсь, — засомневалась она, — что негодующие возгласы по поводу статьи С. Куняева «Ради жизни на земле...» были вызваны в первую очередь личностью автора, от которого заранее знали, чего ждать, а не текстом статьи, в который, судя по характеру протестов, многие не потрудились вчитаться» (А. Латынина. «Колокольный звон — не молитва. К вопросу о литературных полемиках». «Новый мир» № 8, 1988 г.).

Латынина попыталась сделать то, чего не смогли (или не захотели) сделать ее коллеги. Признавая, что тот оттенок, на который намекала Т. Иванова, в статье Куняева действительно присутствует, допустив даже, что для самого Куняева он был мощным стимулом (хотя и отметив, что такие гадания некорректны), она справедливо утверждает, что главное в статье Куняева все-таки другое. А именно — «попытка разобраться в идеологии, питавшей отряд «высокотаренных» (как замечает Куняев) поэтов, вскормленных на идеях III Интернационала и эти идеи в своем творчестве воплощающих».

Эти самые «идеи III Интернационала», как выяснилось, тонкой, изысканной Алле Латыниной столь же антипатичны, как и грубоватому, прямому Станиславу Куняеву.

Она приводит любопытное суждение американского ученого Карла Сагана, заявившего, что в глазах среднего американца образ нашей страны прочно связан с претензиями на мировое господство. «Образ этот, — говорит Латынина, — строится на фактах истории».

Какие же факты истории имеются в виду? Может быть, речь идет о захватнической политике русского царизма? О временах «Священного Союза»? О многократных разделах Польши?

Нет, совсем нет.

«В нашей истории одним из моментов, вызывающих наибольшее недоверие американцев, Карл Саган видит концепцию неизбежности мировой революции... Возможно, кому-то и сейчас близки идеи мирового пожара, «земшарной республики Советов», возможно, кому-то импонирует романтическая надежда Павла Когана:

**Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.**

Но надо отдавать себе отчет и в том, что в глазах не только одного профессора Сагана подобные призывы служат вещественным доказательством широты наших идеологических притязаний, превращающихся в территориальные, и что с помощью этих строчек такие, как профессор Саган, легко объясняют своему народу, к примеру, наше присутствие в Афганистане и внушают необходимость ответить на «земшарные» притязания «земшарной» же системой противостояния им. «Земшарная республика Советов» — миф, оплаченный кровью, включая и кровь, пролитую в Афганистане».

Прочитав это, я, признаться, просто оторопел. До такого и сам Куняев недодумался!

Вряд ли стоит ломиться в настежь распахнутую дверь, доказывая, что наивные, давным-давно рухнувшие мечты поэтов «ифлийского поколения» об этой самой «земшарной республике Советов» ни сном, ни духом не связаны с кровью, пролитой в Афганистане. Коли на то пошло, идеологическим обоснованием вторжения наших войск в Афганистан могли бы служить как раз «имперские» стихи Куняева.

Обосновывая необходимость введения «ограниченного контингента» наших войск в Афганистан, официальная наша печать неизменно напоминала, что делается это в интересах безопасности наших государственных границ. В переводе на язык поэтических образов Станислава Куняева это звучало бы так:

Чтоб был простор, где оборону ставить.

В отличие от Латыниной у меня не хватает духу обвинить поэта (даже такого, как Куняев) в том, что на совести его — чья-то кровь. Но идеи, исповедуемые и проповедуемые Куняевым и его единомышленниками, при некотором стечении обстоятельств могут дать весьма зловещие всходы.

Если верить многочисленным декларациям Латыниной, она принципиально не желает присоединяться ни к одной из спорящих сторон. Но протяжении статьи она неоднократно подчеркивает свою предельную объективность. Даже по отношению к обществу «Память» она старается быть до крайности щепетильной. Ах, ах! Как можно! Полемизируем с фашистами, не предоставив им возможность изложить свои взгляды публично. Куда это годится! Надо, непременно надо дать им высказаться в печати. Это ведь азбука демократии!

Итак, она — над схваткой. Так сказать, двух станом не боец. Но это — на словах. А на деле...

Судите сами, чего стоит эта ее так называемая объективность.

Защищая некоторые положения нашумевшей статьи В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12), она говорит:

«Даже в самые сложные периоды нашей истории не перестраивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман», — пишет Бондаренко. Совершенно с этим согласна.

И, развивая эту мысль:

«В каменном мешке, а думка вольна», — говорит пословица. Человек может быть внутренне свободен в тюрьме и быть рабом в обществе социальных свобод... Ахматова вспоминает: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен...»

Высказав эту глубокую мысль и подкрепив ее авторитетом Ахматовой, Латынина (она ведь так объективна!) считает нужным сделать такую оговорку: «Это, разумеется, не означает, что писателю социальные свободы как бы и не нужны. Необходимы как условие внешней реализации. А для многих, более слабых духом, — и как условие самореализации».

Сильные духом, надо понимать, сумеют «самореализоваться» и в каменном мешке.

Ну, что касается В. Бондаренко, то с него спрос невелик. Он, как выразился булгаковский Мастер об Иванушке Бездомном, человек девственный. Но Алла Латынина, надо полагать, и Пастернака читала, и в Мандельштама заглядывала. И о том, какое «глубокое дыхание» появилось у Мандельштама после ареста, ссылки в Чердынь, а потом в Воронеж, она гораздо лучше могла бы судить не по вырванной наудачу фразе Ахматовой, а по стихам самого Мандельштама.

До ареста Мандельштам о Сталине написал так:

**Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,**

**Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.**

А вот из стихов о Сталине, написанных в Воронеже:

**И к нему — в его сердцевицу —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головой повинной тяжел.**

До ареста Мандельштам с отвращением и ужасом говорил о том, что его хотят заставить «присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей».

А вот из стихов, написанных после ареста, в Воронеже:

Сухомятная русская сказка, деревянная ложка — ах!

Где вы? трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

**Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов —
Грамотеет в шинелях с наганами племия пушкинцеведов.**

И еще, в том же духе:

**Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий...
Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили. А теперь пойми —
Я должен жить, дыша и большевая,
И перед смертью хорошея,
Еще побить и поиграть с людьми.**

До ареста Мандельштам таких стихов не писал. До ареста он писал совсем другие:

**Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна...**

А вот — после ареста:

**Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши...**

До ареста:

**Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня...**

После ареста:

**Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца
Заметила — и вдруг как чечевича
Адмиралтейским лучиком зажгла...**

Прошу прощения за обилие цитат, но об одном, о двух, даже о трех стихотворениях всегда можно сказать, что они случайны, не характерны. Стараюсь — в отличие от Латыниной — не быть голословным.

Все эти стихи, как и многие другие, написанные в Воронеже, прекрасны. Но это говорит лишь о том, что перемена, происшедшая с Мандельштамом, была отнюдь не внешней, что она затронула не только сознание его, но и подсознание, что он «перестраивался» не конъюнктурно: это была страшная, мучительная перестройка (или, если угодно, деформация) души. (Более подробно я говорил об этом в статье «Заложник вечности. (Случай Мандельштама)». «Огонек» № 47, 1988).

Трагическая судьба Мандельштама — это, конечно, случай особый. Пожалуй, даже исключительный. Не каждый испытал на себе такое давление.

Но и Пастернак, о котором Бондаренко и Латынина так уверенно говорят, что он «не перестраивался», в середине 30-х вдруг стал «мериться пятилеткой» и заговорил о том, что хочет «в отличие от хлыща в его существовании кратком — труда со всеми сообща, и заодно с правопорядком». А уж Эрдман, на которого они ссылаются, так тот до того «перестроился», что после «Мандата» и «Самоубийцы» сочинял только развлекательные, безобидные киносценарии («Волга-Волга», «Смелые люди», «Застава в горах» и т. п.).

Все это я говорю, разумеется, не в укор ни Эрдману, ни Пастернаку, ни Мандельштаму. Никого из них язык не повернется отнести к тем, кого Латынина высокомерно именует «слабыми духом».

Одно могу сказать: не дай ей бог хоть на миг оказаться в том «каменном мешке», в каком они провели большую часть своей сознательной жизни.

Я имею в виду не только разнообразные формы внешнего давления (цензура, проработки в печати, даже репрессии). Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу и только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно если «рота» эта 170-миллионный народ. Очень мучительно ощущать свое социальное одиночество, очень болезненно это чувство отщепенчества, даже если в основе его лежит прозрачность, безусловное знание истины. Очень естественно для нормального, здорового сознания хотеть «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком».

Я думаю, что именно это чувство было самым мощным стимулом не только для покаянных стихов Мандельштама, но даже и для покаянных речей Бухарина, вынужденного не раз и не два признавать свои мнимые ошибки.

«Либо ты молишься на Бухарина, либо ты сталинист. А если тебе Сталин отвратителен, но и Бухарин, утверждающий в своем предсмертном письме, что у него «вот уже седьмой год нет и тени разногласий с партией», не кажется достаточно радужной альтернативой Сталину — тогда как?» — язвит Латынина.

Видит бог, я бесконечно далек от того, чтобы «молиться на Бухарина». Но какой же надо быть «снежной королевой» с льдышкой вместо сердца, чтобы не содрогнуться, узнав о трагедии замученного, раздавленного, оклеветанного человека, который на краю гибели хоть перед потомками пытается соскрести с себя клеймо предателя.

Ведь знает же она — не может не знать! — что слова о том, что не было у него разногласий с партией, были вырваны у Бухарина под пыткой. Пусть еще не физической, а только моральной пыткой. Но эта моральная пытка в своем роде была не менее страшна, чем физическая. И не может же она не знать, что на самом деле БЫЛИ у Бухарина разногласия с партией, что именно эти разногласия стоили ему жизни и что разногласия были не пустячные, а по главному, коренному вопросу: о коллективизации, превратившейся в физическую расправу с миллионами крестьян. Кстати, коллективизацию Латынина дважды называет в своей статье геноцидом. Хотя тоже ведь не может не знать, что геноцидом называется истребление по национальному, расовому признаку. Это не случайная обмолвка, а явное желание потрафить тем, кто изо всех сил тщится сейчас доказать, что виновниками гибели миллионов крестьянских семей были Троцкий да Каганович. Как будто не истребляли узбекских крестьян с такой же бессмысленной жестокостью, с какой истребляли русских «кулаков и подкулачников» в России, а украинских на Украине. И как будто к истреблению русского крестьянства вместе со Сталиным, Орджоникидзе, Кагановичем и Микояном не приложили руку Молотов, Куйбышев, Андреев, не говоря уже о миллионах рядовых исполнителей, со страстью (как правило, небескорыстной) истреблявших своих единоплеменников.

Литераторы, выступающие на страницах журналов «Москва», «Молодая гвардия» и «Наш современник», красочно расписывают, как травят их «либеральные жандармы».

«Почему-то «любители прогресса», — жалуется В. Бондаренко, — любят только свое понимание свободы критики. В XIX веке подобное явление называлось «либеральным террором», «апелляцией к городскому», когда не давали печататься Н. Лескову, А. Писемскому...»

Трудно понять, кто мог в XIX веке «не давать печататься» Лескову и Писемскому. Тогда, как известно, еще господствовали рыночные отношения, к которым мы теперь так стремимся, а на книгоиздателей «либеральный террор» вряд ли мог оказать какое-то воздействие. Но еще занятнее в этой тираде В. Бондаренко другое: смешение таких разных

понятий, как «либеральный террор» и «апелляция к городскому». В либеральном терроре упрекали левую прессу. А к «городскому», то есть к властям, апеллировали правые. Почему же Бондаренко объединил, отождествил эти два взаимоисключающих понятия? По невежеству, что ли?

Нет, не по невежеству. Оказывается, смешал он эти противоположные понятия, потому что «либеральная жандармерия», разъяряет нам Алла Латынина, «ныне не обходится собственными силами — моральным осуждением, остракизмом, обвинениями в связях с Третьим отделением и т. д. Она сама апеллирует к властям».

Эту мысль Латыниной блистательно развил С. Куняев в статье «Все начинается с ярлыков...» («Наш современник» № 9, 1988). Гневно (и, надо сказать, во многом справедливо) разоблачая некоторых писателей и поэтов 20-х и 30-х годов, которые в литературной полемике призывали себе на помощь карательные органы (ГПУ, НКВД), Куняев вдруг обращает свой гнев на сегодняшних «карателей», которые сейчас, уже в наши дни, используют те же методы: навешивают политические ярлыки и тем самым как бы призывают к расправе над своими литературными оппонентами. Кто же эти «злодеи»? Куняев называет несколько имен: Гельман, Евтушенко, Гавриил Попов, Юрий Карякин. Самой влиятельной фигурой в этом ряду ему представляется Карякин:

«Ю. Карякин в недавней огоньковской статье просто кликушествует, требуя чуть ли не следствия по отношению к тем, кто ему кажется противником перестройки. Трагикомизм и даже фарсовость ситуации заключается в том, что в этой же статье автор клеймит Жданова за рьяные поиски «врагов» народа в 37-м году, за подобное же кликушество».

Трагикомизм и даже фарсовость этого замечательного рассуждения состоят в том, что человек, требующий суда над палачами, в глазах автора ничем не отличается от палача, на совести которого кровь миллионов невинных людей. Как говорит профессор Преображенский в «Собачем сердце» Булгакова: «Не угодно ли — мораль!»

Куняев, конечно, погорячее и позапальчивее Латыниной. Но ход мысли у него совершенно тот же, что у нее.

Нет, не удастся Алле Латыниной сделать вид, что она всего лишь объективна, объективна до щепетильности. Ее позиция «над схваткой» — лишь прикрытие, маскирующее несомненное тяготение к одному из враждующих станов. И после всего сказанного вряд ли надо объяснять, к какому именно.

Само собой, есть в статье Латыниной и другие идеи и положения, с которыми нельзя не согласиться. Но, к сожалению, не они определяют ее позицию.

Латынина, безусловно, была права, утверждая, что статью Куняева «Ради жизни на земле...», которую она защищает, истолковали определенным образом, потому что у автора этой статьи такая репутация. Но репутации создаются не на пустом месте. Репутация — хорошую, плохую ли — надо заслужить.

Вот, например, у Аллы Латыниной до этой статьи была одна репутация. А теперь, я думаю, будет другая.

Возвращаясь к напечатанному

«СКОЛЬКО ЛИЦ У МИЛИЦИИ?»

В мартовском (1988 г.) номере журнала был опубликован очерк Г. Рябова «Сколько лиц у милиции?». Редакция получила около тысячи откликов на эту публикацию. Проблемы, накопившиеся в системе органов внутренних дел, в равной степени волнуют как сотрудников милиции, так и рядовых граждан. Анализируя почту, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день никто не может дать однозначный ответ на вопрос, вынесенный автором в заголовок очерка. Поскольку разговор о милиции касается все же в первую очередь ее сотрудников — предоставляем слово им. Для этой публикации мы отобрали два письма — официальный ответ Политуправления МВД СССР и своеобразные критические заметки оперуполномоченного из г. Набережные Челны. Разные позиции, которые занимают авторы этих писем, лишь фрагмент в спектре мнений, высказываемых нашими читателями. Редакция предполагает в этом году продолжить разговор, начатый Г. Рябовым.

Официальный ответ

«Политуправление и партком Министерства внутренних дел СССР рассмотрели опубликованную в «Юности» статью Г. Рябова «Сколько лиц у милиции?».

Считаем необходимым сообщить, что за последние два года, прежде всего благодаря общеполитическим, социально-нравственным факторам, созданной партией обстановке морального обновления общества, произошли осязаемые позитивные изменения в динамике, структуре и характере преступности. И все же распространенность преступных проявлений, их тяжесть, опасность и причиненный ими ущерб вызывают обеспокоенную озабоченность партийных и советских органов, широкой общественности.

Чувства своей ответственности и неудовлетворенности состоянием дел в сфере правопорядка испытывают коммунисты, сотрудники центрального аппарата Министерства, органов внутренних дел на местах.

Эффективность профилактических, оперативно-розыскных и иных мер по борьбе с преступностью остается недостаточной. Все еще отстают от предъявляемых требований профессиональный уровень части милиционеров и следователей, работников других служб, их общая и правовая культура, допускаются нарушения законности, служебной дисциплины, профессиональной этики.

О том, как эти проблемы решаются, каких сдвигов удалось добиться, недавно было подробно рассказано в статье министра внутренних дел СССР А. Власова «На страже правопорядка» (журнал «Коммунист» № 5, март 1988 года).

Коллегия, Политическое управление, партком МВД СССР будут и впредь принимать все необходимые меры по устранению имеющихся недостатков и прежде всего в укреплении социалистической законности среди личного состава. На это направлен сейчас широкий комплекс мероприятий партийно-политической, идеологической, воспитательной работы.

В марте 1988 г. Политбюро ЦК КПСС утвердило новое Положение о политических органах в системе Министер-

ства внутренних дел СССР, единую структуру их построения. В постановлении подчеркнуто, что принятые указанные меры будут способствовать усилению партийно-политического влияния на деятельность органов внутренних дел в целях укрепления социалистической законности и правопорядка, усиления охраны прав и законных интересов граждан.

Хотим отметить, что в позитивные изменения, происходящие в сфере правопорядка, неоценимый вклад вносят средства массовой информации, в которых систематически публикуются материалы о происходящих в органах внутренних дел процессах перестройки, дается объективная критика недостатков. Руководители органов МВД, политический аппарат рассматривают такие материалы как эффективную помощь в борьбе с преступными проявлениями, в искоренении нарушений законности, как серьезное и действенное средство их профилактики. И мы искренне благодарны прессе за такое внимание и помощь.

К сожалению, статья Г. Рябова в вашем журнале такой нагрузки не несет. Мы понимаем, что, прилагая автор, бывшего сотрудника органов внутренних дел, выступить в молодежном журнале со статьей о деятельности правоохранительных органов, в том числе милиции, редакция рассчитывала на его компетентность и объективность в освещении нелегкой и не всегда благодарной профессии работника милиции. Однако, по нашему мнению, этого не произошло.

Не вдаваясь в детализацию, на некоторых положениях все же хотелось бы остановиться.

Обращает на себя внимание некорректный, пренебрежительный, а порой и оскорбительный тон автора, мягко говоря, своеобразная интерпретация им известных фактов, о которых ранее уже сообщалось в прессе. Представляется, что имеющиеся в статье обобщения типа «...граждан сплошь и рядом задерживают без законных на то оснований, врываются к ним в квартиры без санкции прокурора и производят обыск, допрашивают по многу часов без перерыва, избивают до полусмерти, выколачивая признательные показания, а если это не помогает — пытаются...» не только являются плодом обостренных эмоций автора, но наносят непоправимый вред, искусственно формируя негативное общественное мнение о правоохранительной практике. Ничего, кроме неоправданной дискредитации предпринимаемых мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка, подобные обобщения, как мы убеждены, не вызовут. Никаких оснований, мы ответственно заявляем об этом, нет для подобного «авторского подтягивания» к осужденным партией и народом временам периода культа.

По каждому случаю нарушения законности или преступления, совершенному сотрудниками, а они есть, и об этом открыто говорим и мы, и пресса, принимаются самые жесткие меры партийного, служебного, дисциплинарного воздействия. В соответствии с законом виновные привлекаются к уголовной ответственности. И по тем фактам, о которых сообщает автор, такие меры были приняты, о них были информированы редакции газет и журналов.

Позвольно вырывая из контекста отдельные цитаты, Г. Рябов тем самым искажает подлинный смысл опубликованных в печати выступлений А. Власова, других руководителей правоохранительных органов. В статье допущено немало и других неточностей, противоречий и несуразностей. Чего, например, стоит утверждение автора о том, что «...работник триады в рамках прямой своей деятельности всегда прав. Жаловаться бесполезно. Никто еще из обращающихся не получил ответа от вышестоящих правоохранительных инстанций о том, что жалоба нашла подтверждение...»? Или несостоятельные рассуждения о представлении правительству недостоверной картины преступности в стране, о некоей «растерянности» перед «беловоротничковой» преступностью, «угасающем маятнике», «разрушительных центробежных силах», о том, что уголовно-процессуальное законодательство представляет собой «завуалированное беззаконие», является по своему содержанию порочным и безнравственным?

Кошунственной в отношении к памяти наших павших на боевом посту товарищей представляется однозначно негативная оценка проявленного ими обдуманного риска, героизма и готовности к самопожертвованию во имя исполнения служебного долга; во имя защиты жизни, здоровья, достоинства и интересов советских граждан.

Как нам представляется, автор статьи «Сколько лиц

у милиции?» выступает в роли, о которой в редакционной статье «Принципы перестройки: революционность мышления и действий» («Правда», 5.04.88 г.) сказано: «Иной автор будто апостол истины вещает и указывает всем, как и что надо делать. Немало попыток поскорее заявить себя, отшуметь сенсацией, позабавиться «фактами» и «фактиками», но не ради истины, а на потребу собственному неутоленному тщеславию».

Остается лишь сожалеть, что редакция уважаемого молодежного журнала сочла возможным без проверки и собственного взвешенного комментария опубликовать столь тенденциозный материал.

А. АНИКЕЕВ

А в остальном все хорошо

В шестом номере (1988 г.) журнала «Советская милиция» опубликована статья генерал-лейтенанта милиции в отставке Н. А. Кожина «На пользу или во вред?» о вступлении Гелия Рябова на страницах «Юности». Поскольку Н. А. Кожин пишет, что его убеждение о вреде статьи Гелия Рябова основано на отзывах работников милиции, я вынужден высказать свое мнение по этому поводу.

Итак, Кожин пишет, что 17-летняя дочь знакомого майора, прочитав статью Гелия Рябова, сказала отцу, чтобы он уходил из органов. Но майор не растерялся и показал дочери публикацию в газете «Правда» о мужестве работников литовской милиции. Что можно сказать по этому поводу? Плохим отцом оказался майор, раз не научил свою дочь вдумываться в прочитанное, не сумел привить ей способность к самостоятельному мышлению. Если ее мнение о милиции и, видимо, по другим вопросам зависит от той или иной публикации в печати, — это печально.

Далее в статье приводятся положительные примеры из деятельности органов внутренних дел, называются фамилии сотрудников, которые выполняли свой долг, рискуя жизнью. То, что в милиции много сотрудников, честно выполняющих свой долг, по-моему, ни у кого не вызывает сомнения. Рябов же затрагивает проблему профессиональной подготовки сотрудников милиции. Жизнь сотрудники милиции рискуют часто, но сколько случаев, когда они гибнут из-за профессиональной неграмотности.

Автор статьи пишет, что Рябов обвинил МВД СССР в представлении правительству липовой отчетности о состоянии преступности в стране. Я не думаю, чтобы МВД СССР представляло искаженную отчетность правительству. Дело в том, что в МВД СССР имеются данные о преступности в стране, не отражающие реальную действительность. Видно это из следующего. Сколько у нас материалов поступает в отдел внутренних дел из больницы, куда граждане обращаются в связи с полученной травмой? Как правило, если травма незначительная, этот материал регистрируется не в книге учета происшествий, а в так называемом журнале учета иной информации или журналах ОЗ. Впоследствии этот материал списывается по рапорту сотрудника милиции, в котором пишется, что гражданин поскользнулся и упал, при этом ударился головой об асфальт или, падая, нечаянно нанес себе удар в лицо (в зависимости от фантазии сотрудника). Больше же частью пострадавших избивали, однако они не хотят лишней волокиты и заявлений не пишут. А если пострадавший вдобавок был в нетрезвом состоянии, он, как правило, говорит, что сам во всем виноват. Списание материалов подобного рода по рапорту или так называемому заключению производится на основании приказа МВД СССР, что противоречит ст. 109 УПК РСФСР, которая предусматривает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче заявления или сообщения по подследственному или подсудности. Иных решений быть не должно.

Или, например, карманные кражи. Львиная доля краж из карманов и сумок списывается как утери.

А сколько у нас лиц, числящихся без вести пропавшими, и где гарантии, что здесь нет убийства?

В указанных случаях хоть какой-то след в милиции остается, хотя в отчетность об уровне преступности они не входят. А если взять во внимание наличие латентной, то есть скрытой, преступности? Кто в МВД СССР скажет, сколько у нас изнасилованных девушек, не выявив-

ших в милицию из чувства стыда или по иным мотивам, сколько ограбленных, не заявивших в милицию из-за боязни, что их затаскают по судам, и т. д. К сожалению, не только МВД СССР, но и оперативный работник на своем участке не располагает такой информацией. О латентной преступности можно говорить только приблизительно, однако сбрасывать со счетов ее наличие нельзя.

В самом деле, откуда у нас взялась «беловоротничковая» преступность? Откуда взялись рашидовы, адыловы и другие? Еще не обладая огромной властью, они совершали преступления: кто-то получал взятки, кто-то давал их, иные занимались хищениями. Но все эти преступления остались вне поля зрения правоохранительных органов. (Впрочем, при существующей структуре органов внутренних дел службы БХСС бессильны что-либо сделать против подобных лиц.) Итак, противоправные, уголовно наказуемые деяния совершены, но остались незарегистрированными, нераскрытыми и в отчет об уровне преступности не вошли. Преступники — точнее, еще не преступники, ибо таковыми их может признать только суд, — уверенные в своей безнаказанности, продолжают совершать новые преступления и занимать высокие посты.

Так располагаем ли мы на сегодняшний день реальной картиной преступности?

Автор пишет: «По Рябову, выходит, что Центральный Комитет партии не знал истинного положения с преступностью в нашем обществе, когда в конце 1986 года принял такой программный документ, как постановление «О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан», а в апреле этого (1988) года постановление «О состоянии борьбы с преступностью в стране и дополнительных мерах по предупреждению правонарушений».

Мог знать истинное положение дел Центральный Комитет партии или нет, я думаю, ясно из вышеизложенного. Хотелось сказать о следующем. Подобные постановления почти ежегодно принимались и в так называемый застойный период. Во всех постановлениях пишется о том, что необходимо укрепить социальную законность и правопорядок, усилить охрану прав и законных интересов граждан и т. д. Нет, я не против этих постановлений, но, так же как и раньше, они могут остаться лишь благими намерениями. После этих постановлений должны приниматься конкретные меры, и это дело не Центрального Комитета партии, а МВД СССР. Сегодня же МВД СССР обсуждает то или иное постановление на коллегии, и затем нам спускают ее решение, в котором преобладают слова «усилить», «укрепить», «укрепить» и т. п. Решения коллегии МВД СССР носят, к сожалению, большей частью декларативный характер.

На мой взгляд, давно назрела необходимость изменения структуры правоохранительных органов, в частности милиции. Для того чтобы успешно бороться с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, организованной преступностью, необходимо вывести службу БХСС из подчинения начальников РОВД, местных органов власти и подчинить непосредственно МВД СССР. Тем самым будет исключено давление на местном уровне как со стороны партийно-советских органов, так и со стороны руководителей районных отделов внутренних дел.

Очень часто сотрудники БХСС необоснованно отвлекаются от своей основной деятельности для всякого рода дежурств, предотвращения угонов автомашин, регулирования дорожного движения и т. д.

В службе БХСС необходимо иметь свой ревизорский аппарат. Сегодня, когда предприятия переходят на полный хозяйственный расчет, коллективы сами заинтересованы в недопущении хищения, а значит, отпадает необходимость в ведомственном ревизорском аппарате или, во всяком случае, его можно значительно сократить. Нецелесообразно также проводить частые плановые ревизии, которые, как правило, ничего не выявляют. Ревизии, на мой взгляд, должны в основном проводиться по инициативе сотрудников БХСС, располагающих конкретной информацией о хищениях. В каждом городе есть контрольно-ревизионное управление при Минфине РСФСР, однако и их деятельность далеко не соответствует тем задачам, которые они призваны выполнять. К вопросам сохранности социалистической собственности мы подходим узко ведомственно, пора смотреть на эту проблему по-государственному. Ежегодно списываются миллионы рублей на недостачу, порчу и т. д. товарно-материальных ценностей. Как

правило, никто ответственности за это не несет. По закону материалы по всем крупным недостаткам поступают в прокуратуру, где обязаны во всем разобраться. На практике же, если виновные лица не установлены, прокуратура отсылает эти материалы в БХСС. В БХСС достаточно много дел вне компетенции этой службы, но занимаются ими по указаниям начальника РОВД или райкома, горкома.

Эффективность работы службы БХСС сегодня определяется количеством возбужденных и направленных в суд уголовных дел. При этом контрольные цифры доводятся с учетом выявленных преступлений прошедшего года. К концу месяца, квартала, года с сотрудника БХСС требуют любой ценой выдать на-гора уголовное дело. Ссылки на незаконченные ревизии или другие объективные причины не берутся во внимание. Руководители требуют ревизию свернуть, вывести какую-нибудь маломальскую сумму, достаточную для возбуждения уголовного дела. То есть выполнение плана любой ценой, в том числе и нарушением закона. Как известно, лекарство от яда отличается дозой. Так же и план перестает выполнять свое назначение при чрезмерном увлечении им. Кстати, народные суды тоже борются за процент прекращенных уголовных дел и количество оправданных лиц. Получается парадоксальная ситуация: милиция старается как можно больше людей привлечь к уголовной ответственности — это является показателем ее хорошей работы, а суды стремятся как можно больше людей оправдать — это их показатель хорошей работы. На мой взгляд, во всей правоохранительной системе действуют не совсем верные критерии оценки результатов работы.

Не могу не высказать своего мнения по поводу системы присвоения званий в органах внутренних дел, порождающей у многих сотрудников чувство карьеризма. Хороший работник вдруг начинает искать место в другой службе или всеми силами старается занять пост начальника из-за того, чтобы получить очередное звание, так как для его должности существует определенный потолок в звании. Выражение «плох тот солдат, который не хочет стать генералом» не всегда приемлемо. Слишком много желающих стать генералами, а быть хорошим солдатом желают не многие. С другой стороны, почему сотрудник, достигший профессионального мастерства на своей должности, не имеет права получить более высокое звание? Вот и получается, что сотрудник, любящий свою работу, хорошо ее выполняющий, в погоне за званием на другую должность не пойдет, а бездарно, не умеющие работать, но выучившие приказы и бездумно их выполняющие, лезут вверх. Не от этого ли отдельные сегодняшние руководители просто некомпетентны во многих вопросах?

Об обеспечении органов внутренних дел транспортом, спецтехникой просто невозможно спокойно говорить. Как можно работать, если в отделении БХСС нет транспорта? Почему оперативные работники доставляют в РОВД преступников в общественном транспорте? Почему на захват вооруженного преступника необходимо идти пешком? Помню, были случаи, когда на дежурную машину выдавали 16 литров бензина в сутки. На совещаниях министр республики говорит, что существуют табель положенности транспорта, лимит бензина и т. д., утвержденные МВД СССР. Заставить бы дежурить сутки в РОВД с 16 литрами бензина того, кто утверждал эти лимиты!

Вот мы и подошли к вопросу о гласности, о которой говорит Рябов. Народ вправе знать состояние дел в милиции, и народ должен решать, где и на чем экономить. Наши руководители часто говорят, что сотрудник милиции получает большую зарплату. На самом деле средний заработок сотрудника милиции ниже уровня среднего заработка рабочего, занятого в промышленности. Но если рабочий, отработав восемь часов, имеет право на отдых и гарантированные выходные дни, то сотрудники милиции ничего этого не имеют. В милиции руководители требуют одного — чтобы ты пахал (это выражение большинства руководителей). Интеллигенция, по их мнению, в милиции делать нечего. Действительно, многие не выдерживают и увольняются из милиции, причем не из-за тяжести самой работы, а из-за неразумной, порой доходившей до неадекватности организации труда. В милиции не любят сотрудников, имеющих свое мнение по каждому вопросу. В милиции преобладают люди, слепо выполняющие указания начальника. Для того чтобы поправить существующее положение, необходимо, на мой взгляд, снять ограничения по возрасту при поступлении на работу в органы внутрен-

них дел. Нам нужны образованные люди, имеющие жизненный опыт, твердые убеждения, способные работать творчески. В уголовный розыск нужны люди не только способные работать сутками, без выходных, нужны сотрудники с высоким интеллектом. С момента создания сыска преступный мир изменился и продолжает меняться, сыщики же, как справедливо об этом пишет Рябов, работают доисторическими способами и методами.

В уголовном розыске укрывали и будут укрывать преступления до тех пор, пока не восторжествует гласность. Необходимо публиковать в местной печати данные обо всех происшествиях, которые совершаются за сутки в районе.

То, что у нас далеко не 100-процентная раскрываемость, народ уже знает, хотя и не располагает реальными цифрами. Провозглашенный Лениным принцип неотвратимости наказания не выполняется. И для того, чтобы поднять работу милиции на качественно новый уровень, в том числе и для достижения 100-процентной раскрываемости, кроме всех других мер, милиции потребуются большие денежные средства. Об этом нужно прямо сказать и народу, и правительству.

Кожин пишет, что Рябов преподает нам урок политграмоты, якобы провозглашая сталинский тезис «По мере продвижения к социализму возрастает классовая борьба». На мой взгляд, Рябов ставит этот вопрос несколько иначе. В нашей стране нет антагонистических классов, но существует борьба за власть, которая может проявляться дачей взяток за ту или иную должность. У кого находилась власть в Узбекистане, мы уже знаем. Простым дехканам было одинаково тяжело, кем бы себя ни называли власть имущие — коммунистами или баями. Поскольку и те и другие грабили свой народ. Ленин писал, что там, где есть взяточник, взяточничество, нет Советской власти.

По мнению Кожина, факты нарушений законности носят у нас случайный характер. Случайный ли? Разве случайно, что руководители УВД Волгоградского облисполкома, МВД Узбекской ССР и наконец МВД СССР оказались на скамье подсудимых? Видеть во всем этом случайность, свалить вину только на отдельных лиц — это значит не быть застрахованным от подобных ошибок в будущем, допускать политическую близорукость, если хотите. Энгельс писал, что «необходимость (надо понимать закономерность.— Ф. А.) прокладывает себе дорогу сквозь множественность случайностей». Если бы во всех ошибках были виноваты только бывшие члены партии, то не было бы никакой необходимости в реформе политической системы. Реформа же политической системы предполагает перестройку всех ее звеньев, а значит, и милиции. Однако о перестройке в милиции пока только говорят. В последнее время в печати публикуются статьи, авторы которых пытаются установить, откуда в нашем обществе возникло такое явление, как конформизм. Не берусь судить об обществе в целом, но об органах внутренних дел могу сказать. Наличие званий, отсутствие притока свежих сил интеллигенции, излишняя, ничем не обоснованная засекреченность, отсутствие самостоятельности в принятии решений, существующая структура ОВД породили у многих сотрудников чувство конформизма.

В седьмом номере журнала «Советская милиция» напечатано выступление начальника Политического управления МВД СССР генерал-лейтенанта внутренней службы А. В. Анисеева, в котором говорится: «Прежде всего необходимо решительно сместить акцент в деятельности политаппарата с контрольных функций в сторону ПРАКТИЧЕСКОЙ организации дела. Перенести всю партийно-политическую работу непосредственно на места НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ. Научить постоянно сверять свои действия с законом...» (Выделено мной.— Ф. А.)

Теперь я хочу спросить, может ли агроном оказать практическую помощь в работе токаря, работающему на станке с программным управлением? Среди замполитов редко встречаются люди, которые когда-либо работали на оперативной работе в уголовном розыске или БХСС. Большинство же замполитов никогда не смогут практически организовать работу этих служб, не имея опыта оперативной работы. Для того, чтобы научить сотрудников сверять свои действия с законом, как минимум нужно знать эти законы. Основная же масса замполитов не имеет юридического образования. Говоря о советской социалистической законности, В. И. Ленин подчеркивал, что она заключается в том, чтобы «соблюдать свято законы и предписания Советской власти». У нас же даже начальни-

ки РОВД с юридическим образованием имеют весьма смутное представление о гражданском праве и соответственно ущемляют права граждан.

В настоящее время в системе МВД СССР создано Политическое управление, в каждом РОВД есть заместитель начальника РОВД по политчасти и инструктор политчасти. Чем же они занимаются? Решают бытовые вопросы и занимаются бумаготворчеством. Так и называются они должны соответственно зам. начальника РОВД по быту, инструктор по быту. Институт политорганов не оправдал своего назначения, если руководители МВД СССР грубо нарушали социалистическую законность, да и не только руководители, но и сами замполиты. В прокуратуре и судах нет подобного института, однако и там имеются факты нарушения соцзаконности.

В Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС записано: «Свою политическую линию КПСС должна проводить через коммунистов, работающих в государственных и хозяйственных органах, в общественных организациях и трудовых коллективах». То есть надо понимать — не созданием отдельных политических институтов, как это сделано в МВД СССР. Если вместо создания независимых от местных властей отделов по борьбе с организованной преступностью мы будем раздувать штаты политупапарата, то еще долго будем бороться с преступностью.

Кожин пишет о том, что ему непонятно, как можно игнорировать партийные принципы работы с кадрами, сам порядок комплектования служб и подразделений милиции за счет лучших представителей трудящихся, коммунистов и комсомольцев. Что касается представителей трудящихся, коммунистов, могу сказать следующее: я не встречал ни одного из них в такой службе, как уголовный розыск. А уголовный розыск по праву считается ведущей службой в органах внутренних дел. Как правило, райком партии доводит до каждого предприятия разнарядку, по которой они обязаны направить своих рабочих коммунистов на службу в ОВД. Желających, естественно, очень мало.

Вот и получается, что или посылают из-под палки, или тех, кто им не нужен. Так что далеко не лучшие представители трудящихся и коммунистов приходят в ОВД, и многие из них через непродолжительное время службы увольняются.

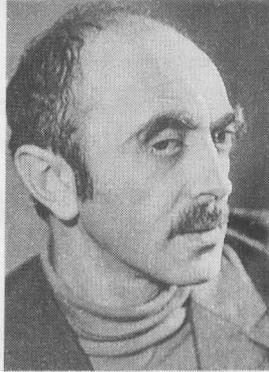
Кожин утверждает, что гражданка М. находилась на Петровке не 36 часов, как указано в статье Рябова, а 14 часов, и это объясняется выполнением необходимых следственных действий по закреплению доказательств. Какие такие следственные действия с участием свидетеля можно проводить в течение 14 часов, и какой статьей УПК РСФСР руководствовался следователь, непонятно. В УПК РСФСР указано ночное время с 22.00 до 6.00, когда допрос запрещен, допрос в это время можно проводить только в случаях, не терпящих отлагательств. Что касается утверждения о законных обоснованиях производства обыска у гражданки В., Кожин, оправдывая действия сотрудников милиции, пишет, что они не могли не внять гласу троих. Даже если бы это был и глас трехсот человек, необходимо соотносить его с конкретными обстоятельствами дела. В уголовном праве, так же как и в науке, нельзя устанавливать истину большинством голосов. В годы репрессий сосед доносил на соседа, и этого было достаточно для привлечения к уголовной ответственности. Видимо, за это ратует Кожин. Почему бы Кожину не поставить себя на место гражданки В. — у него провели обыск и затем сказали, что произошла ошибка...

Я могу привести много положительных примеров из деятельности ОВД, однако я могу привести и немало отрицательных примеров. И когда Кожин обвиняет Рябова в том, что он обобщил все негативные примеры, он глубоко ошибается, — для этого не хватило бы и всех страниц журнала «Юность».

Неразрешенных проблем в органах внутренних дел очень много, по Кожину же, выходит так, что у нас есть отдельные недостатки, а в остальном, как поется в известной песне, все хорошо. Справедливости ради нужно сказать, что я не согласен с некоторыми суждениями Рябова и готов с ним поспорить, но я не разделяю оптимизма Кожина, что и побудило меня написать это письмо.

Ф. А. АХМЕТОВ, оперуполномоченный ОБХСС,
старший лейтенант милиции
г. Набережные Челны

Поэзия



Валерий
КРАСКО

Конвоир

Он ненавидел, как умел,—
кроме разяшего нагана,
других отличий не имел
в теплушке возле Магадана.
В разбойном повсиге пурги
он верил — крепче год от года,
что он — народ, а «те» — враги
народа!

Не совнаркомовский паек,
не ЗИС, не тыщи на сберкнижке —
имел он марево дорог
и одиночество на вышке...

Он стар. Он ходит по стране.
Его диван похож на нары.
К нему врываются во сне
замученные комиссары,
и льет шальной метеорит
свой свет кровавый, как и прежде,
на спящий лагерь...

Он кричит
и просыпается — в надежде,
что этот бред и этот свет,
в котором столько отпылало,
простит — за давностию лет —
судья любого трибунала...

Уходящему на запад

Когда уйдешь по утренней тропе
На запад, где закат жемчужно-розов,
Какую тайну утаишь в себе?
Что скроешь от таможенных допросов?

Какая ненависть, хлестнув кнутом,
Слезами захлестнет совсем нехстати —
Сначала на рассвете, а потом —
На том жемчужно-розовом закате? —

Отчизну, словно старенькую мать,
Чья кровная — в тебе — иссякла сила,
За то, что не пускала, проклинать,
А после — проклинать, что отпустила...

Интеллигенция в кавычках и без...

В № 9 вашего журнала помещена очень интересная подборка писем. Прелестное, поэтическое письмо написал 22-летний Игорь Афанасьев из Саратова («Взгляд на обратную сторону Луны»). И, наоборот, отталкивающее впечатление и самые резкие возражения вызывает письмо Г. Кувшинова из Ленинграда, не указавшего свой возраст и профессию, а жаль, потому что не из праздного любопытства хочется знать, кто же он — ветеран КГБ или милиционер, так сожалеющий, что времена террора и страха отошли, а потому исчезла и бдительность, чутье на классового врага, который в мире «так называемой интеллигенции» коварно разлагает демократизацию и наш строй. Хочется знать, почему Г. И. Кувшинов (все-таки с отчеством, значит, не так уж и молод), не заметивший в журнале «ни романтики, ни фантазии», называет интеллигенцию интеллигенцией в кавычках?.. Не по той ли причине, по какой один из гитлеровских головорезов признавался: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет»? А кто это, по мнению Кувшинова, интеллигенты без кавычек — А. Жданов, но никак не Ахматова и Зощенко? Хотелось бы знать, как это удалось Г. Кувшинову дожить, очевидно, до зрелого возраста, не замечая вокруг себя ни «черноты», ни «грязного белья», от которых так пострадали в течение полувека и интеллигенция (без кавычек), и весь наш многомиллионный народ. Вообще в письме Кувшинова иронических кавычек гораздо больше, чем ясного представления об исторических путях нашего общества и государства. И вот это, именно это, а не мнимая потеря классовой бдительности действительно очень страшно и опасно. Сразу видно, что Г. Кувшинов не читал ни Маркса, ни Ленина, а если и читал, то совсем не понял живого, творческого и глубоко демократического характера их теории, отнюдь не утверждающей обязательное физическое истребление одного класса другим. Об этом в пьесе Шатрова очень хорошо сказано: вынужденный и временный характер чрезвычайных карательных мер во времена Ленина стал постоянной и «законной» нормой повседневной жизни во времена Сталина. И это-то преступное извращение марксизма-ленинизма последыши Жданова и Берия еще и сегодня называют сущностью нашего строя, а трудную борьбу с ним наших ученых-историков, экономистов и литераторов-публицистов — разложением советского строя и опасностью № 1. В какой же атмосфере духовного инфантилизма и тупости надо вырасти и закоренеть, чтобы свои личные пристрастия и вкусы ставить выше глубокой нравственной потребности всего общества, всего народа разобрататься во всех страшных, трагических ошибках и заблуждениях нашей официальной идеологии, чтобы снова не пройти тот же самый мучительный путь к правде и демократии! От всех сталинистских писем, от всех до единого, веет таким духовным убожеством, что читать их — тяжелый нравственный труд. Главное, что все эти мертвые души убеждены, что они-то и есть единственно живые и настоящие, а все другие, не они, это всего лишь «некрофилы», с которыми надо бороться методами сталинского НКВД или хотя бы гневными письмами, апеллирующими, конечно, к органам власти: срочно принять охранительные меры против дурной интеллигенции и ее читателей. Все это очень напоминает известную басню Крылова «Слон и Моська». Моська еще очень много, но им придется посторониться и замолчать, ибо большинство не они; простая статистика читательской почты в любой журнал и любую газету убедительно доказывает это.

Кстати, в этом году подписка на «Юность» в нашем рабочем коллективе не уменьшилась, а увеличилась.

Черникова Н. В.,
г. Москва

Пишу в «Юность» не первый раз. Прочитала в девятом номере в «письмах» два абзаца некоего Г. И. Кувшинова из города Ленинграда, которые назывались очень громко: «Бдительность исчезла!» Да, вот прямо аж с восклицательным знаком. А теперь ответьте мне, пожалуйста, вот на какой вопрос: кто он, этот Кувшинов? Как мог он, живущий в Ленинграде, назвать «прошлыми обиженными» Мандельштама и Ахматову? Как мог он так кощунственно говорить о Цветаевой и Слуцком? Если он действительно так думает, значит, он предатель Ленинграда. Или, может, он просто забыл блокадный цикл стихов Ахматовой?.. А вот интересно, сколько лет Г. И. Кувшинову? Если около 60, то я где-то могу его понять: во времена его юности Мандельштама не знали и не хотели знать. Но если он моложе, скажем, 40-летний, тогда как он может называть песни Владимира Семеновича Высоцкого «затюремными, плачущими и ноющими». Тогда он человек, который абсолютно не ведает, что говорит, язык ведеет его и когда-нибудь доведет до пропасти. Я уверена, что только такой человек может с презрением называть Высоцкого «героем нашего времени». Да, он Герой. Герой без кавычек, с большой буквы. И песни его «ноющие», а кричащие, взывающие к нам, десять лет спустя взывающие о бдительности. Не о той бдительности, о которой сожалеет некий Кувшинов. Ах, жалость какая, со стороны интеллигенции социализмом и его укреплением «не пахнет»! Вы до сих пор верите, что молодежь надо учить на романтике и фантазии. Извините, пожалуйста, вы ошиблись временем. Моих сверстников не надо учить, вам это любой из нас скажет. Фантазировать мы умеем, романтиков среди нас много. А вот если не давать нам Ахматову, Гумилева, Мандельштама, «конъюнктурщиков» Рыбакова и Шатрова, тогда действительно бдительность исчезнет. Потому что сегодняшняя и завтрашняя бдительность зависит от нас, а мы зависим от всех тех, кого вы в своем писании опорочили. И будьте спокойны, мы постараемся быть внимательнее и защитить Героев нашего времени, героев 30—40-х годов, от такой категории людей, как кувшиновы. Они очень опасны. И ты, «Юность», не сожалею о том, что потеряла в лице Кувшинова подписчика; пусть этот лишний номер достанется хорошему человеку, который любит и верит в тебя. Спасибо тебе за Надежду Мандельштам с «Воспоминаниями», за Евгению Гинзбург с «Крутым маршрутом», за Вознесенского и за многое другое. И знаешь, о чем попрошу? Если ты не сможешь опубликовать мое письмо, перешли его Кувшинову. А то он живет, думает, что прав. А это далеко не так. А если честно, очень надеюсь на публикацию, так как он всенародно опозорил родные нам имена, и вот так оставлять это безнаказанно нельзя. Пусть так же всенародно будет опровергнута его точка зрения.

Филатова Ольга, 17 лет, г. Москва

Бейтесь с АБС!

Я постоянно задумываюсь над вопросом: почему административно-бюрократическая система (АБС) призвала на свой трон такую безликую серость, как Сталин, Брежнев, Черненко, почему среди нее не было ярких, талантливых личностей? В свое время ленинское правительство называли самым интеллектуальным, ибо в нем каждый был носителем какого-либо таланта, идеи.

А названные мною «микрометас» (маловеликие) лидеры не имели за душой ни единого гроша (в духовном аспекте), так сказать, «игришки без единого злотаго в кармане», правда, первый занимался «исследованиями» в области русского языка, а второй был великим «литератором», у которого учились наши писатели (так указано в некрологе Брежнева в «Новом мире», редакция которого опозорила себя и святое имя Твардовского гнилым конформизмом).

Наверное, АБС коронует только тех, кто может быть ее венцом, кто не расшатает ее фундамент, кто отличается низким интеллектом, бездуховностью, кто является «кастрированным» политиком, полностью оторванным от народа, ибо такие особи ей не страшны, а лишь бальзам ее и квинтэссенция. Наверное, за спиной этих серых «императоров» и «кардиналов» АБС и ее «цвет» могут творить все, что им угодно, как это и делали рашидовы, шелоковы,

чурбановы да и другие «герои», о которых мы вскоре узнаем. Причем не обделены и родичи «царской фамилии», всем известно, что сын, дочь лидера застоя были «премированы» новыми представителями АБС очень высокими пенсиями за «чрезвычайные заслуги» их кормильца по развалу страны.

Именно АБС превратила нашу державу в «Верхнюю Вольту с ракетами» (так «обзывают» СССР англичане, что отражено в июльском 1988 г. номере «За рубежом»). До глубины души обидно, что родина Октября, Ленина удостоилась такого «комплимента», поставлена в ряд экономически неразвитых государств. О какой притягательности социализма можно говорить через эту призму? Наверное, следует крайне интенсифицировать работу на сокращение всех аппаратов, ибо «девятый вал» миновал и в образовавшемся штите вновь вольготно живут все мафии АБС. И это на 4-м году перестройки! Мне думается, что ошибка директивных органов в том, что они передоверились ведомствам, которые для видимости сократили несколько уборщиц, а болото аппарата перекачивают в иное более блатное место. Следует для каждого ведомства страны установить «твердый оклад» — фонд зарплаты, резко усеченный по сравнению с брежневской вольницей, и постоянно его держать под финансовым прессом, добиваясь, чтобы аппарат «худел». Думаю, что против его «дистрофии» никто бы возражать не стал, ибо это на пользу всем нам.

Хозрасчет, самофинансирование, демократизация очень слабо «выщелкивают» из АБС ее гвардию, и эти бактерии пока еще поражают живой организм перестройки. Требую борьбу с АБС не прекращать ни на час, а то она опять «сожрет» все всходы и семена перестройки, которая должна буд задуть этот ветвистый сорняк.

Наверное, вернее говорить вместо «Бойтесь АБС!» — «Бейтесь с АБС!»

*В. А. Власов, зам. секретаря партбюро
ремонтного трамвайно-троллейбусного завода.
г. Воронеж*

А король-то голый!..

Разрешите пригласить вас на откровенный разговор — сложный, трепещущий и во все времена важный, смысл которого заключается в такой простой фразе: что есть истинное искусство?

Я хочу говорить о живописи и опираться на примеры, не абстрактно взятые из воздуха, а сотканые из плоти и крови и имеющие имя, фамилию. Итак...

«Король шествовал под роскошным балдахином, а народ говорил: «Ах, какой наряд! Что за мантия! Как это платье к лицу королю!»

Вдруг какой-то маленький мальчик крикнул: «А король-то голый!» (Г.-Х. Андерсен. «Новое платье короля»)

Долгое время один из «королей» живописи под ликующие крики толпы важно шествовал под флагом «реалистического искусства» по нашей стране и, к сожалению, не только по нашей. Его картины не раз экспонировались за рубежом, была устроена персональная выставка в Париже. Журналисты, искусствоведы захлебывались от восторженных речей. Телевидение, радио! Умные, вспоминающие люди, казалось, ослепли — смотрели и ничего не видели. Не видели лжи, фальши, мертвецов, смотрящих с полотен ими восхваляемого художника, где даже цветы казались деревянными. И не нашлось ребенка, который бы закричал: «А король-то голый!»

Я обещала называть фамилии, но уже сейчас чувствую, как это трудно. Трудно, но необходимо. Этот художник — Шилов, красивые альбомы которого с гордостью хранятся на книжных полках многих обманутых любителей искусства.

К сожалению, Шилов не одинок. «Шиловщина» господствует и крепко держится за свои позиции. А ведь они крепки! И как просто ввести в заблуждение даже людей, небезразличных к искусству. «Ведь похоже», — как часто мы слышим эти слова. Есть сходство, выписана каждая деталь, каждый ноготок и даже волосок. И неискушенный зритель восклицает: «Вот это искусство!»

В недавней передаче по телевидению говорилось, что нынче намечается возвращение к академизму, к реалистическому искусству. Прекрасно! Пусть поле творчества будет свободно, не ограничено рамками, как было долгое время. Ведь разные дороги ведут к истине. А потому не все ли равно, как

мы называем искусство, в котором она проявляется: реализм, импрессионизм или сюрреализм.

Я согласна с позицией художника Ивана Лубенникова («Юность» № 6, 1988). Вот что он говорит о реализме: «...многие произведения, которые носят общепринятые признаки реалистических, являются проявлением чистого формализма.

...Любое искусство, не имеющее реальной духовной человеческой основы, рожденное без реального желания и вдохновения, — это в общем-то формализм».

Часто формализм прикрывается реализмом. Ведь это очень удобно: реализм более доступен, более понятен. Мнимый реализм прикрывается дотошной точностью деталей — копированием, громкими именами тех, с кого пишут портреты. Ну как же устоять зрителю перед портретом Гагарина или групповым портретом семьи Шукшина, где все так похоже, как на фотографии. Похожи, но жизни в них нет.

Этим отличается «шиловщина». Так что такое реализм? Сухое копирование действительности? Похоже, что так понимают это наследники Шилова. Как долго нашему народу будут преподносить конфету-пустышку в обертке реалистического искусства? Ведь сейчас такая потребность в чистом воздухе, солнце и свежем ветре.

Я благодарна вам за знакомство с молодыми интересными художниками и благодарна журналу «Огонек» за то, что он открыл дверь в неведомое царство искусства (неведомое для нашего неискушенного зрителя) — царство Мавриной, Тышлера, Фонвизина, Антонюка, Кошкина, противопоставляя этим солнечный воздух искусства власти темного леса догм журнала «Художник», который, как маленький карлик, цепляется за свои сокровища, охраняя их искусственный блеск от солнца и воздуха.

Помогите пригласить к разговору всех, кому дорога истина.

*Светлана Сорокина,
художник.
г. Киев*

Хватит читать «подпольно»!

В 8-м номере «Юности» — М. М. Зоценко. Разрывается сердце от жалости к нему... А Вишневский, Симонов — каковы! Страшно читать эти документы. Что это? «Отработывали» свои высокие чины и многие премии? Непостижимо! Такого позора русская литература не знала никогда. Вот они и создавали культ Сталину, этому душегубу русского народа. Прав Конецкий. Он говорил, что не запятали себя только Цветаева и Ахматова. «В своем одичании и падении писатели превосходили всех» — это Надежда Мандельштам. Ее воспоминания — такие яркие, талантливые. Они написаны кровью любящего сердца, выстраданы. Мы раньше читали их — «подпольно». В «те годы» — дали прочесть на одну ночь. Там и Воронеж, там и их мученические скитания, арест, там и позорная реплика Прокофьева: «В Ленинграде Мандельштам жить не будет» — вот как, да и другое не менее жуткое. Дорогие товарищи, очень-очень вас просим, напечатать всё. Ведь книгу достать не сумеем — у нас это безнадежно. Напечатайте, пусть прочтут все, как мы убиваем своих пророков. Пусть ужаснутся и разные Нины Андреевы и, может быть, устыдятся своих «принципов».

А нам всем хотелось бы еще и еще побыть с этим прекрасным, благороднейшим поэтом-мучеником, последним русским Дон Кихотом — так мы его себе представляем, так он в душе нашей живет, с его стихами-пророчествами.

Присоединяются к нашей огромной просьбе и все наши друзья и знакомые, а их — немалое число.

*Семья Репиной, семьи Чистяковых,
Левченко, Алексеевой, Сергеевых,
Эпштейна (все — инженеры ЛОМО).
г. Ленинград*

P.S. Наш любимейший Иван Алексеевич Бунин уехал, страшась «всеобщего одичания». Он оказался прав, предвидя то, что мы сейчас имеем.

ИСПОВЕДЬ ГРАФОМАНА

«Меня зовут Александр Сергеевич. Фамилия... Впрочем, фамилия значения не имеет. Она ничего не объяснит в моей истории, в то время как имя и отчество имеют к делу непосредственное отношение.

Я писал стихи, писал много, упорно, хотел стать поэтом. В конце концов несколько моих стихов тиснули в одном тоненьком журнальчике. С трепетом ожидал я откликов. Первый же знакомый, которого я встретил на улице, по поводу моих стихов сострил: «Александр Сергеевич, но не Пушкин». А кто из поэтов может сказать про себя, что он Пушкин?... Однако мысль, что именно я — не Пушкин, почему-то повергла меня в глубокое уныние.

Придя домой, я сел за письменный стол, положил перед собой чистый лист белой бумаги. «Пушкин, Пушкин, — бубнил я про себя, — вот сейчас возьму перо, разгону его как следует в воздухе и всем назло — ход! — чиркну что-нибудь пушкинское». Я взглянул в окно, сделал для себя вид, что слегка задумался, и небрежно, однако стараясь при этом подражать пушкинскому почерку, написал:

**«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты».**

И, боже, что испытал я в этот миг!..

Тело мое вдруг сделалось невесомым, будто его внутреннее пространство заполнилось необыкновенно легким веществом, влекущим меня вверх. Видно, для человека, хоть раз пробовавшего писать стихи, в пушкинских строках, в путях, по которым бежит перо, эти строки повторяя, содержится сладкое и опасное вещество, отрывающее дух от тела, — и я взлетел! Рука же моя, отделенная от меня, оставалась трепетать над только что написанными словами, как трепещет вырвавшаяся из клетки птица, на секунду задержавшись на подоконнике, за которым сад и небо, прежде чем в эти сад и небо сорваться.

Миг — и моя птица сорвалась туда.

Еще миг — и все шесть строф стихотворения, написанные характерным летящим пушкинским почерком, лежали передо мной.

Еще в детстве, когда за полное отсутствие слуха я был вышиблен из музыкальной школы, меня посетила догадка, что если удачно поймать момент, ну, скажем, миг между днем и вечером, когда уже не светло, но лампу зажечь еще рано, так вот, если в этот момент уверенно подойти

к роялю, небрежным движением откинуть крышку, красиво взмахнуть руками и внезапно, быстро бросить руки на клавиши, — можно вдруг, без остановки, от начала до конца сыграть все сонаты Фредерика Шопена. Дело вовсе не в слухе и не в музыкальном образовании, главное — найти момент. Даже не момент — промежуток, паузу, зазор между двумя моментами, когда providение, двигающее людскими судьбами, как бы моргает. Вот тут-то можно обмануть судьбу и одним ударом стать великим музыкантом, полководцем, поэтом — кем хочешь!

Сквозь стихи, только что возникшие под моей рукой, я увидел очертания своей судьбы. Мне ослепительно сверкнула щель между мигом и мигом моей жизни, щель, через которую можно скользнуть в иную жизнь, не свою... Я решил, что отныне сделаю все, чтобы эта щель не пропала, а наоборот, расширилась, раздалась — и я скользну туда, и меня никто не остановит, не схватит за руку, потому что к тому времени моя судьба меня не узнает. Я так ее запутаю, заморочу голову, пушу пыль в глаза... Каждый день пушкинским почерком я буду переписывать те стихи из полного собрания сочинений или те письма, которые Пушкин писал именно в этот день сго с лишним лет тому назад, буду ходить по Ленинграду только теми маршрутами, которыми ходил он, заходить в те особняки, бывшим хозяевам которых он наносил визиты, в конце концов отращу бакенбарды, завью волосы, сошью длинное пальто с пелериной, сделаю трость орехового дерева — все как он, все как у него!..

И когда-нибудь, когда-нибудь, глядя, как легкой рукой я покрываю чистый лист сверкающими строками, загниотизированное providение потеряет бдительность и позволит мне, Александру Сергеевичу не-Пушкину, вернее, даже не мне, а перу моему, разогнавшемуся на стремительных росчерках, раззолотившемуся от высоких слов, позволить ему приписать к пушкинским стихам еще одну-две строфы, столь же прекрасные, как и те, что будут написаны выше. И может быть, а может быть... страшно подумать!.. может быть, и дальше все пойдет, пойдет, понесется... Стихи, поэмы, сказки, проза, эпиграммы — и уже все мое, мое! — и я, наконец, смогу снова вернуться к своему почерку, сбрызнуть бакенбарды, покончить со всем этим маскарадом, гордо сказать: «Нет, я не Пушкин, я другой» — и начать

новую, свою собственную, не похожую ни на какую другую жизнь. А пока...

А пока после того, что испытала рука моя, мое тело, голова, душа моя, мне как божий день стало ясно, что, если на свете существуют такие строки — «Я помню чудное мгновенье», — возиться со своими стихами не имеет никакого смысла.

Я зачеркнул свое прошлое. Чем заполнить будущее, сделалось мне теперь совершенно ясным.

О, это был нелегкий путь!..

Казалось бы, к моим услугам все десять томов полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Ни один наркоман не имеет под рукой такого количества своего излюбленного наркотика. Но чем я расплачивался за это!..

Долгими ночами я сидел за изящным столиком пушкинских времен (я выменял его у одной старушки на финский раздвижной обеденный стол), изредка вскидывал курчавую голову к потолку, и снова склонялся над листом толстой желтоватой бумаги (я купил ее у девятидвухсотлетнего старика, в юности он мечтал стать писателем, но так и не решился измарать ни одного листа), и чиркал в нем длинным гусиным пером (время от времени мне приходилось ездить за этими перьями в деревню). Соседи, свершавшие свой ночной путь к узенькой дверце в конце коридора, проходя мимо моей двери, видели под ней полоску света и, естественно, не могли не заглянуть в замочную скважину — чем же там занимается их странный сосед?... Утром на нашей коммунальной кухне меня встречали их шуточки типа: «Александр Сергеевич, вы сегодня опять «Я помню чудное мгновенье» написали?...» «А «Семнадцать мгновений весны» — это тоже ваше?..» Выхватив из духовки недопеченную картошку (всем известно, что печеная картошка — любимое блюдо моего кумира), я выбежал из кухни, вслед мне несло: «А духовку за вас гасить кто будет — Пушкин?»

Я перестал пользоваться кухней. Ел, что придется и где придется. Чаще всего я заходил в пирожковую на Невском, где-то я прочитал, что в этом доме на балах не раз бывал Александр Сергеевич...

Любил я также посидеть в буфете кинотеатра «Баррикада». Вальжно расположившись за шатким столиком, пожевывая бутерброд с пластмассовым сыром, заедая его зеленым жухлым яблочком, я представлял

**Французской кухни лучший цвет,
И Страс бурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.**

Быть может, в этом самом кубе пространства, принадлежавшем французскому ресторатору мсье Талон, в этом самом воздушном объеме лет сто пятьдесят тому сидел курчавый господин и маленькой серебряной вилочкой пытался подцепить ломтик лимбургского сыра... Нынче же здесь сию и блаженствую я.

10 февраля около трех часов пополудни в Музей-квартиру Пушкина, Набережная Мойки, № 12, вошел человек, удивительно похожий на бывшего нанимателя этой квартиры. Он был так схож с ним, что народ, заполнявший в этот знаменательный час кабинет поэта, расступился. Народ подумал, что начинается юбилейное представление.

Человек прошел по живому коридору мимо оторопевшего экскурсовода, нырнул под красный шнурок и лег на пушкинский диван, над которым возвышались полки с книгами.

Бескровными губами человек прошептал:

— Смерть идет.

— Вы что?.. Вы куда?.. Что это?! — опомнилась, наконец, экскурсовод.

— Морошки, морошки... — донеслось с дивана. — Позовите жену, пусть она меня покормит.

— Милицию! — закричала экскурсовод. — Позовите милицию!

Пришел милиционер.

— Вот полюбуйтесь, — сказала экскурсовод.

Лежащий на диване смотрел на милиционера полными страдания глазами:

— Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем! Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе!

— Чего смотрите? — дергала за китель милиционера экскурсовод.

— Хороший экспонат. И говорит слово в слово. Мы в школе проходили.

— Какой экспонат? — завизжала

экскурсовод. — Это пьяный! Пьяный! На реликвии лежит. Здесь Пушкин умирал! А он...

— Встать!! — гаркнул милиционер.

— Тише, — сказала какая-то старушка с гвоздиками в руках. — Может быть, человеку действительно плохо...

— Кончена жизнь, — донеслось с дивана.

Перед диваном стояла притихшая толпа. Всхлипывала старушка. И даже боевая указка экскурсовода бессильно опустилась. Милиционер снял фуражку, вытер пот, лоб его пересекала красная черта.

— Жизнь кончена! — произнес человек внятно. — Тяжело дышать, давит.

Это были его последние слова. Часы показывали два часа сорок пять минут. Дыхание прервалось.

— Что он? — минуты через две спросил кто-то в толпе.

— Кончилось, — ответил кто-то.

Рука, сжимающая ворот белой рубашки, разжалась, ладонь упала вниз, раскрылась, и все увидели, какие у покойника тонкие пальцы...

При составлении акта в кармане сюртука умершего была обнаружена его исповедь, которая ничего не объяснила, а напротив — сделала факт его смерти еще более загадочным. Рукопись эту впоследствии выпросил себе один ученый-пушкиновед и до сих пор использует ее как учебное пособие на семинарах по расшифровке пушкинского почерка.

Борис ВЛАХКО

Там

Там, на планете Альфа-Бета — земля, вода и кислород, и вечно солнечное лето, и десять урожаев в год.

Там нет деления на север и юг, поскольку юг один.

И то, что там зовется «клевер», у нас зовется «апельсин».

Кишат стерлядкой водоемы. Само стекает масло с роз. И вертолетные объемы у бабочек и у стрекоз.

Там среди райского молчанья сочнееших клеверных лугов струится тихое мычанье никем не доенных коров —

сметана им терзает вымя, не в силах течь через соски... Там человек недавно вымер — от жира, лени и тоски.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Не поборов в себе пагубной привычки награждать людей к определенным датам, в частности к Новому году, «Зеленый портфель» присудил свою традиционную премию «Лавровая шляпа». Лауреатами минувшего года стали нижеперечисленные товарищи:

Муза ПАВЛОВА — за маленькую пьесу для балагана «Шпионы» (№ 11);

Александр ДУДОЛАДОВ — за рассказы «Романтика» и «Призрак» (№ 4);

Юрий РЯШЕНЦЕВ — за подборку иронических песен из спектаклей и фильмов (№ 6).

Поздравляем лауреатов, желаем новых творческих успехов!

В НОМЕРЕ:

Проза

Лев РАЗГОН. Непридуманное. Начало (19)

Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Продолжение (34)

Поэзия

Татьяна МАКСИМЕНКО (2), Александр ИЛЬИЧЕВ (3), Ирина СЛЕПАЯ (4), Мария БЕЛОВСКАЯ (4), Светлана КЕКОВА (5), Николай НИКИШИН (6), Александр БАРДОДЫМ (6), Марина КУДИМОВА (33), Валерий КРАСКО (91)

Поэты мира

Лиляна СТЕФАНОВА (67)

Публицистика

20-я комната. Заседание двадцать первой. (7)

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Кто во «Взгляде» (17)

Владимир ЛУКЪЯЕВ. А вы вернетесь, верьте мне... (68)

«Сколько лиц у милиции?» (88)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. «Пальч» (64)

Критика

Виктор КАМЯНОВ. Испытание соседством (81)

Бенедикт САРНОВ. Над схваткой (84)

Почта «Юности»

Интеллигенция в кавычках и без... (92)

Наука

Убивающий миф... Беседа с социологом Б. Куркиным (76)

Зеленый портфель

Виктор СЛАВКИН. Исповедь графомана (94)

Борис ВЛАХКО. Там (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда», по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки Г. Мурышкина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенюк

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1. Тел.: 251-31-22.

Сдано в набор 18.10.88. Подп. к печ. 02.12.88. А 02092.
Формат 84×60%. Офсетная печать.
Усл. печ. л 11,68 Усл. кр.-отг. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 3246.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда», «Юность», 1988 г.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Балкарский художник Ибрагим Джанкишиев рассказывает о себе:

«В сорок первом мой отец ушел на фронт. А моя мама, мой старший брат Тахир пяти лет и я, трехлетний, ждали его возвращения с победой в нашем родном ауле Хабаз. Прошло три года. И однажды ночью меня разбудила мама. В комнате я увидел каких-то солдат с винтовками и автоматами. Меня быстро одели, вывели на улицу и посадили в кузов грузовика. Вокруг шумят, ругаются, а несколько солдат лучом прожектора освещают склоны прилегающих гор. Боялись, наверное, «энкаведешники», что наши начнут в темноте разбегаться. А кому убежать было — женщинам от своих детей или старикам от своих внуков?..

В моих картинах — трагедия народа. Я рассказываю, каков был путь на нашу Голгофу. Поезда, в которых нас везли, всегда трогались неожиданно. Люди нередко отставали от своих эшелонов и надолго, а порой и навсегда пропадали. И наша мама отстала на каком-то полустанке и нашла нас только через полтора года. Все это время меня с братом кормили наши односельчане.

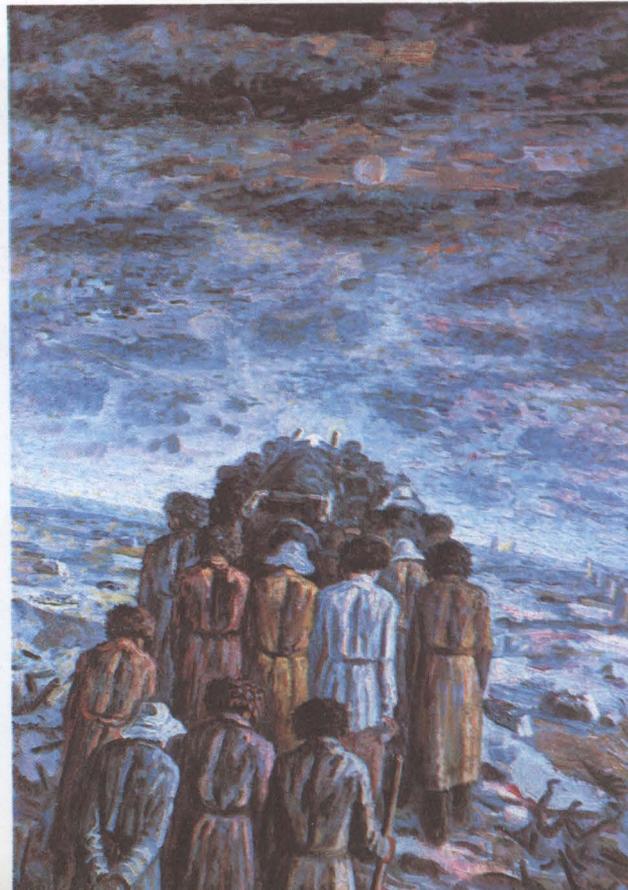
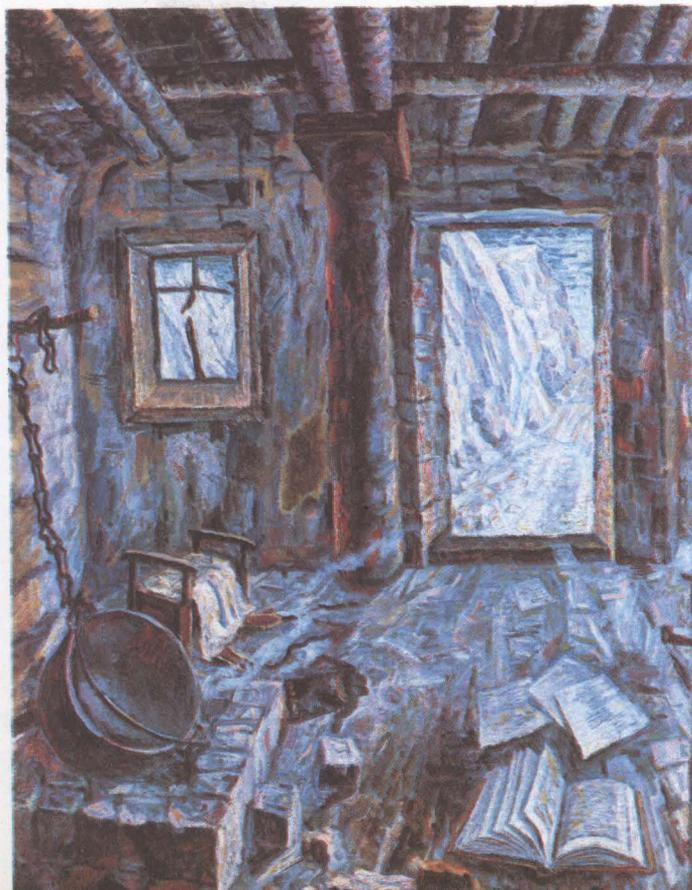
Рисую с детства. Сначала гвоздем «писал» портреты на стенах домов, а первый настоящий рисунок увидел только в школе. После школы служил в армии. Окончил художественное училище имени Грекова в Ростове. Живу и работаю в Нальчике».

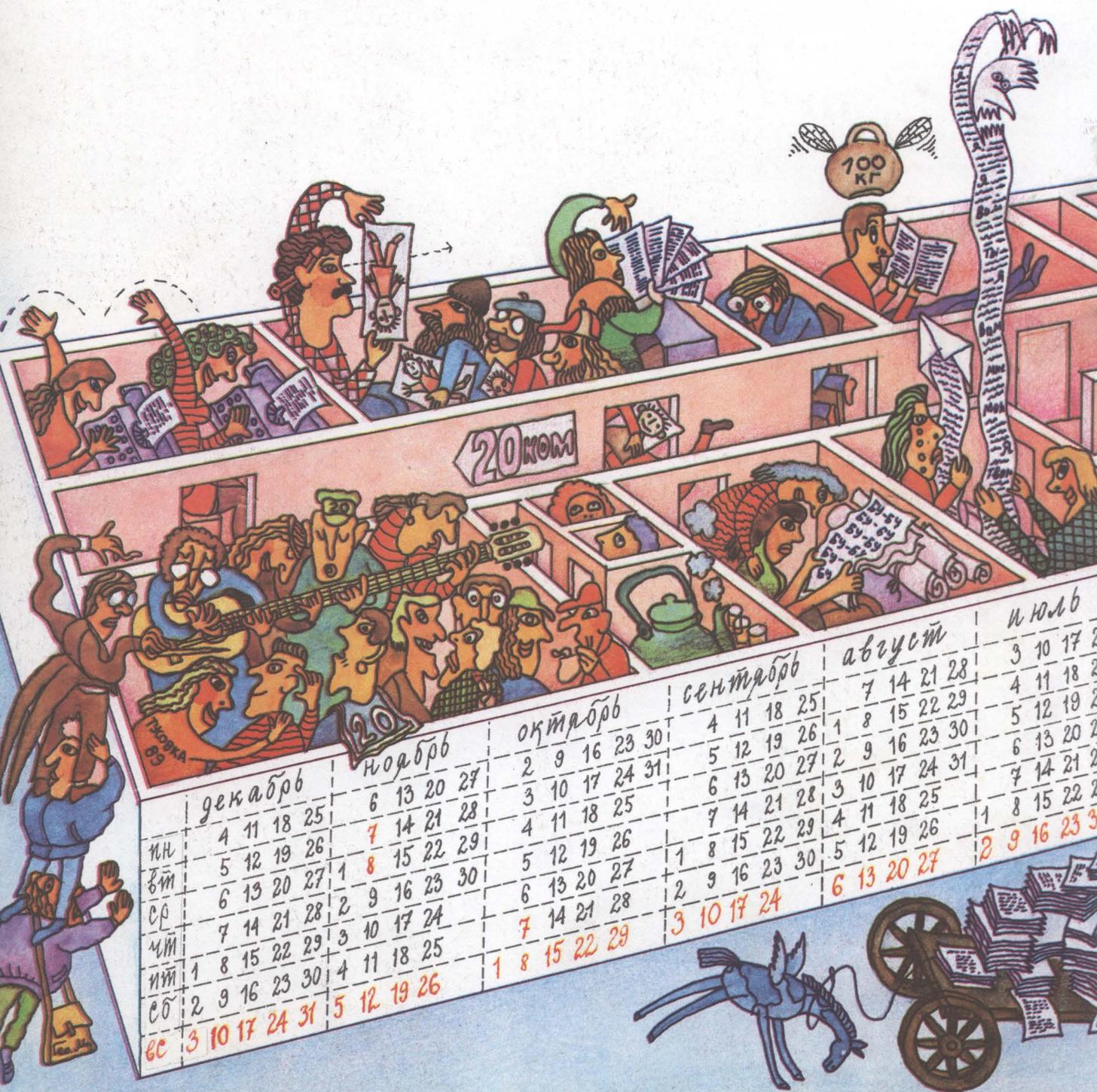


И. ДЖАНКИШИЕВ. Красные скалы.

Диптих «Памяти К. Мечиева»

Остывший очаг. Смерть поэта.





	декабрь	ноябрь	октябрь	сентябрь	август	июль
пн	4 11 18 25	6 13 20 27	2 9 16 23 30	4 11 18 25	7 14 21 28	3 10 17 24
вт	5 12 19 26	7 14 21 28	3 10 17 24 31	5 12 19 26	1 8 15 22 29	4 11 18 25
ср	6 13 20 27	8 15 22 29	4 11 18 25	6 13 20 27	2 9 16 23 30	5 12 19 26
чт	7 14 21 28	2 9 16 23 30	5 12 19 26	7 14 21 28	3 10 17 24 31	6 13 20 27
пт	1 8 15 22 29	3 10 17 24	6 13 20 27	1 8 15 22 29	4 11 18 25	1 8 15 22 29
сб	2 9 16 23 30	4 11 18 25	7 14 21 28	2 9 16 23 30	5 12 19 26	2 9 16 23 30
вс	3 10 17 24 31	5 12 19 26	1 8 15 22 29	3 10 17 24	6 13 20 27	